

# ФЕЛИКС КОН

---

ЗА ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ

Т О М  
3-4

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 1936



Ф Л О Д И Р О Н О Н

**ЗА  
ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ**

ИЗДАНИЕ  
ВТОРОЕ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В МИНУСИНСКЕ

— Ну, Феликс Яковлевич, поздравляю!

Поздравивший меня Н. М. Мартьянов, вечно занятый или в музее, или в аптеке, никогда ни к кому в гости не ходил, разве что какое-нибудь важное дело заставляло его оторваться от работы. Уже одно то, что он зашел ко мне, свидетельствовало о том, что оторвался он от работы не без повода.

— С чем?

Мартьянов улыбнулся. Месяца за два до этого он говорил со мною по поручению Восточного отдела Географического общества, предлагая отправиться в экспедицию в Засаянский край— ныне Тувинскую республику. Тогда мне это предложение показалось смешным. Урянхайцы-сойоты, как их тогда совершенно неправильно называли, нынешние тувинцы, быт и нравы которых я должен был исследовать, жили за пределами «Российской империи», в Китае, и числились «верноподданными» китайского богдыхана. Я был в то время ссыльно-поселенцем и даже в Сибири должен был получать специальное разрешение на переезд с места на место. Понятно, что предложение поехать за границу мне не могло не казаться смешным. Оказалось, что я не учел невежества тогдашнего иркутского генерал-губернатора графа Кутайсова. Он не знал и ему никто не сказал, что урянхайцы-сойоты не имеют сомнительной чести быть верноподданными «белого царя» («Ак-хана» — как его называли сойоты), и сиятельный, но невежественный граф на ходатайство Географического общества «изволил» начертать: «Весьма рад, когда государственные ссыльные занимаются полезным для края научным трудом».

— Вот видите, а вы смеялись, — упрекнул меня Мартьянов.

— Да полноте, ведь это обнаружится, и вся эта затея окажется мыльным пузырем...

— Пустяки! Всевозможные ученые общества наделят вас та-

кими мандатами, что никто не посмеет чинить вам какие бы то ни было препятствия. Дело теперь только за вами, за вашим окончательным согласием.

Этот инцидент был одной из причин, почему я немедленно согласился на переданное мне Мартьяновым предложение. Одной из причин, но не единственной. Работа в Минусинске меня не удовлетворяла, а путешествие по стране, еще совершенно не изученной, представляло определенный соблазн. Я должен оговориться. До меня уже ездил в эти края Г. Потанин, но он был там очень недолго, многого сделать не успел, а незнание языка и отсутствие хорошего переводчика не дало ему возможности так изучить тувинцев, как он изучал другие народы. Одна допущенная им ошибка заставила меня довольно долго путешествовать из одного места в другое.

Часто в беседах с тувинцами ему приходилось слышать о людях, которых они называли «урянями». Потанин на основе подробных расспросов, где эти «уряни» живут, точно определил их местопребывание. Это слово «уряни» часто встречается и в названиях якутских родов, поэтому я им заинтересовался и поехал в долину р. Кемчика, где они должны были, по Потанину, обитать. Но кемчикские тувинцы сообщили мне, что «уряни» живут на востоке от них, то есть там, где производил опрос Потанин. Оказалось, что слово «уряни» значит «чужой», аналогично римскому «barbarus» и еврейскому «гой», а Потанин принял это слово за название народа.

Побывавший у тувинцев после Потанина А. В. Адрианов, сам собой разумеется, повторил эту ошибку, и название «урянов» осталось за тувинцами.

Повлияло на мое решение и то, что подлежащий изучению народец, насчитывавший всего несколько десятков тысяч, представлял огромный научный интерес. Он делился на три группы, находившиеся на трех различных ступенях развития. Одна часть, в долинах рек Улу-хэма (Большого Енисея) и Кемчика, занималась земледелием и даже «поила землю» (проводила орошение), причем, к слову сказать, сооружение оросительных каналов (арьков) приписывалось сойотскому мессии—Чингис-хану; другая, у подножия гор, занималась скотоводством, а третья, кочующая на вершинах гор, жила исключительно охотой и рыбной ловлей...

— Так я и сообщу, — заявил Мартьянов, — Иркутскому отделу и напишу Клеменцу.

Д. А. Клеменц был в то время заведующим музеем Александра III.

— Пожалуйста...

Вопрос был решен. Я начал готовиться к дороге, а всевозможные общества — к снаряжению меня всеми необходимыми инструментами и, конечно, мандатами. Получен был мандат и от музея Александра III за подписью какого-то великого князя, в ко-

тором предлагалось генерал-губернаторам, губернаторам, исправникам и т. д. содействовать «начальнику Засаянской экспедиции Ф. Я. Кону» в его научных исследованиях. Этот «начальник», правда, ни над кем не «начальствовал», был, так сказать, «сам пан, сам дурень», но этот титул должен был производить нужное воздействие на сибирских чиновников. Другие мандаты менее авторитетные, но также внушительные, были составлены в этом же духе.

Начиналась весна, медлить было рискованно. До села Усинского предстояло ехать по льду рек Енисея и Уса, дорога могла испортиться.

Чуть ли не накануне моего отъезда меня вновь посетил Мартыянов.

— Феликс Яковлевич, хоть это и в сторону, но вам придется заехать на гусевские (принадлежавшие Гусевым) Усинские прииски. Я только что получил письмо от управляющего прииска. Он в отчаянии. Они там наткнулись на довольно богатую россыпь золота, но, как он пишет, какая-то «чертовщина» портит все дело.

В этой же россыпи появились какие-то черные матовые крупинки, которые при промывке нельзя отделить от золота, и управлению прииска приходится нанимать девочек, которые пальчиками выбирают эти крупинки. Это значительно удорожает производство. Ума не приложу, что бы это могло быть. Узнайте, Феликс Яковлевич, и пришлите мне эти металлические крупинки для исследования.

Это поручение Мартыянова я выполнил. Металл оказался иридием, он ценнее золота, а невежественные управители его выбрасывали.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### ПО ЛЬДУ РЕКИ ЕНИСЕЯ

Едем по ледяному коридору, сжатому с обеих сторон отвесными скалами. Кое-где эти скалы украшены блистающими на солнце ледяными гирляндами—впадающими в Енисей и скованными морозом горными речками и ручьями. Лед ровный, гладкий. Дорога за зиму проложена, и только кое-где подмытый снизу лед лопается и проваливается под ногами лошадей... Спасает только скорость. По таким местам приходится мчаться вскачь. В иных местах над рекой поднимается молочный туман. Это самые опасные места — наледи и полыньи. «Наледью» называют местные жители воду, прорвавшуюся в одном месте и залившую на довольно большом пространстве лед. По таким наледям езда не опасна. Гораздо опаснее «полынья»: на вид она ничем не отличается от наледи, но под полыньей льда нет. Это места, где благодаря быстрому течению Енисей не замерзает. Бывает и так, что выступающая вода сорвет матерый лед, и тогда наледь превращается в полынью. Это самое опасное. Опытный проводник знает, где могут быть полыньи, но предусмотреть, где лед может быть сорван напором воды, немислимо. И часто в таких местах тибли лошади, тонули сани с товарами.

Мы проехали благополучно от Шунер до «Кордона», где и остановились на ночлег.

Этот «Кордон» имел особое назначение. Здесь производился ветеринарный осмотр доставляемого из Монголии скота в целях недопущения зачумленных гуртов в Минусинский округ. Наблюдал за этим кордонщик, мужичок лет пятидесяти, бывший унтер-офицер, на которого были возложены и полицейские функции. Со времени восстания «большого кулака» в Китае он должен был сообщить о всяком проезжем.

Этот кордонщик, увидев мои мандаты, напялил на себя мундир, навесил все полученные когда-то медали и в полной парадной форме явился ко мне, как к «начальнику Засаянской экспе-

диции», с докладом о том, что во вверенном ему участке все обстоит благополучно. Это, само собою разумеется, не могло не привести меня в восторг...

Я вступил с ним в беседу, во время которой он довольно быстро сообразил, что хотя я и «начальник», но какой-то особый, простой, обходительный. Он окончательно размяк, когда я его усадил за стол и угостил чаем.

— Не можете ли вы мне в моем великом горе? — начал он грустным голосом.

— В каком?

— А вот я вам все обскажу... Только вот бумаги не захватил. Он побежал за бумагой и, вернувшись, разложил на столе ведомость, разделенную вдоль на две рубрики: «гуртовой скот» и «сырые продукты».

— Вот насчет ее, — ткнул он пальцем.

— Не понимаю, что вас смущает: если тонят скот, надо отметить с левой стороны число голов...

— Знаю, знаю, — перебил он меня. — Вот уже десять лет только это и делаю, но вот...

Он выложил бумажку станového с предложением сообщать немедленно о всяком проезжающем.

— Ну вот, примерно, вашу милость взять... Куда я вас внесу? Ни в гуртовой скот, ни в сырые продукты не подойдете...

Я невольно расхохотался. Старик обиделся.

— Все так. Никто путно не укажет...

Я разъяснил ему, что это не имеет к ведомости никакого отношения и что о проезжающих надо сообщать отдельно...

— А не влетит за это?

— Нет! Нет!

Не знаю, убедил ли я его или он продолжал и от других добиваться указаний на этот счет.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### СЕЛО УСИНСКОЕ И ЕГО ЖИТЕЛИ

На однообразии путешествия нельзя было пожаловаться. То объезжали польдны, то врезывались в снег, то, наконец, воз- порогов бились иной раз часами и по шатающимся льдинам перебирались на более прочный ледовой материк. Несколько дней длилось такое путешествие, пока, измученные, усталые, мы не добрались до села Усинского.

Странное было это село. Оно сплошь состояло из кулаков, богатеющих на эксплуатации сойотов и на торговле с ними. Помимо этого село Усинское имело и большое историческое прошлое...

В своем исследовании «Усинский край» я подробнее остановился на заселении долины р. Уса. И поэтому здесь я ограничусь лишь приведением некоторых необходимых данных. В начале 50-х годов в Ишимском и Ялуторовском округах Тобольской губернии начало распространяться учение «странников» и «бегунов». Один из видных деятелей этого учения, некто Фома Егоров, собрав более сорока семейств, отправился «на восток» (руководствуясь при этом часто повторяемым в св. писании словом «восток») искать Беловодья, то есть такого места, которое было бы естественной преградой в виде непроходимых гор и лесов оправдано от всего живого мира, в частности от властей, — места «вольного», с церковью, в которую не проникли никоновские порядки. Найти Беловодье было не легко; «искатели» из Тобольской губернии сначала проникли в Бийский округ, где претерпели всевозможные мытарства и в отчаянии решили, что на земле воцарился антихрист. Между тем глава и руководитель «искателей» Фома Егоров, чуть ли не по пятам преследуемый полицией, вынужден был бежать. Оставшиеся без руководителя странники двинулись на восток и после новых мытарств добрались до Минусинского уезда, где в некоторых деревнях Шушенской волости нашли своих едино-

верцев. Здесь рассказы о Засаянском крае вновь воскресили в них веру в существование Беловодья. Странники отправили ходочков разыскивать Фому Егорова, скрывавшегося где-то в Оренбургской губернии. Розыски увенчались успехом. Фома Егоров направился сначала в Тобольскую губернию, а оттуда с новыми прозелитами учения «странников», к которым присоединилось немало беглых солдат и уголовных ссыльных, двинулся в Минусинский уезд. Ни у кого из искателей Беловодья не было никаких документов: беглые не имели их в силу своего нелегального положения, странники уничтожили паспорта как антихристову печать. Каждый из искателей принял новое имя и отчество, а Фома Егоров переименовал себя в Ивана Афанасьевича Липина.

Долина Уса, куда стремились искатели Беловодья, в одном отношении не отвечала требованиям странников: она находилась под властью русского царя, и для заселения ее требовалось разрешение властей, в противном случае администрация, от которой странники хотели быть подальше, имела бы повод вмешиваться в их дела и принимать меры к выселению самовольных переселенцев. Во избежание этого в Иркутск были посланы ходочки, которые ходатайствовали о разрешении им, сорока семи семействам из беглых раскольников, якобы тридцать лет скитавшихся по белу свету после разорения иргизских монастырей, — поселить в долине р. Уса. Благодаря поддержанию этого ходатайства местными властями оно увенчалось успехом, и в 1856 году Иван Афанасьевич с сорока семью семействами переселился на Ус.

Так образовалось село Усинское.

Новоселы жили коммуной, которой руководил Иван Афанасьевич.

— Народ собирался возле овинов, — рассказывал мне один из старожилков, — Иван Афанасьевич лично сыпал каждому в полу кафтана причитающуюся на его долю часть зернового хлеба по числу едоков.

Но бежавшим от царской опеки сектантам недолго удалось жить по-своему. Вслед за сектантами начали пробираться на Ус и бежавшие с каторги уголовные и всевозможные проходимцы, которые как православные находили поддержку начальства. Появились на Усе и попы; против сектантов началось гонение.

«Когда стали, — пишет в своем донесении начальству окружной начальник, — в конце 60-х годов через новых беглецов с каторги на Ус проникать либеральные веяния и явились среди местного общества сомневающиеся в непогрешимости Ивана Афанасьевича, к чему подала повод невоздержанность учителя по отношению к женскому полу, то Иван Афанасьевич образовал вокруг себя нечто вроде болгарских палочников, руками которых и стал творить убийства неблагонадежных лиц. Сколько таким путем отправлено на тот свет, в точности неизвестно, но

человек до десяти пропало без вести. Такие крутые меры заставили многих трепетать за свою жизнь, а потому хотя явное сопротивление и было сломлено, но тайных врагов у Ивана Афанасьевича явилось и того более, и, как только представился случай, как только прибыл на Ус чиновник, князь Апакидзе, с казаками, тотчас же выдан был с головой ему Иван Афанасьевич и в окопах отправлен в тюрьму, где и кончил свою жизнь».

Таково официальное представление. В действительности же приписываемая Ивану Афанасьевичу «невоздержанность по отношению к женскому полу» вытекала из религиозного учения «странников». Они отвергали брак. По их учению: «Кто сотворил блуд, того осуждают, и он через то очищается, а состоящий в браке грешит без осуждения». Этим и объясняется и то, что среди усинских жительниц было немало «бросовок» — жен, покинутых мужьями, и «чехунд» — жен, покинувших мужей.

Что касается приписываемых Ивану Афанасьевичу убийств, то, по его мнению, это фактически были не убийства, а приведенные в исполнение смертные приговоры патриарха и главы общины, не признанного царскими властями, но вполне признаваемого и глубоко уважаемого членами общины. По сообщению православного священника Путилова, «народ так был привержен к нему, что когда его, арестованного и закованного в кандалы, везли из деревни Верхне-Усинской, то усинские жители бежали за ним 7 верст, плакали навзрыд и называли его своим батюшкой».

А когда этого «батюшки» не стало, коммуна распалась, странники-переселенцы превратились во вполне оседлых стяжателей, благо беззащитные урянхайцы-сойоты представляли благодарный материал для эксплуатации. Примирились и с начальством и с православием, пытаясь нажить капитал использованием и начальства и господствующей религии.

На следующий день после прибытия в село Усинское ввалился ко мне в комнату кряжистый мужичонка.

— Фелист Яковлевич вы будете?

— Я.

— Добрые люди меня к вам натакали...

— В чем дело?

— Мы из сталоверов, а после православными сделались...

— Ну?

— Так вот, сын-то мой, язви его, опять сталоверить начал...

— Взрослый?

— Да, лет сорока...

— А вы тут при чем?

Он недоумевающе взглянул на меня, но, отнюдь не смущаясь, продолжал:

— Я уж окружному начальнику жалился. Он написал на бумаге: «волостному старшине разобрать по существу»... А по какому существу — по православному или по раскольничьему —

не написал. А это важно. Старшина-то раскольник. Он возьми да по раскольниковому существу и разбери, а я-то остался ни с чем...

— Позвольте! С чем же вы хотели остаться?

— Поди я его растил... Мог бы мне на старости лет под-  
могчи...

Вот оно, православное существо!

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### НЕОЖИДАННОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ

На следующий день пришлось мне явиться к пограничному окружному начальнику Харченко за получением паспорта на въезд за пределы России. Визит не из приятных. Харченко был типичным сибирским исправником и от других исправников отличался лишь ущемленным самолюбием. Считая себя чуть ли не гениальным полицейским, он был обижен тем, что его загнал в глушь. И когда впоследствии его перевели в один из сибирских округов, он, желая выслужиться, самолично гнался за пытавшимися бежать политическими ссыльными. Свои верноподданнические чувства он проявлял тем, что не стеснялся в присутствии посторонних высказывать по поводу Л. Н. Толстого:

— Хоть бы он сдох поскорее! Не знаю, почему с ним церемонятся.

Предъявив ему свои «мандаты», я обратился к нему с требованием выдачи паспорта.

— Садитесь, садитесь, — с изысканной лобезностью приглашал Харченко... — Я, конечно, всем, чем могу, готов помочь вам в этом крупнейшем исследовании. Наши торговые отношения урянхайцами...

Я перебил его:

— Этим я займусь на обратном пути. Мне только паспорт нужен.

— Паспорт? Заграничный? Невозможно.

— Как так?

— Да я же знаю, господин Кон, что вы политический ссыльный и притом поднадзорный. Как же я вам выдам паспорт?

Я сослался на свои мандаты и указал, что он обязан сделать все от него зависящее для успеха экспедиции.

— Я и сделаю все, что прикажете, но насчет заграничного паспорта у меня нет никаких распоряжений.

— Позвольте. Я командирован для изучения сойотов. В этом вы обязаны мне оказать содействие, а вы меня к ним не пускаете...

— Не могу. Не могу. Если что случится, я же буду отвечать. Скажут, что никто не давал распоряжения о выдаче паспорта...

— Я вижу, что вы изволите шутки шутить, — прервал я его с раздражением... — А это не шутка. На экспедицию уже затрачено несколько тысяч рублей.

— Не могу...

— Как хотите. Не можете, не надо! Составим протокол, лошадей, инструменты и все привезенное для экспедиции я вам оставлю на хранение, а сам сегодня же уеду и извещу телеграммой все учреждения в Петербурге о вашем отказе.

Он, повидимому, ожидал, что я его буду просить и что он великодушно переменит гнев на милость. Но я этого, конечно, не сделал, и у него не осталось другого выхода, как заявить:

— Сам рад бы, но не в праве...

— Ваше дело.

Составили протокол в двух экземплярах, и я в тот же день, на этот раз уже налегке, без всякого багажа, помчался в Минусинск, ближайший, хотя и отстоящий километров на четыреста от села Усинского, пункт, связанный со всем остальным миром телеграфной проволокой. По прибытии туда я отправил подробную телеграмму в Питер Дмитрию Александровичу Клеменцу.

Телеграмма вызвала переполох во многих ученых учреждениях. Известия о Засаянской экспедиции уже проникли за границу. Программа предстоявших исследований была напечатана в целом ряде научных изданий. И вдруг... такой крах.

— Если бы генерал-губернатор не разрешил, мы бы не затрачивали денег на эту экспедицию, — докладывал Клеменц музейному начальству, возглавлявшемуся великим князем. — Что же, он не знал, что сойоты кочуют не в России, а в Монголии?

Положение графа Кутайсова, оказавшегося как назло к этому времени в Питере, было пиковое. Как он выкрутился, не знаю, но недели через две получилась бумага, в которой сообщалось, что по соглашению министерства внутренних дел с министром иностранных дел политическому ссыльному Кону разрешается для научных исследований выезд в Монголию, для чего ему должен быть выдан соответственный паспорт.

Лед на Енисее еще давал возможность пробраться в село Усинское, и я немедленно же помчался обратно, предъявил бумагу Сарченко, в тот же день получил паспорт и немедленно двинулся в дальнейший путь.

Республиканская

БИБЛИОТЕКА

Фонд. № С. Пушкина

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РУССКИХ С УРЯНХАМИ

Узнав, что караван русских купцов, направляющийся в г. Уля-сутау с товарами, остановился недалеко от Турана, русского се-ла на китайской территории, я погнался за ним.

Село Туран в то время — самое крупное из русских сел на китайской территории, крупнее Уюка, Сейбы и других — по внешнему виду ничем не отличалось от обычных сибирских сел. Но только по внешнему виду. Вряд ли где-либо на всем протяжении России и Сибири русский крестьянин играл такую роль, как здесь. Правда, он в поте лица добывал свой хлеб, но «в поте лица» не своего, а тувинцев. Работали тувинцы, а русские играли лишь роль надсмотрщиков. Законные хозяева тувинской земли нанимались за жалкое вознаграждение на самые тяжелые работы, а русские иммигранты меновой торговлей с ними сколачивали большие капиталы.

Русское правительство относилось в высшей степени благо-склонно к этим колонистам и их торговым оборотам, игнориро-вало тот факт, что все эти села находились на китайской тер-ритории, и ввело в них свое управление. Усинский пограничный начальник издавал приказы, регулировавшие натуральные до-винности жителей, туранское сельское управление было подчине-но усинскому волостному управлению, один раз в год появлялся в Туране минусинский мировой судья для разбора гражданских и уголовных дел, а более серьезные дела, подсудные окружному суду, он направлял в Красноярск. Жители Турана облагались русскими властями податями и налогами, не исключая налога за право вести торговлю... на китайской территории!

Китайское правительство неоднократно выражало протест по этому поводу, но эти протесты оставались русскими властями без ответа или они отделялись отпиской. Русские власти си-стематически рассматривали всю эту территорию, как «*res nullius*», как будто бы никому не принадлежащую; все чаще и

чаще в переписке употреблялся термин «спорная территория», с тем чтобы при первом подвернувшемся случае ее заграбастать.

Такой «случай» давно бы мог подвернуться, если бы этому не противодействовали сами русские колонисты, руководившиеся только своими личными выгодами и в тех случаях, когда у них не было надежды на поддержку русских властей, обращавшиеся к китайским, этим самым признавая права Китая на эту территорию.

Роясь в усинском архиве, я натолкнулся на иллюстрирующее эти отношения дело 1900 года за № 0,21 «по сообщению заведующего уряхами Мады-сумо дарги Тумен Ульцзая и др. относительно проживающих на Туране и Уюке русских людей».

Этот «дарга», не особенно высокий китайский чин, делает «Великого российского государства усинскому окружному начальнику Александровичу» следующее «сообщение»:

«По справке в делах оказалось, что от 6 числа 3 луны прошлого 20 года предместником моим даргой Батунасун сообщалось вам, почтенный чиновник, что проживающие на Уюке и Туране русские произвольно возводят постройки, проводят каналы, распахивают землю, пользуются пастбищами, ходят на лыжах и ловят маралов, каковым сообщением он просил вас прекратить подобные деяния, делаемые русскими, приказав им убрать с пастбищ скота, урянхов же, пасущих русского скота, он, дарга, наказал.

На это сообщение от вас, почтенный чиновник, последовало уведомление лишь только о запрещении русским ловить зверя, относительно же построек, распашки пашен и пользования пастбищами ответа не получено. Ранее сего, хотя и приезжал командированный от дзяньдзюня (высший чиновник в крае) чиновник и осматривал прежде возведенные постройки, распаханную землю и раскопку золота, но по этому вопросу еще не получено никакого ответа, а между тем с этого времени русские продолжают пасти свои стада в нашей местности, возводить вновь постройки и увеличили на несколько сот сажень пашни; кроме того, основали кладбище, в котором имеются восемь-девять могил. Затем русские приезжают с Уса, а также проживающие на Уюке и Туране самопроизвольно рубят в нашей местности лес, косят сено, выправливают скотские пастбища наших урянхов и, наконец, накошенное ими сено загораживают весьма некрепко, почему и происходят потравы сенов, а затем следуют жалобы и споры. Кроме того, русские (перечисляются одиннадцать фамилий) в местности, называемой Габал, самовольно на звериных тропах выкопали ямы, в которые зверь падает, и берут его, а чаще всего упавший зверь в яме издыхает с голоду и напуганный этим зверь удаляется далее в тайгу, так что нашим урянхам звериный промысел для пропитания себя стал крайне невозможен.

Поэтому, принимая во внимание 5 и 6 статьи трактата,

Заклоченного нашими двумя государствами, в котором говорится: «для постройки помещений для пастибища и для кладбища место должно отводиться в достаточном размере». В договоре же, заключенном в 10 году правления Тутемыл-Эльбеюту, а по русскому исчислению в 1860 году, говорится: «китайских подданных русское государство обязуется оставить на тех же местах, где они поселились и на которых занимались рыбными и звериными промыслами». Следовательно, постановления эти должны соблюдаться одинаково.

Подведомственные вам русские люди дошли до того, что завладели местностью нашей Мады-сумо, что крайне не согласуется с дружбой наших двух государств, и между местными народом и чиновниками нельзя не ожидать неприятных последствий, а потому, сообщая об этом вам, почтенный чиновник, по рассмотрении сего, покорнейше просим распорядиться о выдворении вместе со скотом тех русских, которые возвели новые постройки на Уюке и Туране, и затем приказать, чтобы русские самовольно не рубили бы лес, не возводили более построек, не косили сено, не увеличивали пашен, не ловили посредством ям зверя, не давали бы урянкам пасти свой скот.

О сделанном же вашем по сему распоряжении просим дать нам ответ.

Сего ради и по дружественным отношениям послано Правления 21—2 луны 5 числа».

В докладе иркутскому генерал-губернатору в качестве комментариев к этому «сообщению» усинский пограничный начальник пишет:

«Недоразумения между русскими, живущими на Туране и Уюке, и урянхайцами по пользованию землями вытекают главным образом из-за того, что: 1) русские в большинстве случаев беспощадно обманывают и обирают урянхов, которые завязывают с ними какие-либо торговые сношения. Чувствуя всю тягость таких отношений русских и не имея возможности по своей малоразвитости каждый раз заявлять о какой-либо недобросовестности русских, а главным образом установить самый факт обмана, они (урянхайцы), вероятно, стараются, чтобы этот (?) состав населения был удален; 2) земли, занятые под пашни и покосы туранскими и уюкскими поселянами, — самые плодородные и лучшие против земель, занятых усинскими крестьянами, чем отчасти и объясняется желание наших усинцев поселиться там; 3) предполагая, что более честными отношениями русских и урянхов можно положить конец жалобам со стороны урянхов, я, в бытность в поселках, собирал всех жителей и разъяснял им, чтобы они не возбуждали неудовольствий урянхов и чтобы все недоразумения, возникающие из-за расчетов, кончались миролюбивой сделкой. При этом разговоре с поселянами, между прочим, выяснилось, что жалобы урянхов на русских, главным образом, заявляются по подстрекательству же рус-

ских. Выяснилась какая-то постоянная вражда между русскими, причем одна сторона учит урянхов подавать жалобы на другую сторону и наоборот; 4) что (?) я разъяснил русским о тех вредных последствиях, какие могут быть прежде всего для них же от подстрекательства урянхов к подаче разных жалоб, и полагаю, что за сим прекратятся подстрекательства, если они были; 5) представляемое сообщение дарги Тумен Ульцая написано по указанию какого-либо русского человека, знающего даже трактаты о торговле, так как в сообщении этом указывается на 5 и 6 статьи трактата, существование которого едва ли знал дарга, так как все местные урянхайские чиновники вообще мало знают правила, касающиеся нашей с ними торговли. Основание к тому, чтобы домогательство дарги не было удовлетворено, у нас имеется то, что урянхи без стеснения от русского правительства и населения кочуют по землям, бесспорно нам принадлежащим, причем на этих землях занимаются звероловством и рыболовством».

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### ПРИЕМЫ РУССКИХ КОЛОНИСТОВ

Караван русских купцов я догнал уже за Тураном. Купцы начали располагаться на ночлег.

Картина довольно оригинальная... Возня, шум. Между собою купцы разговаривают по-русски, с приказчиками — смотря по их национальности — по-русски, по-качински<sup>1</sup>, по-тувински. Изредка слышна и монгольская речь рабочих-проводников. Все суетятся. Одни выпрягают лошадей из двухколесных таратаек, другие уже выпрягли и ведут маленьких сойотских лошадей в сторону и привязывают к дереву, иные возятся с установкой палаток, не белых, а синих — из китайской «далембо». Купчики и доверенные более крупных купцов властно отдают распоряжения. Сойоты разводят костер и тут же режут барана...

Меня они встретили любезно, но вряд ли были довольны, увидев меня. Большинство русских — сектанты. У себя дома, в деревне, они являются блюстителями «древлего благочестия» — не пьют, не курят, а с женщинами даже рядом за стол не садятся... Здесь уж стесняться нечего. Грешат все, а в этом гарантия, что никто не выдаст...

Мое присутствие их стесняло, но они не подали даже виду, что недовольны. Наоборот. Меня усадили и, зная, что я политический ссыльный, весьма скоро перевели разговор на те страдания, какие им в прошлом пришлось пережить. С момента появления на китайской территории они, и не подозревая того, что русские власти были весьма довольны переселением русских на китайскую территорию, что создавало предпосылку для того, чтобы эту территорию оспаривать у Китая, очутились в весьма тяжелом положении. Выручило то, что выручало их и в России, — подкупность властей, на этот раз китайских. Китайские чиновники, получив за это солидную мзду, разрешили им строить

<sup>1</sup> Качинцы живут в Минусинском округе.

избы на земле сойотов. Этим, казалось, был разрешен основной для них вопрос. Но это только казалось. Защищались ли сойоты по-своему или применяли и к русским обычные в отношениях первобытных племен набеги («баранты»), но переселенцы совсем изнемогали. У них угоняли лошадей и рогатый скот. И делалось это так ловко, что никогда нельзя было обнаружить виновных.

— Справились и с этим, — не без торжества в голосе заявил один из купчиков.

— Как?

— Так же, как они. Как только они украдут у нас скот, мы садимся на коней, подъезжаем к первому аулу, какой попадется по дороге, и угоняем столько скота, сколько они у нас угнали, не спрашивая, виновен ли хозяин этого скота в краже или нет.

— На каком основании? По какому праву?

— По ихнему. У них такой закон есть. «Туткуш» называется. О нем вы еще не раз услышите. Если кого-нибудь обидели, а власти по тем или иным причинам не принимают никаких мер, за обиженным остается право захвата того, что, по его мнению, законно должно ему принадлежать. Если захватит больше, тогда его ожидает соответственная кара, но если возьмет только то, что равноценно отнятому у него, он только осуществляет свое право...

Я был поражен и, не стесняясь, заявил, что вряд ли это верно.

— Не верите? Вот вам несколько фактов:

В июне 1900 года сойот Терге-Джазар задолжал монголу Манджин и в течение двух лет отказывался уплатить долг. Выведенный из терпения монгол явился к Терге-Джазару. Жена последнего заявила, что мужа нет, а она ничего не знает, и предложила ему убраться. Манджин поднялся на гору и оттуда наблюдал, когда Терге-Джазар выгонит скот на пастбище. Сойот хотел перехитрить монгола и три дня не выгонял скот. Монгол не двигался и продолжал слежку. На четвертый день скот был выгнан. Манджин выскочил из засады и часть скота попала в сторону займки кутца Сафьянова. Явившись туда, он настойчиво предлагал Сафьянову купить этот скот. Не подозревая, в чем дело, Сафьянов велел ему обождать и по установившемуся обычаю велел его угостить чаем.

— Четыре дня я ничего не ел и не пил, — сознался монгол.

Но он не успел объяснить, чем это вызвано, как во двор займки Сафьянова ворвалась жена Терге-Джазара с толпой вооруженных дубинами сойотов. Одним прыжком монгол очутился возле угнанного скота и, размахивая дубиной, заявил, что убьет каждого, кто подойдет к скоту. На шум выбежал Сафьянов и стал уговаривать монгола. Этим воспользовались сойоты и угнали скот за ворота. Монгол с криком бросился за ними.

В этот момент подъехал к займке Сафьянова один из высших сойотских чиновников Ортун-Мерин... Все замерли...

— В чем дело?

В ответ на этот вопрос выступил вперед монгол и подробно рассказал, как и почему он угнал скот.

— Правильно! Его волю.

Этого было достаточно. Союты тут же уплатили долг, и все — и монгол и союты — принялись за чаепитие, дружески обсуждая происшедшее...

— Это что! Пустяки... Вот я вам расскажу случай, так это случай! — поднялся с места другой торговец.

Все они были превосходными знатоками населения и его обычаев, и каждому хотелось передо мной блеснуть своими знаниями.

— Я вот сколько времени живу среди соютов, а этот случай и меня поразил. Вам должно быть известно, что амбын-нойон (главный начальник над всеми урянхами) из года в год отправляется в сопровождении чиновников в Улясютау (китайский городок) и отвозит дзяньдзюню (губернатору) собранный с урянхов ясак. Качество привезенных в уплату ясака мехов проверяется на месте, и в тех случаях, когда качество это неудовлетворительно или уплачиваемая приемщиком взятка кажется им недостаточной, проштрафившиеся чиновники, не исключая амбын-нойона, подвергаются телесному наказанию. Так вот, в 1897 году сопровождал амбын-нойона в этом путешествии бичетчи (секретарь) Балтурга, добивавшийся должности джелана (чиновника особых поручений) или кунду (заместителя начальника рода). Амбын-нойон почему-то не удовлетворил этого. Тогда возмущенный Балтурга купил в Улясютау голубью шишку, присвоенную должности кунду, и прикрепил ее к шапке, присвоив себе, таким образом, звание чиновника. В первый момент, когда амбын-нойон потребовал от него объяснений, Балтурга струсил и заявил, что он был пьян, когда прикрепил шишку. Но когда после этого ему было предложено немедленно ее снять, он возмущенно крикнул:

— Нет! У меня более прав на чин кунду, чем у получившего этот чин Шойдана. Мой прадед, дед и отец были кунду. У меня больше на это прав, чем у Шойдана! Созовите суд! Я это докажу.

А так как Балтурга действовал на основании закона «туткуш», то его требование назначить суд было уважено.

Рассказчик умолк.

— Что же суд? — спросил я.

— Не состоялся... Балтурга покончил с собой...

— Почему?

— Несчастный случай. По дороге в суд Балтурга остановился в юрте какого-то пастуха и потребовал арага (водки). Пастуха дома не было, его жена сослалась на то, что у нее водки нет. Балтурга вспылил. Он счел это неуважением к присвоенному себе чину и с проклятием и руганью выбежал из юрты. На пороге он натолкнулся на что-то и всердцах оттолкнул этот

предмет ногой. Секунду спустя он услышал за собой отчаянный крик жены пастуха. Оглянувшись, он ужаснулся. Возле порога юрты лежал без дыхания ребенок, которого он толкнул. В ужасе он прыгнул на лошадь и, вскачь направившись к Енисею, бросился в реку и утонул. Этим дело не кончилось. Мать ребенка стремглав побежала в суд с жалобой на обидчика. Когда она вернулась с понятыми, ребенок уже успел очнуться от обморока. Узнав, что Балтурга убил себя, мать заручилась от суда удостоверением, что у нее было основание поднять тревогу. Это ее не спасло. Вскоре после этого родственники Балтурги ворвались во двор пастуха и угнали четырех коров на содержание семьи Балтурги, умершего по вине жены пастуха. И опять-таки они действовали по закону «туткуш»: семья умершего не должна страдать, если Балтурга не причинил смерти ребенку.

Рассказчики торжествовали.

— Вот видите!

Хотя купчики приводили эти рассказы для того, чтобы обосновать свое право на самоуправство, и это тогда вызвало мое сомнение, но впоследствии мне удалось и самому записать несколько весьма оригинальных случаев применения этого «туткуш» — узаконенного самоуправства.

— Знатный это закон! — восторгался один из купчиков.

— А может быть, и союты в ответ на то, что вы их обираете, применяют этот туткуш, когда угоняют ваших лошадей? — пытался я умерить этот восторг.

— Может быть, — ответил спокойно один из них, но другой, более развязный, перебил его:

— Да разве мы их обираем?

— Ну, не говори, — остановил его первый. — Нигде не могли бы более нажиться, чем здесь...

Этот, по крайней мере, не лицемерил.

Меня интересовала степень эксплуатации, и тут же я установил следующее. Китайские купцы покупали в большом количестве у русских маральи рога. Русские платили оптом за 400 граммов свежеспиленных рогов от 3 руб. 50 коп. до 4 руб. товарами. Рога теряют от сушки в весе от 40 до 50 граммов. В Улясьютау цена на рога колебалась от 14 до 16 кирпичей монгольского чаю за 400 граммов (1 кирпич чаю стоил 70—80 коп., причем с соютами расплачивались товарами с соответственной накидкой, то есть в 2—2½ раза дороже себестоимости). Рогов этих везли купцы в Улясьютау целые воза, и каждая поездка давала им по несколько тысяч рублей прибыли.

Ночевали мы в поле, в палатках, и поднялись, как только розовые лучи солнца окрасили всю окрестность. Вновь началась возня. Рабочие суетились возле лошадей, а из палаток купчиков убегали заспанные и измятые сойотские красавицы, провожаемые насмешками суетившихся рабочих.

Благочестивые староверы, как оказалось, в распутстве не отставали от православных...

— Должно быть, у вас чад,— огорошил меня заявлением один из русских товарищей по ночлегу.— Вчера казалось, что будет дождь, а видите, как ясно. Несомненно, у вас чад.

Я ничего не понимал.

— Вы ю чаде еще ничего не слышали? Это такой камешек, который, по уверениям сойотов, иной раз можно найти в голове рыбы. Кто обладает этим чадом, тот может по своему усмотрению вызывать дождь или предотвращать его.

— Андыхтур! (правильно) — подтвердил присутствовавший при этом рассказе уже немолодой сойот-рабочий, понимавший немного по-русски.

— На время экспедиции вам пригодился бы такой камень, — продолжали острить русские.

— У Георгия-бая есть такой камень, — вмешался в разговор сойот, уверенный в том, что русские говорят серьезно об этом.

«Георгий-бай», «Георгий-богач» — так называли сойоты Георгия Сафьянова, не особенно богатого, но весьма влиятельного купца.

По их мнению, у него есть все, что ему может понадобиться, он все знает, все в состоянии сделать...

Однажды сойоты обратились к нему с просьбой отсрочить на сутки вскрытие Большого Енисея, так как им предстояло перегнать скот на другой берег, и после того, как скот был перегнан, они были убеждены, что только благодаря его вмешательству это им удалось осуществить.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ С СОЙОТАМИ

Ехать дальше с русскими торгашами не было смысла. Они останавливались только для отдыха, я же то-и-дело слезал с коня и внимательно осматривал все, что привлекало мое внимание. Я со своими спутниками, переводчиком и проводниками отделился от них.

Сухая степь. Травы нет. Из-под копыт лошади то-и-дело поднимаются тучи кобылок, подобно саранче уничтожающих до тла всякую растительность. Жара. Кое-где изнемогающий от жары скот прячется в ущельях гор.

Дорога скучная, однообразная. Километров пятнадцать едем по долине, а затем начинаем взбираться на небольшую гору, на вершине которой торчала елка, сплошь увешанная конским волосом и лоскутками синего ситца. Возле елки гряда разной величины камней.

Это «ова», как их называли сойоты, «обон» по-монгольски. Эти «ова» бывают самой различной формы. Где нет деревьев, там «ова» состоят из груды камней с воткнутым в них шестом, на который навешивается всякого рода тряпье. На берегах рек, возле переправы «ова» делаются из сухих веток, сложенных в виде шалаша, где складываются камни, тряпки, конский волос.

Из расспросов оказалось, что «ова» — это алтарь «хозяйна места», духа, владеющего данной местностью, которому делаются эти приношения из камней, конских волос и тряпок. Такие «ова» бывают на всех перевалах, на берегу рек, возле мест переправы и во всех не особенно безопасных пунктах.

Это не злой дух и не добрый. Он просто «хозяйин», в данном случае «хозяйин горы».

Сопровождавшие меня сойоты остановили лошадей, каждый выдернул из гривы коня несколько волос и, склонив перед елкой голову, украсил волосами ветку. Не отстал от них и мой пере-

водчик и повесил на елку несколько лоскутков миткалю разных цветов.

— Это от вас, — обрадовал он меня, — чтобы в дороге ничего не случилось.

Этот переводчик — русский и православный — на всякий случай страховал себя, а попутно и меня, у сойотских богов.

Воздав «духу места» должное, мы двинулись дальше, осторожно спускаясь с горы, и остановились только у подножия, возле горного ручья Меген.

— Кто-то впереди нас едет, — поделился со мной известием сойот.

— Откуда знаешь?

Он указал рукой на догоравший костер.

— Но, может быть, он в другую сторону поехал?

— Нет, — и он указал на толстую ветку, прикрепленную к камням и свешивавшуюся над догоравшим костром. Ветка была наклонена по направлению к югу.

Оказалось, что сойоты в степи этим знаком указывают, куда едут, с расчетом, что если с ними случится какое-либо несчастье в дороге, то по этим указаниям их можно будет найти. В тайге делаются для этой цели соответствующие зарубки на деревьях.

Мой переводчик, не раз совершавший такие путешествия с русскими купцами и прекрасно знавший все сойотские обычаи, на стоянках выполнял функции завхоза. Как только мы остановились, он занялся очисткой места для костра.

— Есть уже очищенное место, — остановил я его, указывая на догоравший костер ранее посетивших это место.

— Нельзя. На чужом костре свой раскладывать? Нельзя. Этого сойоты не допускают.

— Почему?

— Может быть плохо, — сказал он с уверенностью.

Я не стал больше расспрашивать, зная уже по опыту, что переводчики и проводники никогда не сознаются, что чего-либо не знают, либо не умеют объяснить, а, прижатые вопросами к стене, начинают импровизировать от «ума», весьма часто вдобавок от очень небольшого ума.

Переводчик продолжал свое дело, и вскоре запылал костер, с жадностью пожирая сухие ветки. На костре он вскипятил чайник, а сойоты готовили бараний шашлык.

— Уже несет их, чертей! — выругался переводчик, увидев приближавшихся к нам нескольких сойотов. Но настроение его изменилось, когда он заметил, что они пришли не с пустыми руками.

— Билек (подарок), — став на одно колено, преподнес мне один из сойотов молоко в кожаном сосуде.

Меня предупреждали насчет этих «билеков», да и в Якутской области частенько приходилось иметь дело с этими подарками,

расчитанными, главным образом, на более щедрое отдаривание.

В ответ на это я велел дать каждому из прибывших немного монгольского чаю, табаку и сухарей.

Все это они спрятали за пазуху, перелили затем молоко в принесенную переводчиком кастрюлю, примостили ее на костре и уселись в ожидании угощения.

Как только молоко закипело, самый пожилой из них обмакнул сорванную травинку в молоке и брызнул во все четыре стороны света.

Это была жертва духам. Только после этого можно было приступить к еде. Меню довольно оригинальное. Досуха выпеченное на огне просо, монгольский кирпичный чай и шашлык без соли и без всякой приправы. Все это любимые блюда сойотов. Богачи часто это высушенное просо едят со сливочными пенками.

Час спустя мы стали собираться в дальнейший путь. Сойоты-проводники притащили несколько веток и положили их возле костра.

— Зачем это?

— Хороший человек оставляет возле костра дрова (для следующих путешественников), а худой — потаный ремень (никому не нужный).

— Что ж! Будем хорошими людьми.

Мы начали седлать лошадей. Я повернулся в сторону посетивших нас гостей, но их и след простыл. Таков обычай: приезжают, здороваются, спрашивают прежде всего о здоровье скота, а затем — как провели мы ночь, как здоровье людей. Прощание считается излишним.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### СУД И НАКАЗАНИЕ У СОЙОТОВ

Едем дальше. Жара невыносимая. Сойоты сбросили с себя шубы и едут в одних штанах, оголенные до пояса. Едем так час, другой... И вдруг как-то совершенно неожиданно сойоты заволоновались. Соскочили с лошадей, надели шубы, натянули на головы шапки.

— Чеш — собрание, — пояснил переводчик.

— Какое собрание?

— Всякое бывает. Вроде нашего схода. А то и судебное.

Оказалось, что сойоты заметили издали судебное собрание, возглавляемое чиновниками.

Предстать перед чиновниками полуоголенными считалось неприличным, и за это можно было поплатиться, хотя в присутствии женщин ходить полуоголенным прилично. Впрочем, в таком виде, то есть в одних меховых штанах, и женщины не стеснялись ходить в присутствии посторонних мужчин. Не считалось неприличным многое такое, что у нас обычно совершается в укромных уголках. Делали это и мужчины и женщины на виду у всех, даже не отходя в сторону.

Когда мы въехали на полянку, меня поразило увиденное. Масса лошадей, привязанных к деревьям, ржанием приветствовала наших лошадей, а сидевшие в кругу сойоты повернулись лицом в нашу сторону и делились друг с другом неизвестно откуда проинкшими к ним сведениями.

— Орус-нойон; орус-имджи (русский начальник, русский ученый).

Сидевшие полукругом чиновники издали выделялись блиставшими на солнце разноцветными шишками на шапках. Они сидели на войлочных ковриках («олбук»). Перед этим ареопатом стоял на коленях со связанными назад руками обвиняемый.

Заранее осведомившись о том церемониале, какой существует у сойотров для того, чтобы подчеркнуть, что человек прибыл с

самыми дружественными намерениями, я подошел к старшему чиновнику, преподнес ему «ходак» (шелковую тряпочку синего цвета) и со словами «амыр, амыр» (будь здоров, будь здоров) обе руки положил на его руки повыше локтя.

Так здороваются не только в земле танну-тувинцев, но и во всей Монголии. Обыкновенно русские, считая себя выше сойотов, только в исключительных случаях соблюдали сойотский этикет. Этим объясняется, почему участники «чеша» отнеслись весьма дружелюбно ко мне.

— Этот знает наши обычаи,— говорили в толпе.

— Олбук, олбук, — распорядился мой новый знакомый, а когда коврик был принесен, он положил его рядом с собой, жестом приглашая меня занять место.

— Мал мын-дур ва? (скот твой благополучен ли)— приветствовал я его зазубренной заранее фразой, закуривая папиросу; затянулся и вручил ее ему. В данном случае папироса заменяла «трубку мира», вернее — «трубку дружбы».

Он не остался в долгу. Заверив меня, что скот его здоров, и справившись в свою очередь о здоровье моего (!) скота, он вручил мне закуренную трубку, что, однако, представлялось удовольствием не из приятных — среди сойотов было немало сифилитиков. Но делать было нечего. Я приложил губы к мундштуку трубки и вернул ему ее обратно. Дружба была заключена. Он сообщил мне, что у них происходит суд, и я попросил его продолжать это важное дело.

Он принялся за исполнение обязанностей. Подсудимый, продолжавший стоять на коленях, но свободно беседовавший с окружающей его публикой, сразу умолк и в смиренной позе ждал своей участи. Его о чем-то спросили; он ответил. Не только судьи, но и обыкновенные смертные тут же громко, кто одобрительно, кто отрицательно, выражали свое отношение к его ответам, а часто и к задаваемым судьями вопросам.

Но обстоятельства дела выяснены, проступок доказан, и судьи выносят приговор: двадцать ударов «банзой» (деревянной штагой). Подсудимого выводят за круг и тут же под шум и крик толпящихся сойотов происходит экзекуция. Наказываемый кричит, но его крик вызывает только презрительные насмешки. Но если найдется наказываемый, который стиснет зубы и не произнесет ни звука, окружающие в восторге. На некоторое время он становится героем.

Палач делает свое дело с чувством, с толком и расстановкой. Кончил. Наказанный приводит в порядок одежду, подходит к судьям, «бьет им челом», в буквальном смысле этих слов, и благодарит, что его, неразумного, научили уму-разуму.

Его развязывают, и он из подсудимых переходит в разряд публики. Справедливость восторжествовала, виновный понес наказание, но с этого момента он становится таким же, как и другие. Наказание не позорит, не ложится пятном на его име-

ни, никто никогда не попрекнет его тем, что он понес наказание.

Мой новый приятель вызвал следующего подсудимого. Таким подсудимым оказался его ближайший сосед, тоже довольно большой чиновник, один из судей, вынесших приговор только что наказанному. Он, нисколько не смущаясь, снял с головы шапку с шишкой и, положив ее на коврик, вышел на середину. К нему подошли и связали ему руки назад, после чего он смиренно стал на колени.

Процедура допроса длилась недолго. Приговор гласил: двадцать ударов. Он не возражал, сам поплелся к месту экзекуции и, получив свое и поблагодарив судей, преспокойно уселся на коврик, надел шапку и вместе с другими продолжал судить других проштрафившихся.

Все, чему я был свидетелем на этом «чеше», относится к мелким преступлениям. К крупным преступлениям далеко не такое отношение. В таких случаях основным средством при допросе являются пытки. Орудия пыток позаимствованы у монголов и китайцев. Самым легким орудием пытки является толстая, как подошва, кожа, которой бьют по лицу. От первого удара лицо пухнет. Если это не помогает и преступник не сознается в содеянном преступлении, бьют деревянной шпалгой («банзой») по голтому телу, главным образом по спине и по ягодицам. После этого вкладывают палочки между пальцев и так сжимают, что после этого человек не в состоянии владеть рукой. Наконец последний прием: допрашиваемого ставят на колени на острые, врезающиеся в тело камни и держат на них в течение нескольких часов.

Это, так сказать, «обычные», «нормальные» пытки, причем они применялись исключительно к мужчинам. Женщины избавлены от них. Женщин ни бить, ни пытать нельзя. Но и женщины совершают преступления. Сознания необходимо добиться и от них. В этих случаях в присутствии жены пытаются мужа. Пусть, мол, глядит и мучается. Авось это побудит ее к сознанию.

Существование этих освященных обычаем пыток не лишало права следователей применять и другие.

Мною записан следующий случай. «Дуйтун-джелан» (чиновник особых поручений при «амбын-нойоне») подвешивал допрашиваемого над очагом, лицом к огню, и буквально поджаривал его.

Как только допрашиваемый сознавался в преступлении, пытки немедленно прекращались.

Но уважающий себя сойот не скоро сознается. Чем больше мужества он проявляет, тем большим уважением он пользуется.

Я встречал сойотов, выдержавших жесточайшие пытки и не сознавшихся. К ним относились как к героям. Независимо от этого есть и другой очень существенный мотив выдерживания всех мук и пыток и отказа от признания своей вины. Несозна-

шегося нельзя признать виновным. Это его избавляет от необходимости платить пострадавшему протори и убытки, каковые в таком случае должен уплатить донесший на него.

В 1903 году, когда я был среди урянхов-сойотов, меня познакомили с двумя такими героями: один Тарачи из рода Оин, другой Опай из рода Кыргыз. Они подвергались пыткам в течение трех месяцев и не сознались.

Если не помогают пытки, как к последнему средству прибегают к присяге. Самой страшной считалась клятва на ноже. Вложив клинок ножа в рот, допрашиваемый клянется:

— Если я лгу, пусть этот нож войдет в меня и порежет все внутренности...

Присяга — последняя стадия следствия, после которой выносится приговор, определяющий наказание, глядя по вине: легкое или тяжелое.

К более легким наказаниям принадлежит надевание на шею осужденного тяжелой доски с раздвижным отверстием. К этой доске прикрепляется табличка с пояснением, за что осужденного постигла такая кара. За более тяжелое преступление надевают на осужденного «тунгу-харасхар» (доску с отверстиями для рук и для головы) и гоняют его с места на место в поучение другим.

Наряду с этими наказаниями существовало тогда и тюремное заключение. Тюрьма — «кара бажин» (черный дом) — далеко превосходит по своим ужасам существующие в Европе тюрьмы. В камерах не один пол, а два. Нижний — обыкновенный; верхний — раздвижной с отверстиями для головы и рук. Преступника, стоящего на нижнем полу, заставляют всунуть голову в отверстие в верхнем, а затем просунуть руки в два меньших отверстия, после чего доски сдвигаются. Голова остается над верхним полом, все туловище под ним. Отбывающий такое наказание все время должен стоять в одном положении. Ему приносят еду и ставят возле рта. Рук из отверстий он вытащить не может и ест, как собака, помогая себе языком. Приговаривают на два, на три, даже на семь дней. И, тем не менее, отбывающие это наказание выдерживают. Спасает подкупность стражи. Тюремные стражники за соответственную мзду раздвигают пол, дают возможность заключенному выпрямить окостеневшие члены, поесть по-человечески, соснуть.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### ВЕРОВАНИЯ СОЙОТОВ

По мере приближения к Енисею чаще встречаются сойотские войлочные юрты, в большинстве случаев словно пристюпленные к горам.

Долина Енисея считалась в то время самой культурной и, если это слово здесь применимо, самой «прогрессивной» частью Тувинского края. На западе среди кемчикских сойотов и на востоке среди тоджинцев шаманизм был еще в полной силе, по Енисею среди ойнаров уже было очень заметно влияние буддизма. На буддизме, не будучи в состоянии сказать ничего нового, я не останавливаюсь; отмечу лишь, что высший духовный чиновник («геген») был не сойотом а монголом. Несмотря на то, что этот «геген», парень лет тридцати, был пьяницей, развратником, самодуром, ему воздавались божеские почести. Об этом Ламаин-гегене, проживавшем недалеко от г. Улясюгау, сохранилась следующая легенда.

Лет за тридцать до моего приезда в Тувинский край в окрестностях этого же города жил ученый китаец. Однажды, выйдя ночью на улицу, он увидел, что горит стоящая неподалеку от него юрта, в которой жила бедная монгольская семья. Не будучи в состоянии помочь, он вернулся к себе в юрту. На следующий день, выйдя на улицу и взглянув на горевшую накануне юрту он остолбенел: юрта была целехонька. Пораженный этим, он отправился к монголам и, не обмолвившись ни словом о виденном накануне, стал осторожно расспрашивать жильцов о том, что у них происходило ночью. Оказалось, что в тот момент, когда он видел юрту в пламени, жившая в ней монголка разрешилась от бремени. Сообразить, что родившийся мальчик—«геген», ученому китаюцу было не трудно, и он, продолжая молчать о виденном знамении, вступил с родителями новорожденного в переговоры об уступке ему ребенка. Родители согласились, и китаец, уплатив им все, что они требовали, перекочевал с купленным младенцем

в Китай. Между тем среди окрестных жителей распространился откуда-то слух, что хитрый китаец купил и увез «гегена». Под впечатлением этих слухов встревоженные монголы отправили посольство к тибетскому Далай-ламе, главе буддийской церкви. Далай-лама подтвердил верность слухов. Монголы заволновались, разыскали китаец и за огромную сумму выкупили «гегена». Он первое время тяготился своим божеским положением, молил об освобождении его от этой чести, но удовлетворение его просьбы было бы нарушением воли божьей, и его не отпустили. Он ожесточился. Вечно пьяный, озлобленный, взимающий с населения опромные налоги, он, земной бог, в минуты раздражения убивал осмелившихся в чем-либо перечить ему.

Несмотря на это, его не освобождали от золотых цепей, считая, что свыше предопределено, чтобы он был таким.

Курьезна была моя встреча с ним. У меня был фотографический аппарат, и мне очень хотелось его снять. Он охотно согласился, но снимать его пришлось в юрте...

Нервный, раздражительный, он секунды не сидел спокойно. При проявлении негатива оказалось, что он шевелил головой, и на снимке оказалось три лица. Когда я ему сказал, что его придется переснять, так как карточка не вышла, он рассердился:

— Моя карточка не может не выйти... Покажи!

Я показал.

— Такой она и должна быть!—воскликнул он.—Ты ничего не понимаешь... Я всегда вижу одновременно и впереди и по бокам! Именно такой она должна быть. Дай ее!

Я не дал.

— Возьми коня, если хочешь, возьми корову за нее... Мне она нужна...

Я отказался, конечно, и он, оскорбленный в своем божеском достоинстве, обиделся и отказался от повторной съемки.

По этому «гегену», однако, нельзя судить о всем тогдашнем буддийском духовенстве. Среди лам было много, правда, по-своему, очень образованных людей, многие из них прекрасно говорили по-тибетски, изучали тибетскую медицину и многие болезни лечили довольно успешно. От них я узнал много легенд о введении буддизма в Сойотию и многое о борьбе ламаизма с шаманизмом. Буддизм, по преданию, к сойотам перешел от «кал-асцев» (монголов). Калгасский (по другому произношению «хал-касский») хан Абатай-Сан, очень могущественный в то время, когда «ном» (священных буддийских книг) в его царстве еще не было, заболел. На ноге у него появилась язва, которую лечили, прикладывая к ране куски человеческого мяса, для чего каждый день убивали по одному человеку. Болезнь была затяжная, лечение продолжалось долго, много людей было убито, а хану не становилось лучше. Он все продолжал болеть.

Благодаря дару ясновидения об этом узнал тангытокий (тибетский) Далай-лама. Преобразившись в старца, он пришел в

Страну калгасцев и, притворясь ничего не знающим, расспрашивал встречных, почему так мало стало народу. Ему рассказали. Он продолжал расспросы, но слуги хана схватили его и повели к хану. Абатай-Сан спросил его, кто он и откуда. Он ответил, что он пришелец из страны, где царит вера в Будду. Ничего до этого не слышавший о ламаизме, хан начал расспрашивать, в чем состоит вера. Отвечая на этот вопрос, старик упомянул о том, что Далай-лама, а также и он (он скрыл перед ханом, что он — Далай-лама) силой, исходящей от Далай-ламы, в состоянии излечивать людей... Дальше — больше... Хан попросил старика излечить его. Старик прикоснулся к нему, хан выздоровел, и в этот же момент старик исчез.

После этого хан решил ввести и в своей стране «ном» и, собрав пятьсот воинов, отправился в страну Далай-ламы. По пути предстояло перевалить через Маджалык — невысокий перевал. Но «хозяин» этого места не пропускал воинов. Они остановились, дождались ночи и под ее прикрытием, стреляя из луков, вбежали на горку. Одна из стрел попала в «хозяина» и ранила его. Он побежал жаловаться к Далай-ламе. Когда Абатай-Сан подъезжал уже к месту, где жил Далай-лама, тот выпустил против него всех своих собак. Но собаки, подбежав к отряду, испугались и вернулись назад.

— Видишь, его даже собаки боятся,— сказал Далай-лама потерпевшему «хозяину» Маджалыка.—Лучше ты уж не вреди людям и сделайся ховраком (ламой).

Подъехавший Абатай-Сан, войдя в юрту Далай-ламы, поднес ему черный «ходак» (кусок шелковой ткани) в знак того, что он и его народ до сих пор попряжали в грехах. В ответ Далай-лама поднес ему «ходак» желтого цвета — цвета одежды лам.

С тех пор утвердился в Калгассии буддизм и оттуда уже перешел в Сойотию.

Само собой разумеется, что перенесенный на сойотскую почву буддизм должен был претерпеть многие изменения. Исходя из этого, я в беседах с сойотами старался выяснить эти особенности. Услышав от сойота заявление, что «бог один», я указал ему на существующее противоречие между этим его заявлением и целой массой изображений буддийских богов.

На это я получил следующее объяснение.

Бог — один, а то, что его изображают в разных видах, не имеет никакого значения. Каждое изображение имеет свою историю. Какой-нибудь подвижник, удалившись в горы, сосредоточивается на молитве и просит бога осчастливить его и показаться ему. В том виде, в каком бог предстал перед ним, он и изображает его. Эти изображения могут носить различные названия, могут представлять мужчин и женщин. Но это все — изображение единого бога. Бог может появиться перед человеком в любом виде: в виде бревна, чудовища и во всяком ином. Тонул, например, человек и, утопая, взмолился к богу о помощи. Бог явился

к нему в виде бревна, за которое он ухватился, и он спасся. Это бревно — бог. Был голод, люди умирали. Неожиданно им удалось поймать огромную рыбу, и они насытились. Эта рыба была богом, явившимся на помощь голодающим, и т. д. и т. д. Из изображений особым почетом пользуется Богда-Сангуа, о котором сохранилась легенда, многие детали которой напоминают легенды о Христе.

Родился он в стране Тарин или Ланза от матери-старушки (об отце рассказчики не упомянули ни одного раза). Когда у него отрезали пуповину, то из нее капнуло несколько капель крови на землю, и в этом месте выросло дерево «красный сандан» («кызыл-сандан»), и на каждом листике этого дерева был изображен бурхан. Это поразило всех, и как только мальчик подрос, его отправили учиться. Он оказался очень способным и вскоре превзошел познаниями всех своих учителей и сделался «бакша». Все прислушивались к каждому его слову, и он стал поучать. Проповеди его были посвящены преимущественно любви к ближнему. Много лет он так прожил вдали от старухи-матери. Стосковавшись, мать послала к нему человека с просьбой, чтобы он приехал к ней, но Богда-Сангуа не счел возможным оставить своих учеников и вместо себя послал матери письмо с нарисованным им же его портретом. Когда мать вскрыла письмо, портрет произнес: «авам» (мама).

Перед своим вознесением на небо Богда-Сангуа назначил своего заместителя, затем сел на «шире» (скамеечке). Его окружили ученики. На «шире» спустилось облако, посыпались цветы... А когда облако рассеялось, «шире» оказалось пустым, и лишь на полу остались цветы.

Богда-Сангуа приписывалось составление книг на тибетском языке, которые почитаются как бы новым заветом.

Борьба между буддизмом и шаманизмом разгорелась, как только первые пионеры ламаизма проникли в землю сойотов. Народная память сохранила целый ряд эпизодов из этой борьбы, в которой проповедником нового учения был монгол лама Шаретты, а защитником прежнего верования — шаман Тунгустей и его мать. Тунгустей пал жертвой этой борьбы. Могущественный Шаретты-лама силой своих молитв обрушил на него утес Хайэрхан (гора на берегу Енисея, прозванная «Хайэрхан» — страшный). Мать Тунгустея отомстила утесу. Предупредив заранее окрестных жителей об опасности, благодаря чему они заблаговременно откочевали, она накликala на утес грозу. Несколько дней свирепствовала стихия, а когда буря стихла, часть утеса навсегда побелела...

С течением времени борьба между двумя верованиями смягчилась и приняла совершенно другой характер.

Ближе ознакомившись с бытом сойотов, ламы прибегали к своеобразному методу: сохраняя форму, они наполняли ее своим содержанием. На вершинах гор, на берегах рек, у переправ, по

дорогам, где ранее в сооруженных «ова», о которых я уже упоминал, производились шаманские «камлания» (заклинания) «хозяину места» и приносились жертвы, ламы помещали буддийских «бурханов» и делали им жертвоприношение по своему обряду. Прежние «эрени» — идолчики, изготовляемые шаманами и играющие роль предохранительных амулетов, стали заменяться соответственными буддийскими идолами. В общественных молениях — «сумотагыр» («клановые моления»), «сеск-татыр» («моления кости», род—клан—делился на «кости») — раньше главную роль играли «хам» (шаманы), впоследствии их место заняли ламы. Даже у постели больного, где ранее безраздельно властвовали шаманы как спецы по борьбе с злыми духами, овладевшими телом больного, их стали вытеснять ламы, являвшиеся врачами («имджи») и священниками, устраивавшими «хорум» (молебен о выздоровлении больного).

Но, впитывая, так сказать, в себя шаманскую обрядовую сторону, буддизм сам по себе не мог не подвергнуться некоторым искажениям, не вылившимся в определенную форму, не вызвавшим образование какой-либо секты, но все же приведшим к тому, что некоторым бурханам, как, например, Шаджай (по другому объяснению, Сэндэмма), приписывались специфические свойства ангела-хранителя от козней шамана.

Таким образом, верования ойнарских сойотов представляли смесь ламанизма с шаманизмом.

На самых характерных моментах этих верований я позволю себе остановиться.

По этим верованиям, смерть человека происходит оттого, что какая-то невидимая сила проникает в него и отрывает «тын» — (дыхание). Это дыхание, по выходе из человека, возрождается в другом существе: человеке, животном, насекомом. Их появление на свет обусловлено вхождением в них «тын». Наряду с «тын» в каждом человеке существует «сагыш» (душа; мысль). Сон — результат «сагыш». Пока «сагыш» и «тын» в человеке, они, не составляя единого целого, все же неразрывно связаны друг с другом, и только в момент смерти человека они становятся единым целым — «сюнезин».

По другим толкованиям; в момент смерти человека «тын» (дыхание) умирает, а «сагыш» (мысль) переходит в другого человека.

В момент зачатия в плод входит «тын» и «сагыш» отца, вследствие чего рождающийся ребенок всегда (!) похож на отца. До пятого месяца утробной жизни «тын» и «сагыш» хотя и существуют в плоде, но ничем не проявляются. Женщина плоду ничего не передает; она — лишь помещение для роста плода. Зачатие происходит в свыше predetermined момент. Рост плода зависит в целом от «кудай» — небесного творца. По его поручению бурхан Шакчадыппа надзирает за второстепенным бурханом Отчаты, на обязанности которого лежит решение —

родиться ли ребенку или нет. Но есть и естественные причины бесплодия. Девушки, не имевшие до двадцати лет половых сношений с мужчиной, не могут рожать детей: у них в матке появляется боль, влекущая за собой смерть.

Мертворождение вызывается болезнью: ребенок не выдерживает жара тела матери и умирает в утробе.

Обморок вызывается скоплением в сердечной сумке большого количества пены.

Болезни посылаются чертями — «аза». Кроме этих «аза», есть другие черти: «кайбын-ку», причиняющие мучения во время болезни и вызывающие агонию.

Особую категорию злых духов составляют «албыс» и «пук». «Албыс» живет по преимуществу в песчаных местах. Мужчине он представляется красавицей, женщине — красавцем. Спереди у него обыкновенный вид, сзади — тела нет и видны все внутренности.

— Недалеко от устья реки Элегеста, в местности Манган Элезын (беловатый песок)<sup>1</sup> пришлось однажды ночевать одному ойнарскому сойоту. Во время этой ночевки к нему явилась красавица девушка, как впоследствии оказалось, — албыс, соблазнила его, и он имел с ней связь, после которой он как бы забыл все на свете и домой не возвращался. Семья обеспокоилась лишь тогда, когда его оседланная лошадь одна вернулась в улус. После долгих розысков его нашли спящим, но, как только его разбудили, он бросился бежать. Долго его не удавалось поймать. Помог ехавший навстречу сойот, который накинул на него аркан. Беглеца привели в улус и смрадным дымом (жгли кошму, старые подошвы и т. п.) освободили его от «нечистого духа».

Как видно из сказанного, «албыс» — это, так сказать, странствующий чорт, живет он вне человека, а овладев им, и внутри:

Другой нечистый дух — «пук» — более ограничен, чем «албыс». Он не может существовать вне человека. Но в то время как у сойотов по р. Кемчику он является чем-то вроде «оборотня», у ойнарских сойотов всякая трудно излечимая или вовсе неизлечимая болезнь приписывается действию «пука». Опухли ли у кого-нибудь ноги, заболел ли кто водянкой, умерло ли несколько человек в семье, — все это злокозненное действие этого «пука». В особенности — последнее, причем, по объяснению многих сойотов, «пук», покончив с одним из членов семьи, его же использует для умерщвления других. Повидимому, так в сознании сойотов смерть от заразных болезней, уничтожающих иногда целые семьи, объясняется действием особого духа, который через умершего действует на других членов семьи. Этим предпо-

---

<sup>1</sup> Рассказ передаю со слов одного из сойотов (по записи в моем дневнике), при передаче сильно волновавшегося.

ложением можно объяснить сравнительно мало распространенный похоронный обряд, базирующийся на понятии о родовой связи между членами клана. Эта связь настолько сильна, что каждый член клана отвечает за действие другого. С другой стороны, этот обряд основан на печальном наблюдении, что смерть одного влечет за собой смерть других.

На первый взгляд этот обряд кажется диким. Как только начинается агония, все жильцы юрты выбегают с криком: «Бегите, помогите, в юрте умирает человек». Никто из сородичей умирающего не откликнется на этот зов. В юрту могут войти только чужие, которые посылают за шаманом, как только умирающий испустит дух. Шаман ставит возле умершего чашку с топленным маслом, кладет щепотку табаку, горсть проса, чашку с молочной водкой и объявляет покойнику:

— Ты умер! Вот тебе все приношения, иди!

Но покойник возражает (устаами шамана):

— Неправда! Я вовсе не умер. Я в юрте среди людей...

Иной раз приводятся другие аргументы в опровержение, в зависимости от творческой фантазии совершающего обряд шамана. Но последнего это не беспокоит. У него в запасе есть аргумент, которого опровергнуть нельзя: «Как же ты жив?! У живого человека есть тень... Оглянись, есть у тебя тень?» Бедняга покойник оглянуться не в состоянии и сдаётся. Тогда в юрту вносится колода, к которой вместе со всеми приношениями покойник привязывается веревкой, свитой из конского волоса. После этого войлок юрты снаружи отдергивается, к этому отверстию подъезжает на лошади верховой, через это отверстие просовывается колода с покойником, верховой кладет ее перед собою и во весь мах, без дороги, мчится по полям, по лугам по направлению к горам, пока не найдет укромного ущелья, куда сбрасывает покойника, а сам, не оглядываясь и опять-таки кружась без дороги, мчится обратно в свой улус.

Все это делается для того, чтобы покойник не мог вернуться к себе в юрту за другими. Дорогу через дверь он знает и может пройти, но через сделанное, а затем вновь закрытое отверстие он уже не проникнет, да и трудно ему освободиться от веревки, которой он привязан к колоде. Но нечистый силен. Нельзя везти покойника по знакомой ему дороге: развяжется, чего доброго, и вернется. Вот во избежание этого его и мчат на тот свет без дороги.

Если исключить то, что покойников не хоронят, а бросают, а это делалось на всем протяжении Урянхайской земли, то описанный мною обряд, как я уже упоминал, сравнительно мало распространен.

На мои вопросы, почему покойников не хоронят, мне ответили, что ранее покойников не бросали, а зарывали в землю со всем имуществом, в том числе и конем. Бросать покойников на-

чали под влиянием лам, по одним объяснениям — чтобы доставить душе свободный выход, по другим — во избежание заразных болезней. При зарывании труп разлагается, и когда со стороны могилы подует ветер, в ближайших улусах народ начинает болеть. Новый способ похорон — бросание трупов — создал поверье о том, что хороших людей немедленно исклевывают птицы и пожирают хищные животные, в то время как трупы плохих людей разлагаются и гниют. На том свете плохие люди и предстанут в таком виде, между тем хорошие не будут лишены телесной оболочки, так как каждая птица, каждое животное принесет на тот свет похищенную частицу. Несмотря на это, старый способ похорон, повидимому, еще не совсем искоренился в то время, и мне вблизи Шаганара по Улу-хэму пришлось видеть труп ребенка хотя и на поверхности земли, но настолько обставленный со всех сторон каменными плитами, что никакое животное, никакая птица к нему пробраться не могли. Почетных лиц, как, например, сальджанского «тёктюх-сорджи» (духовное лицо), во время моей экспедиции уже начали хоронить иначе. Их клали в сруб и отгораживали от хищных животных, а затем, когда труп высыхал, его сжигали, пепел собирали, смешивали с глиной и делали «сацца» (небольшие пирамидки), которые помещались в укромных местах.

Похоронный обряд почетных и зажиточных сойотов иной, чем обыкновенных смертных. Снаружи юрты привязывается лошадь покойника, к удилам ее прикрепляется «ходак» (шелковая ткань, обычно подносимая в знак почета). Покойнику в юрте придают сидячее положение, с лицом, обращенным к жертвеннику — «бурхан-шире» (стол для божков). Ламы молятся, а жильцы юрты собирают одежду покойника: шубу, шапку, опояску, трубку, одевают во все это покойника, а затем пицу и все, что некогда зарывалось с покойником в могилу, складывают в «талын» (сумы), бросают на все это горстями ячмень и затем выносят и складывают на лошадь, которая со всей кладью идет на вознаграждение лам. Только после этого происходит вынос тела. О молитвах лам во время обряда похорон сохранилось предание, что они молились так долго, что покойники в результате этих молений привставали, опирались на локоть, шевелились, а некоторые из них превращались в упырей, жили, ходили, хотя и ничего не ели и не пили. Ни тепла, ни холода они не чувствовали. Эти упыри, выходя из юрты, превращали других в такое же состояние. С этими ожившими покойниками не могли справиться самые ученые ламы, и только монгольский «геген» избавлял людей от них. Он закуривал трубку, выкурив, выколачивал ее, и из нее вылетала головка уничтоженного им упыря.

По мнению сойотов, каждый человек после смерти становится очень тяжелым, и поэтому лошадь должна быть сильной, чтобы донести труп до места, назначенного ламами. Если у покой-

ника глаза открыты и лицо перекоилось, то это признак, что он был нехорошим. От «взгляда» такого покойника остающимся в живых бывает плохо: либо кто-нибудь из родных умирает, либо начинается падеж скота. Такому покойнику надо закрыть глаза тряпкой. Если, наоборот, глаза закрыты, лицо спокойно, руки простерты вперед — человек был хороший.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### ШАМАНИЗМ

Во время моих скитаний по белу свету мне очень часто приходилось сталкиваться с шаманами (заклинателями нечистых духов). Встречал я их среди якутов, среди качинцев, не раз беседовал с шаманами и присутствовал на шаманских камланиях у сойотов и на основании всех этих встреч и наблюдений пришел к выводу, что даже в специальной литературе укоренилось ошибочное мнение как о шаманизме, так и о шаманах.

Шаманизм обыкновенно противопоставляется в Сибири православию, а в Сойотии он противопоставляется буддизму.

Эти противопоставления совершенно неверны. Первобытный человек приписывал благоприятные для него явления доброму духу, враждебные явления — злему. Но бывали явления, иной раз благоприятные, а другой — неблагоприятные: то переправа через реку удачна, то неудачна. Один и тот же дух бывал то добрым, то злым. Эти перемены первобытный человек приписывал третьей категории духов — «хозяевам мест», которые требуют уплаты за пользование местами, находящимися в их ведении.

От «хозяев» он откупался соответственными приношениями.

О последней категории «духов» можно и не говорить. Они сродни русским «лешим», «домовым» и т. п. и оставались тогда еще в сознании сойотов в неприкосновенности. Более характерна то, что, несмотря на введение христианства и буддизма, в верованиях якутов, качинцев, сойотов никакого существенного изменения не последовало. Православные миссионеры, а в Сойотии — буддийские расхваливали свой товар — одни Христа, другие Будду, — превознося их милосердие, доброту, заботу о людях, убедили в превосходстве их доброго бога над добрым богом якутов, качинцев, сойотов. Те и согласились заменить духа худшего качества духом лучшего. Но так как все эти миссионеры совершенно не давали ничего для защиты от злого духа, служение ему оставалось неприкосновенным. Я встречал ш а м а -

нов православных и буддийцев... Недалеко от Минусинска, у качинцев, я, узнав, что шаман — православный, после совершения им камлания спросил его, постится ли он, на что получил гордый ответ: «Конечно! Мало-мало я Христа понимаю».

Христос — это добрый дух, но есть еще злой, которого он также и даже в большей степени «мало-мало понимает».

Есть среди шаманов вполне сознательные обманщики, пользующиеся темнотой и невежеством населения, но в большинстве случаев, по моим наблюдениям, шаманы — это люди больные, нервные, страдающие галлюцинациями, приводящие себя в сомнамбулическое состояние.

На Джергаке какой-то мальчик, балуя, начал подражать шаману, колотя по куску железа деревянной палочкой. Звук ударов долетели до живой поблизости шаманки. Она бросилась к мальчику, но тут же остановилась, как вкопанная: ей показалось, что к мальчику подбегает медведь. С криком она секунду спустя опять бросилась к мальчику, чтобы его спасти, но тут же упала без чувств, с откинутой назад, как в столбняке, головой.

Испуганный криком шаманки, мальчик пустился бежать. По видимому, шаманка крикнула: «Медведь!», потому что, когда погнавшиеся за ним его остановили, он объяснил, что бежал от медведя.

Эта же шаманка, увидев у русского купца Сафьянова бутылку в виде фигуры человека, замахнулась на нее, крича, что это «аза» (чорт). Вид часов с маятником приводил ее в особое состояние. Она становилась перед часами и сначала качала в такт головой, а затем переходила к такому же покачиванию всего туловища. Кончилось это тем, что она и на часы замахнулась.

Другая шаманка — на Джерджарике — страдала болезнью «белигне дыр», совершенно тождественной с якутским «эмирячением». Она подражала движениям присутствующих. Был случай, когда шаманка, увидев мальчика, погнавшегося за ягненком, чтобы его заколоть, погналась за ним с ножом. Мальчика с трудом удалось спасти. Когда ее насильно остановили, она не могла объяснить, почему она бежала за мальчиком с ножом.

Перед камланием шаман, уставившись в одну светящуюся точку, мерно покачиваясь и производя при помощи бубна однообразные звуки, постепенно приводит себя в сомнамбулическое состояние. Ниже я приведу подробную картину камлания; здесь же укажу, что во время моей экспедиции мне часто приходилось слышать жалобы на то, что сила шаманов ослабела и продолжает слабеть. Иначе, по мнению сойотов, и быть не могло. Душа одного шамана, по их мнению, после его смерти вселяется в другого; душа при этой, так сказать, «перемене места жительства» изнашивается и слабеет. Об этом переселении душ мною записана следующая очень характерная легенда.

Лет 80—100 тому назад шестнадцатилетний мальчик Шагдыр случайно очутился в степи во время грозы. Этого надо избегать. Не пром опасен. Нет. Но когда сначала появляются черные тучи («кара терлер»), а затем сразу радуга, тогда надо бережся. Конец радуги ударяет человека по голове, и с этим ударом в него вселяется душа умершего шамана. Так случилось и с Шагдыром. Его ударило концом радуги, и родные нашли его в обморочном состоянии. Долго все попытки привести его в чувство не давали никаких результатов, и, только когда по совету одного старика его окурили вереском, он ожил. Затем, как только он оправился, он то-и-дело хватал куски дерева и железа и ударял одним в другое, как в бубен. Тогда все поняли, что его ударила радуга, что он стал шаманом.

Эта легенда служит еще одним доказательством сказанного мною выше о шаманах. Но она не застывшее предание старины глубокой. С опасностью удара радугой считаются совершенно реально. Застигнутый в степи или в горах, пораженный сменой явлений во время грозы, сменой, у всех первобытных народов вызывавшей легенды о радуге, сознающий, что беды ему не миновать, а быть шаманом считается бедой, чувствуя, что укрыться негде, что спасения нет, он с испугу заболевает. Это настолько обычное явление, что после каждой грозы сойоты выезжали в степь искать невозвратившихся до грозы домой сородичей. Заинтересовавшись, я один раз поехал с ними и сам присутствовал при том, как очутившийся во время грозы в степи бился в падучей. Несомненную роль тут сыграло самовнушение.

Шагдыр вскоре стал могущественным шаманом. Фантазия темных людей наделила Шагдыра всевозможными сверхъестественными способностями вроде втыкания себе в грудь ножа, так что его конец пронзал спину. Лично я ни разу не наткнулся на такого рода фокусничество шаманов, как втыкание себе ножа в грудь. О таких «чудесах» только рассказывали.

Во время своей экспедиции я всего один раз натолкнулся на то, что шаману приписывалось насылание болезни или использование злых духов во вред другим (об этом случае я говорю ниже). Наоборот, специальность шамана — борьба со злыми духами, заступничество перед ними за человека. Шаманы по преимуществу знахари-врачи. Во время камлания (шаманской мистерии) шаман отправляется на розыски духа, овладевшего душой больного, по дороге встречает всевозможные препятствия и препяды, переживает разные мытарства, но в конце концов добивается цели, дух соглашается за определенную мзду освободить тело больного. Сойотские духи не требовательны. Их вполне удовлетворяет «эрень» (идольчик из тряпок всевозможной формы, в зависимости от заболевания). Если болела рука, «эрень» может быть изображением руки; при внутренних болезнях, когда шаманы не в состоянии определить, какая именно часть тела пострадала от нечистого, выделялись из тряпок

фигуры человека. «Эреней» этих — бесчисленное количество. Каждая болезнь — сифилис, чахотка, эпилепсия, трудные роды, детские болезни — имеет своего «эреня». Но «эрень», делаемый одним шаманом, в деталях разнится от делаемого другим. Это уже зависит от степени могущества шамана. Одни имеют дело с высокими чинами нечистых духов, — будучи шаманами в седьмом-восьмом поколении по наследству, — другие с мелкими чинушами.

Как я уже упоминал, конкурентами шаманов во врачевании больных являются ламы (буддийские духовные), но есть одна болезнь, в лечении которой компетенция шамана признается беспорной — это падуца — ыстыртен тыртыд — жегнаш арых (небесная болезнь содрогания). Происхождение падуцей объяснялось сойотами следующим образом. В маловодных ключиках, во время смены погоды непогодой, в месте, где в камнях брошен труп человека, подымается ветер, надуваемый «хозяином» этого ключика. На кого подует этот ветер, тот и начинает страдать падуцей.

Единственный записанный мною случай, когда шаман, защищая одних, вредил другим, очень характерен.

Лет 60—70 тому назад у салджакских сойотов шесть братьев, очень богатых, пожелали к богатству присоединить и почет и путем подкупа добились того, что шишка «огурды» (высокий чин) была отнята у владевшего ею и передана одному из них. Лишенный чина «огурда» пожаловался на обидчиков своей матери — шаманке, и она из мести наслала «пук» на их скот. Начался падеж. Братьям угрожало полное разорение. Жаловались они «амбын-нойону» (начальнику над всеми сойотами), но против шаманки он был бессилен. Тогда обратились к ламам, а когда и это не помогло, — к шаманам. Из всех шаманов нашелся только один, решившийся на борьбу с могущественной шаманкой. Но когда все его усилия оказались напрасными, он решился на отчаянный шаг. Вооружившись ножом, он вошел в юрту шаманки с определенным планом заколоть «пук». Рассчитывая, что эти «пукл», испугавшись его появления, устремятся к двери он вошел в юрту, держа нож лезвием вперед, черенком к себе: наткнувшись на лезвие, «пуки» пропадут. Но силой внушения шаманки получилось так, что у него в руках очутился нож, обращенный лезвием к его груди, и когда «пук» устремился к двери, силой движения воздуха по направлению к вошедшему шаману нож вонзился в его грудь, и он упал замертво. Шаманка его оживила, считая его настолько презренным, что победа над ним не может для нее иметь никакого значения.

Этим борьба не прекратилась, но в конце концов победила шаманка: обидчики разорились, некоторые из них с горя спились, шишка «огурды» вновь перешла в прежний род.

Во всех приведенных нами случаях шаман действует по жалобе заинтересованных лиц, ничего не проделывая над ними са-

мими; употребляемые им при этом приемы никому не известны и составляют, так сказать, его профессиональную тайну, тщательно скрываемую им от всех за исключением — и то в редких случаях — того, кого он намечает в своего право- или, вернее, чудо-преемника. Этих приемов поэтому мне и не удалось изучить. Мною изучены только те, которые употребляются шаманами на виду у всех, когда шаманская мистерия имеет целью излечение больного. По моему наблюдению шаманы не одинаково подходят к борьбе с нечистыми духами, овладевшими телом больного. Они не борются, а молят нечистых духов помиловать больного, не стесняясь в этих мольбах обманывать духов в расчете на более дешевую цену за уважение мольбы. Я присутствовал при том, как шаман, шаманя над бездетной женщиной, умолял: «Детишек ее малых пощади, сирот из них не делай».

В этих мольбах некоторые шаманы доходят до поэтического экстаза.

Производя камлание над страдающим ревматизмом ног, шаман, указывая на идольчика, изображавшего ногу, пел под звуки бубна:

Небо, с промом и ветром опустившееся,  
Растай! Размякни! Помилуй!  
Взгляни на сделанную березовую ногу  
И извлеки боль!  
Легким ветром подуй...  
Не превращайся в маленького червячка,  
Не прячься, как змея!  
Больной ноги не стягивай.  
Со всей ноги болезнь сними, помилуй!  
Руки его пощади, помилуй!  
Просвети, приподними, помилуй!  
Зачерненное отбелю, помилуй!  
О, призрак, умиротворись, помилуй!  
Как мрак на небе гонит свет,  
Так ты прогони боль! Помилуй!  
До самых краев прогони болезнь,  
От пальчика оторвись, помилуй!  
Растай, размякни! Помилуй!

Заканчивается эта мольба тем, что шаман идольчиком прикасается к ноге больного, приговаривая: «Твоим прикосновением да исцелится!»

Над идольчиком («эренем») при болезни детей шаман взывает:

Серая птичка с мелкими подкрыльными перьями,  
Жужжащая верхушками крыльев,  
Верхушками крыльев шурушашая,  
Налетая, убивающая всякую живую тварь,  
Вонзающая в шерсть когти,  
Впускающая лапу всей кистью,  
Впивающаяся всеми когтями...  
Завладей ты ранее другого<sup>1</sup> хищника,

<sup>1</sup> Из этого следует, что шаман и своего «эреня» считает хищником.

Торопящегося (другого) не допускай...  
Имени отца твоего не позволяй поносить,  
Имени отца твоего не позволяй ударить,  
Маленького младенца — спаси!

Производя камлание, шаман не забывает и о себе. Для этого служит «хек-эрень»:

На маленьком лесочке сидевши,  
Покачивалась, куковала,  
На вершине гибкой ветки  
Сидевши, серая куковала...  
Звонкая, серая моя кукушка,  
От всех напастей избавь, помилуй!

Большое значение шаман придает «буга-эреню», пускаемому при его распри с другим шаманом:

О, славный, черно-пестрый мой пороз!  
Взгляни на меня, помилуй!  
Золотой поводок растяни, помилуй!  
Передай ветру мои слова,  
Не дай, не дай стоптать,  
Не дай, не дай одолеть,  
Ступай, сбрось, убей его.

Эта самая распространенная категория шаманов-«просителей» не пользуется у сойотов ни уважением, ни особенным доверием. К ним обращаются просто потому, что, кроме них, обратиться не к кому: ламы против злых духов не в состоянии помочь. Действительным уважением и огромным доверием пользуются «почетные потомственные шаманы», насчитывающие среди своих предков по восемь—десять шаманов, славившихся своим могуществом, и, так сказать, унаследовавшие от них определенное количество духов, им подчиненных, не смеющих им противоречить. Эти шаманы не обращаются с мольбой, а протестуют, приказывают, покрикивают: «Как смеете вселяться в больного?!»

Они не церемонятся... Прыгая по юрте кругом очага, они делают вид, что ловят нечистых духов, запихивают их в бубен, становящийся якобы от этого все тяжелее и тяжелее, так что они еле-еле в состоянии его удержать, и, поймав таким образом, они их всех бесцеремонно вышвыривают за дверь юрты. И они приносят жертвы в виде «эреней» (идольчиков), но это принимает характер подарка, даваемого повелителем выполнившему его приказанию подчиненному.

Сама мистерия,—привожу по своему дневнику,—происходит следующим образом. Шаман снимает с себя халат, шапку и обувь (последнее не везде) и одевает прежде всего обувь,—по большей части меховую, отличающуюся от обыкновенной лишь тем, что она украшена белыми раковинками и железными небольшими пластинками, прикрепленными близко одна за другой. Каждая часть шаманского туалета, за исключением шапки, соору-

жена с определенной целью: производить шум. Затем одевается плащ, если можно это одеяние назвать плащом. Это одеяние сплошь увешано длинными, долженствующими изображать змей, скрученными из кожи шнурами. Верхняя часть плаща и рукава буквально унизаны железками, колокольчиками, довольно часто находимыми в курганах бронзовыми бляшками. Головной убор состоит из круга, утыканного перьями, по преимуществу орлиными, прикрепленными вертикально. Весь ободок шапки (без дна) украшен раковинами. Спереди, по середине, у одних — изображение черепа, у других — курганная бронзовая бляшка, у иных обходится и без какого-либо изображения.

В то время как шаман одевается, его помощник, которым может быть и женщина, кадит вереском и сушит над очагом бубен, играющий в мистерии главную роль. Это конь, на котором шаман ездит в мир поднебесья в поисках того нечистого духа, который пленил тело больного. Внутренняя перекладина бубна, за которую шаман его держит, украшена весьма часто художественной резьбой. Удары в бубен производятся колотушкой с черенком шириною в ладонь. Колотушка с одной стороны вогнута. Звук ударов в бубен напоминает топот лошади.

Во время одевания шаман обращается к шапке:

Одеваю птичью шерсть и обращаюсь к богу,  
Без верхушки шапку одеваю, небесам молюся...  
Семь великих богов<sup>1</sup> обойди, пусть помилуют,  
От всего скверного пусть очистят.

Обращение к змеям на плаще:

Из русских градов приглашенный  
Зелено-пестрый бурхан Очурманы,  
С трудом добытый, дуй, подувай,  
Всякую опасность сдувай!

Обращение к бубну:

Звонкий бубен, остановись  
Обтянутый кожей бубен,  
Исполни мои моления —  
Хозяина и его жильё помилуй!  
Громкий твой звон да помилуй меня!  
Как воздушная волна, расстели,  
Превратись в перекати-поле,  
Охрани наш хошун...  
Пронеси легким ветерком  
Через мрачные места  
И под сумрачным небом,  
Через верхушки высоких гор,  
Как ветер, промчись!  
По верхушке гольца,

<sup>1</sup> Имеется в виду созвездие Большой медведицы.

Словно на ногах, пронёсись.  
С высоких мест поглядим,  
Нет ли чего,  
На перекрестках осмотрим следы.

В начале камлания шаман посылает своего «духа-хранителя» — «кус-кун» на разведку:

В небе, в поднебесьи кружись, мой «кус-кун»,  
На вершине скал переночуй,  
Клювом шелкай!  
В крыльях твоих — «судур» (книга, по которой гадают),  
В твоих подкрыльях — предсказанья будущего...  
Крылья твои шелестят...  
Концы крыльев твоих истрепались... (от частых разведок).

Над новой падалью кружись,  
Не дотрагиваясь к ней...  
К красной падали, хоть тебя отгоняют,  
Лезь, ищи, разведывай!  
У старой падали побывай, ищи!  
На низких гор вершинах,  
В половине высоких гор промелькни!  
Из промышленников-охотников  
Не видал ли кого?  
Сзади меня погляди,  
Спереди — не видал ли чего?

После этого камлание (шаманская мистерия) начинается с созыва духов. Общего для всех шаманов приема созыва и ловли духов нет. Кемчикские шаманы охотятся за духами, бегают и прыгают по юрте; тоджинские, повернувшись спиной к очагу, не шевелятся с места и съезжают духов громкими отрывочными ударами в бубен, сопровождая эти удары зазывным пением. Во время камлания тоджинские шаманы покачиваются в такт, шевеля то одной ногой, то другой; кемчикские — не сдвигают ног с места, стоят, как вкопанные, и, шевеля одним лишь туловищем, откидывают голову назад и вращают зрачками.

Но вот, — цитирую по записи в дневнике, сделанной мною при посещении тоджинских сойотов, — шаман созвал наконец духов. Удары в бубен участились. Он нагнулся вперед...

— По просьбе людей поклониться пришел... Потише! Потише! Что, делаете! — кричит он на нагирающих на него духов...

Этот созыв духов и первое объяснение с ними, повидимому, утомили «хам» (шамана). Он сел, все еще спиной к очагу. Ему подали закуренную трубку. Не оборачиваясь в сторону очага, он выкурил ее.

— Да будет счастлив (подавший ему трубку) и когда сидит и когда лежит, — произнес он речитативом.

После этого он встал, повернулся к очагу. Раздались учащенные удары в бубен. Шаман отправился в путь, **засеменил ногами, встал**. Завыл по-волчьи в знак того, что **волк претрадил**

ему путь. Управился с ним, поехал дальше... Но вот он тревожно забил в бубен, засопел, заревел, переваливаясь с ноги на ногу... На медведя наткнулся... Остановился, стал на цыпочки, напряженно глядя во все стороны, словно ища и не находя чего-то... Вслед за этим колотушкой от бубна он провел по земле, постучал... Опять насторожился, нацелился, ударил громко, отрывисто в бубен, а затем по побрякушкам на спине... Убил.

В то время как шаман боролся с этими невидимыми духами, жена, исполнявшая обязанности его помощника, брызгала молоком на очаг: это облегчает шаману борьбу.

Шаман поехал было дальше, но вскоре опять насторожился, быстро прикорнул и накрыл бубном «аза» (маленького чортика). Чорт барахтался. Бубен, словно подталкиваемый снизу, подпрыгивал, но шаман крепко держал пленника и, покончив с ним несколькими ударами в бубен, выпрямился, встал. Звуки любедной песни разнеслись по юрте...

— Одного аза убил! «Охо! Охо! Охо!» — передразнил он стоны чорта.

— Теперь он только начнет по-настоящему, — пояснила его жена, сидевшая рядом с нами и объяснявшая нам то, что было для нас непонятно.

Шаман начал напевать речитативом:

— Ак-хана (белого русского царя) народ здесь. Русского царя народ заставил меня шаманить. «Куку! Куку! Куку!» — передразнил он кукушку.

По объяснению дочери, это у него обычное начало.

— Большому болтуну не давайте заговорить себя, — дал он наставление чертям. — Ну, я пойду, а сзади меня будут дожидаться товарищи!

Еще раз посулив нам всяких благ: «Русские люди да будут счастливы и богаты», — он забубнил: поехал.

— Курить хочу! — остановился он вскоре.

Сопровождавший меня ойнарский сойот наивно поторопился набить трубку, чтобы подать ее шаману, но его остановили. Шаман говорил о «своем» табаке. Он поставил перед собою бубен, согнулся над ним, приложил руки ко рту и носу и «курил» или «нюхал».

— Хорошо покурил! Вкусно накурился! — одобрил он «свой табак» и поехал дальше.

Путь ему загородили красавицы.

— Откройте, красавицы, откройте, — застонал шаман, за- кашлял.

Жена вновь совершила брызганье. Повидимому, это помогло.

Шаман отправился дальше и вскоре зашел.

— Съездил. Пора и вернуться. Конь у меня не заезженный, не худой, не сухой. Давай поедем хорошенько.

Удары в бубен участились, ноги шамана запрыгали. Доехал до спуска.

— Спереди и сзади хорошенько сдерживай, — наставляет он своего коня-бубен.— Худое отстраняй! Хорошее придвигай!

Дальше следует непонятная фраза: «Железные кандалы у нас есть!»

То ли «коню» он угрожал железными путами, то ли другое имел в виду, — мне так и не удалось узнать.

— Все хорошо! Все кругом хорошо! Все из-за белого подарка! Нечистый принял белый подарок. Есть тут больной ребенок, не знаю, что с ним! Белый подарок через многие руки прошел (повидимому, все не попадал к тому духу, который вызвал болезнь). У кого он теперь — не знаю (и шаманам не всегда удается поставить правильный диагноз). Ребенок еще будет болеть, сильно болеть будет. Дождался бы только зелени, тогда будет благополучен и счастлив.

Шаман, все время семенявший ногами, неожиданно согнул одну ногу.

— Откуда взялась болезнь? От белого, от черного неба? Отдохните небеса! Вот захромал! Когда начал камлание, забинтовал ногу, а теперь развязываю...

После этого ранее отвернувшийся от очага шаман вновь повернулся лицом к очагу и начал молиться «хозяину» огня.

— В красный огонь лягу. Нужно совершить молебен над огнем — «от тагыр». Жизнь мою спасите, — взмолился он. — По красному горящему огню проеду. Завтра ребенок будет здоров (выскочило у него вдруг неожиданно), и знатное имя будет у него... Ну, один день проездил...

После этого шаман бросал колотушку от бубна в сторону каждого из присутствовавших по очереди. Колотушка падала вогнутой частью вверх.

«Терек!» (благополучно) — сообщал шаману каждый, возвращая ему колотушку. Этот способ гадания был распространен по всему Тувинскому краю. Обыкновенно это является последним актом камлания. В данном случае камлание закончилось иначе. По знаку шамана к нему приблизилась его дочь, больная сифилисом (к слову, очень распространенным в то время среди сойотов); он осенил ее бубном и тихо запел. После этого; продолжая петь, он остановился у изголовья очага на другом конце юрты, против входных дверей. Подошли жена и дочь и постепенно снимали с него костюм, заменяя обычным. Уже переодетый (сохранив на себе лишь шаманскую обувь), он продолжал петь. Вновь последовало брызганье молока на очаг. Пение становилось все тише и тише. Усталый, весь в поту, шаман садится перед очагом и курит... Камлание окончено.

На вершинах гор характер камланий несколько иной. Шаманивший по моему заказу шаман был двоеженец. Он взял вторую жену ввиду бесплодия первой (бесплодие приписывается исключительно женщине), но и вторая не имела детей.

В 8½ часов вечера шаман прислал за нами. Когда мы вошли, он сидел в одних штанах и в накинутом на плечи халате, согласно договору дожидаясь с одеванием нашего прихода. Как только мы вошли, он сбросил с себя халат («тон»), а младшая жена, хотя камлание происходило в юрте старшей, подала ему шаманскую шубу. Он и шубу и шапку надел без всяких церемоний, чего я нигде больше не встречал. Помощником его была младшая жена.

Как только он оделся, началась сушка бубна, повидимому сильно отсыревшего от лившего на дворе дождя, так как его долго пришлось сушить до настоящего тона. Но вот просушка кончена. Шаман становится лицом к очагу, берет в руки бубен, ударяет по нем колотушкой несколько раз, затем по его знаку огонь на очаге отодвигается. Жена вынимает из огня две обуглившиеся головешки и кладет на них «артыш» (вереск).

Шаман ударил в бубен, поднял над курившимся вереском одну ногу, затем другую, остановился и опустил бубен к ноге.

Присутствовавшие по очереди подносили ему закуренные трубки. Шаман каждый раз прикасался мундштуком к бубну, словно угощал своего коня, а затем уж брал трубку в рот и возвращал подававшему ему ее. То же он проделывал с поданной ему мною папирсой.

Сопровождавший меня ойнарский сойот Таваджик, подав ему трубку, стал на одно колено, сложил ладонь и попросил:

— Я человек дорожный, а в дороге многое может случиться. Все ли благополучно дома? Доедем ли благополучно домой? Я дорожный человек, — повторил он. — Белого (бязи) вам доставить не могу, но я вам принес то, что у меня есть.

Говоря это, он развернул конец опояски и высыпал на руку подошедшей к нему жены шамана опивки чая.

Шаман внимательно выслушал его, спокойно выкурил трубку и, вновь ударив в бубен, повернулся спиной к очагу, лицом к «кузюнгу» — горсти лент, нанизанных на бронзовую курганную круглую пряжку с прикрепленной к ним сбоку орлиной лапой.

Удары в бубен медленно и равномерно начали следовать один за другим, словно отбивал их маятник. Шаман, покачиваясь всем туловищем, издавал какие-то нечленораздельные звуки. После этого тихо начала разливаться по остроконечной юрте заунывная песня — мольба; грустно вторил ей бубен в такт качанию тела шамана. Он созывал духов не как грозный повелитель, а как презренный раб, взывающий к ним, молящий их снизить. Но стоило только духу исполнить его просьбу, как роль его менялась, шаман делал вид, что с невероятной быстротой ловил его в подставленный, словно чаша, бубен, и громкими ударами приветствовал победу. Она ему давалась не легко. ~~Было~~ шаман, чувствуя приближение духа, напрягает усилия, ~~чтобы~~ его поймать, но дух дунет на него, и он зашатается. По-

мощница-жена настороже. Она во-время поспевает, чтобы не дать ему грохнуться о землю... Повидимому, чем дальше, тем шаману приходится иметь дело с более сильными духами. Реже раздаются победные звуки бубна, чаще шаман шатается, как пьяный, все более и более «арджаном» (молочный продукт) брызжет жена на очаг и вверх, но и это перестает помогать...

Шаман остановился и, бледный, повернулся в сторону очага. Ему подали чашку «арджана». Он приложил ее к ободку бубна, напоил «коня», выпил и чашку бросил.

— Терек! (к благополучию) — таркнули в один голос приствовавшие.

Чашка упала вниз дном. Шаман вновь повернулся к «кузюngu». И вновь попрежнему тихие звуки бубна разлились по юрте. Шаман не пел. Из сдавленного горла вырывались лишь какие-то хрипы, прерываемые длинными протяжными зевками. После одного из таких зевков шаман зашатался.

Таваджик, вскрикнув, бросился было к нему на помощь, но обе жены успели раньше, а Таваджику приказали не соваться. Если мужчина в такой момент прикоснется к шаману, последний обязательно свалится...

Шаман грузно повис на руках поддерживавших его жен и долго не мог притти в себя.

В юрте было тихо. Только издали доносились раскаты удалявшейся прозы, да об верхушку юрты тревожно бились капли уже прекращавшегося дождя.

Присутствовавшие молча, сосредоточенно глядели на беспомощно свалившуюся, покрытую крупными каплями пота голову шамана, на суетящихся около него жен. Все волновались. Волновался и я. Спокойными оставались лишь его жены; старшая сняла с него шапку и туго повязала ему голову лоскутом белого миткала.

Еще минуты три шаман оставался в таком состоянии. Гробовое молчание присутствовавших усиливало впечатление.

Но вот шаман очнулся, всхлипнул и начал вставать и выпрямляться. Еще минута — и частые удары в бубен ясно давали знать о том, что он отправился в дорогу.

— Здравствуйте, девушки, — поздоровался он, не останавливаясь с встречными. — Здравствуйте, отец, мать...

Он вдруг остановился. «Конь» устал: бубен отсырел. Пока жена подсушивала бубен, «хам» продолжал стоять в молитвенной позе, не то плакал, не то молился, часто осеняя себя амулетными лентами, прикрепленными сзади к плащу.

Когда бубен был уже подсушен, жена осторожно сзади подошла к шаману и, поддерживая мужа плечом, сунула ему в руки бубен... Шаман зашатался и чуть не упал... Таваджик инстинктивно вновь бросился в его сторону, но жены шамана его вновь одернули: мужчине в такой момент нельзя близко ходить к шаману.

На этот раз шаман скоро пришел в себя, ударил несколько раз в бубен.

— Набейте трубку! — скомандовала жена.

Поданную незакуренную трубку она опять-таки сзади подала мужу. Он долго не брал, стоя как бы в оцепенении. Все это время жена толкала ему мундштуком трубки в руку. Когда он наконец взял трубку в руки, жена вновь подошла к нему с зажженной лучиной.

Закуренной трубки нельзя давать шаману во время камлания. Если это сделает женщина — замужняя или девушка — это еще беда не большая, но если мужчина, шаман может упасть за-  
мертво.

Выкурив трубку, шаман вновь отправился в путь.

— Оран-оргу амыр, — почтительно поздоровался он с по-  
водителем вселенной.

Раздалось шипение, зевота, чихание, а затем шаман одним прыжком повернулся в сторону очага и присел.

— Амыр! Амыр! — почти в один голос поздоровались с ним присутствовавшие.

Шаман возвратился домой из заоблачных странствований, и если бы с ним сразу не поздоровались, ему пришлось бы всю ночь скитаться по поднебесному свету.

Усталый, утомленный, он молча сидел перед очагом. Ему подали «арджан». Чашку он вылил на огонь, вторую предварительно поднес к бубну — «напоил коня», затем, выпив семь чашек подряд, бросил чашку.

— Терек! — вновь гаркнули присутствовавшие.

Шаман встал и, долго глядя мутными глазами в пространство, начал обычное гадание колотушкой. Но в то время как все другие, ранее виденные мною, шаманы довольствовались тем, что колотушка упадет на «терек», для этого шамана бросание колотушки было как бы подведением итогов камлания. Бросая колотушку, он произносил отрывистые фразы.

— Вас четверо было, — вещал он Таваджику, — теперь только трое. Не устраиваете молений шаманских у себя дома, у «хамняш», в шаманских местах. Духи сердятся. Это надо исправить. Проедете ладно, как красные цветочки...

Таваджик на следующий день подтвердил все сказанное шаманом.

Шаман продолжал гадание, прерывая его от времени до времени для того, чтобы повернуться в сторону «кузюнту» и, так сказать, вдохновиться.

Неожиданно он потребовал чего-то. Жена выбежала и принесла «арага» (молочную водку).

Он выпил две чашки и затем вновь бросил чашку. Она откатилась далеко, но упала на «терек».

— Я — плохой шаманщик, — обратился он ко мне, — лишь ~~момент~~ могу тебе сказать. Ты все мелькал передо мной, как

цветочки на лугу. То здесь, то там промелькнешь. Как тут рассмотришь? Но одно скажу: проедешь благополучно и добьешься успеха. Но все же я — плохой шаманчик. Есть много лучше меня. Есть хорошие шаманы и на Салдаме (место, откуда я приехал). Спроси еще у них. Что они тебе скажут.

После меня он гадал всем остальным.

Больные, в особенности женщины, подходили к нему один за другим. Он наклонял над ними бубен и ударял по нем с огромной силой. А они уходили с глубокой верой в исцеление.

Обойдя всех, он вновь стал перед «кузюngu».

Жены сняли с него шаманское облачение и накинули на него халат. Он поддавался этой процедуре пассивно, нервно вздрагивая, зевая и что-то мурлыча. Его усадили на полу. Он долго сосредоточенно смотрел на огонь, то-и-дело вытирая рукавом выступавшие на лбу капли пота.

Кто-то подал ему закуренную трубку. Пошло обычное табачение. Заоблачный мир, мир духов и видений, исчез. На время забытая жестокая действительность вновь заявила свои права. Грозный шаман вновь стал маленьким человечком, почтительно принимающим трубку от лиц, выше его стоявших в общественной иерархии.

И к нему уже отношение было иное. Тот самый Таваджик, который во время камлания так почтительно обращался к шаману, в эту же ночь пробрался в юрту младшей жены грозного заклинателя духов и совсем непочтительно наставил этому заклинателю рога...

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО

Верования с особенной силой проявляются, когда случай играет решающую роль, и прежде всего во время охоты.

Охота, когда-то основной источник существования сойотов, ко времени моей поездки осталась таковым только на вершинах снежных гор у оленеводов; большую роль она продолжала играть во время моей экспедиции у тоджинских и кемчикских сойотов, меньшую — у ойнарских. Несмотря на это, все предрассудки относительно охоты были одинаково сильны повсюду, в особенности когда дело касалось животных, охота на которых связана с опасностью. В «Известиях Восточно-Сибирского отдела Географического общества» за 1903 год № 1 мною дан «Предварительный отчет по экспедиции в Урянхайскую землю», который я воспроизвожу здесь с некоторыми дополнениями и изменениями.

З а я ц («ходан» или «куйгун», местами заимствованное у монголов — «толай»). Зайцу не дают особого названия во время охоты, так как условные названия даются только тем животным, к которым относятся со страхом или почтением. Обыкновенно охота на зайца начинается с выпадением первого снега. Охота производится самострелами («ая»). Самострел этот состоит из лука, насторожки, нитки, которую протягивают по тропе зверя, и стрел. Стрелы обыкновенно бывают с железным наконечником, но при охоте на зайца железного наконечника не употребляют, так как он запутывается в шерсти. Вместо него употребляется либо деревянный, либо маралий. Сезон охоты кончается с исчезновением снега. В среднем за сезон охотник убивает 50—60 штук, что не трудно установить, так как охотники нанизывают на веревку нижние челюсти убитых ими зайцев, и такое ожерелье висит в юрте. Зайца промышляют, главным образом, для пищи: шкурка имеет очень небольшую цену. Ее употребляют как подстилку и одеяльце для маленьких ребят, а затем местами

как подклад вместо ваты. Русским выделанную уже шкурку и шитую вместе с другими в виде одеяла продают по 5 коп.

Белка («тин» или «сырбык»; особого названия во время охоты не имеет). Охота на белку начинается около 15 октября, когда белка «вычищается»<sup>1</sup>, то есть делается белой, и продолжается до первых чисел декабря, то есть до тех пор, пока снег не «углубеет». Ранее белок стреляли из луков («ая»), теперь из ружей-малопулук. Охота производится в одиночку и артелью. При охоте артелью каждый из участников получает равный пай. Один из охотников, обыкновенно тот, у кого ружье плохое, а если такого нет, то очередной, остается в качестве караульщика стана. Стан этот устраивается следующим образом. Под самым густым кедром между двумя лесинами кладут перекладину, к которой с трех сторон прикладывают в наклонном положении доски бревна, оставляя четвертую — обыкновенно южную — сторону открытой. Для защиты от холода на земле в таком шатре («чадыр») кладутся мягкие еловые или пихтовые ветки. На расстоянии пяти-шести шагов от входа в шатер устраивается «сан-салыр» — возвышение из снега с каменной плитой сверху для курения «артыш» (вереска). Перед станом впереди «сан-салыра» вбиваются два шеста, и между ними протягивается «джелама»<sup>2</sup>. Такие же станы делаются и при охоте на других животных (соболя, марала), если промысел обещает быть удачным и если предполагают в данном месте задержаться не менее месяца. На охоте на белку, как, впрочем, и вообще, остерегаются бросать в огонь стельку («идик-од»), лоскутки ношеного платья, случайно поджечь шерсть на шубе... Все это считается дурным предзнаменованием. Количество убиваемой белки находится в зависимости от «урожая» на нее, который, в свою очередь, зависит от погоды летом и осенью. Чем больше гроз, туманов и дождей, тем более соболя и белки. Соболю и белке — это паразиты на теле Улу. Когда Улу рассердится и загремит, соболю и белке падают на землю. В хороший «урожай» хороший стрелок убивает в день от 20 до 30 белок. Мясо белки употребляется в пищу и признается не менее вкусным, чем мясо рябчика. Шкурка белки служит в качестве монеты: русским на товар она отдается за 15, а ранее отдавалась за 10 коп. Белка принимается в лодать («албан») и в сборы на содержание чиновников («ундрюк»). Бедняки беличью шкурку употребляют на обшлага и на шапки.

Второй сезон охоты на белку начинается, когда можно обратиться в тайгу без лыж, то есть, когда в лесу начинаются проталины, и продолжается до второй половины апреля.

Соболь («кишь»; на охоте «алды» и «албан»). Охота на соболя обыкновенно производится артелью. Первый сезон начи-

<sup>1</sup> Кавычками отмечены выражения русских Усинского края.

<sup>2</sup> Навешенные на веревке лоскутки материи, играющие роль «сигнала-хранителя» — «мулета».

нается с выпадением снега и кончается в конце ноября; второй — с января («кыстын адик ай» — последний зимний месяц) приблизительно до половины марта, когда снег «зачиримливаает» (оттаивает и вновь замерзает). В первый сезон сойоты отправляются на охоту с собаками и ружьями. Собака, идя по снегу, загоняет соболя либо на дерево, либо в дупло, либо в ущелье скалы. В первом случае охотник стреляет соболя из малопульного ружья, во втором — прорубает в дуплистом дереве дыру и разжигает в ней огонь. Дерево сырое, смолистое, и дым медленно густыми клубами поднимается кверху. Соболю долго держится, иной раз и шерсть у него подгорит, пока не выпрыгнет. Тогда или собака его хватает, или охотник моментально убивает. Когда соболю спрячется в расщелине скалы, его, несмотря на такое же выкуривание, почти невозможно добыть. Выручить может охотника только вновь выпавший снег, по которому можно вновь проследить след. Охота в первый сезон считается в смысле добычи богаче, но охотники в этот сезон часто убивают «недошлых» соболей, то есть соболей с короткой шерстью, «калтанов» или «горловых», по выражению русских скупщиков пушнины, «ой» или «тас», как называют сойоты. Настоящей шерстью считается такая, которую на шее можно захватить между двумя пальцами и она не выскользает. Таким образом и производится проверка при приемке соболя в «албан».

Добытый соболю делится между членами артели (поровну, по количеству и качеству, независимо от того, кто сколько добыл). Бывает, что сойоты охотятся на соболя по подряду. Хозяин дает ружье, собаку, коня и припасы и получает половину всех добытых артелью соболей. Та же пропорция сохраняется, если подряжен один охотник. Если подрядчик дает охотнику только коня, то за сезон охоты получает одного албанского соболя, равного по цене сорока белкам.

Во второй сезон охоты ставят самострелы, такие же, как на зайца, но со стрелами с железными наконечниками, иной раз в виде развилки с двумя наконечниками. Мясо соболя, как не вкусное, в пищу не употребляется. Шкурка продается русским, причем цена колеблется от 10 белок («борловый») до 700.

Марал («сын»; самка — «мыйтак»). Охота начинается со второй половины мая, когда у марала отрастают рога. Охота в одиночку производится только опытными охотниками, в большинстве же случаев артелью. Обыкновенно рано утром на облюбованных маралами местах, вечерами на солончаках («сорух» или «хаир») охотники подкарауливают их в скрадах («онгу»), то есть за наваленными лесинами, и бьют их из ружей. Летом охотятся, главным образом, из-за кровяных пантов, которые продаются китайцам и русским (в среднем по 3 руб. 50 коп. за фунт сырых). Мясо марала идет в пищу. Зимой только из-за мяса охотятся на марала. Шкура ценится не более 8 белок и у ойзаков употребляется на шаманские бубны. Хороших промыслов.

ников нанимают богатые сойоты. Охотник получает от нанимателя ружье, коня, все нужное для охоты и пищу, взамен чего отдает половину добытых рогов. Сойоты-бедняки, не живущие в одном улусе с богачом, но пользующиеся от него коровой, конем, ружьем и т. п., расплачиваются с богачом продуктами охоты, отдавая половину добычи. Если такой бедняк («аннатхан анджки») пользуется большим, например, двумя коровами, двумя лошадьми и т. п., то по обычаю он обязан всю добычу отдать богачу, который выделяет ему из нее часть по собственному усмотрению<sup>1</sup>.

Л и с и ц а («тильги»). Сезон охоты от выпадения до исчезновения снега. Приемы охоты следующие:

1) Самострелы («ая»), которые ставятся на заячьих тропах, причем стрелы на лисиц толще и длиннее, чем употребляемые при охоте на белок и соболей. В последнее время лисиц, так же как и волков, травят, подбрасывая стрихнин.

2) Случайно встреченных лисиц бьют из ружья в любое время года.

3) «Тильгисурэр» (гоньба за лисицей). По первому сезону, приблизительно в ноябре, артель охотников человек пять, шесть, до десяти, одни с ружьями, другие без, с специальными собаками выезжают рано утром, держа собак на поводках, норовя поспеть к тому времени, когда «лисица ходит за поедью». Увидев лисицу, охотники спускают собак и мчатся за ней во весь мах. Собаки со всех сторон пересекают лисице дорогу и в большинстве случаев душат ее; если почему-либо им это не удастся, охотник соскакивает с лошади и бьет лисицу из ружья. Употребляемые для этой охоты собаки — малошерстные, желтой масти, с длинными, висячими ушами, с длинным хвостом. Эта порода собак известна у сойотов под названием «тайга» и, по рассказам, первоначально разводилась по р. Ирбек.

Чаще всего в Урянхайской земле встречается лисица крестовка («сарых-тильги»), изредка — чернобурая («ильбэнгэ-тильги»), черная («кара-тильги»), а были случаи, по рассказам, когда охотнику попадались белые («ак-тильги»). Убитых облавой лисиц делят между охотниками поровну по количеству и качеству.

Мяса лисицы в пищу не употребляют, шкура идет в продажу: крестовка за 20 белок, огневка («кызыл-тильги») — 40; чернобурая — до 60 белок; на черную и, конечно, на белую определенной цены нет.

---

<sup>1</sup> Русские ловят маралов живыми, гоняясь за ними на лыжах до утомления марала. Утомленный, он вязнет в снегу; тогда закидывают на рога аркан и привязывают к воткнутому в снег щиту. Каждые несколько часов перед ним раскидывают мох. Марал привыкает к этому и после нескольких дней выбегает навстречу приносящему мох человеку. Тогда его на санях перевозят в деревню и держат в определенном месте, приучая к тому, чтобы он в определенное время приходил в определенное место кормиться. Тогда он освоен.

Волк («бюр», во время охоты «узункудруктых» — длиннохвостый, «улдрут» — воющий, «куккарак» — синеглазый). Охота на волка производится реже в одиночку, чаще облавой («аглан»). Охотящийся в одиночку ставит самострелы около «упади» (падали; сойотское — «сек»), на волчьих тропах, вблизи волчьих нор. Употребляемые для этого самострелы — такие же, как на лисицу. Охота самострелами происходит со времени появления и до исчезновения снега.

Охота облавой в большинстве случаев бывает по предложению зажиточного сойота, у которого появившиеся в окрестности волки режут скот. Участвуют в облаве ближайшие соседи. Кто посостоятельнее, выезжают на собственной лошади; бедным доставляет лошадей инициатор облавы. Выезжают рано утром одни с ружьями, другие с лассо — «укрючинами» (сойотское — «урук»), длиною в 2 сажени, с шестью из тальника с петлей из витого ремня на конце. Укрючинами загоняют волков и пользуются в случае нужды для самозащиты. По приезде на место, где, по собранным сведениям, водятся волки, хозяин или один из более опытных охотников назначает каждому место, где ему следует стоять. Охотники расставляются так, чтобы одна сторона, не гористая, оставалась свободной для того, чтобы можно было верхом гнаться за убегающими волками. Подготовившись таким образом, охотники, соблюдая возможную тишину, постепенно приближаются к стае волков, выжидая момента, когда удобно их скрасть, и тогда начинается стрельба по ним. Если стая волков заметила охотников и всполошилась, то все усилия охотников направлены на то, чтобы загородить ей дорогу к горам и выпнать на чистое место. Тогда и начинается погоня, причем, надо заметить, сойоты не умеют стрелять, сидя на лошади, почему им приходится то-и-дело соскакивать для стрельбы. Такая погоня иной раз продолжается целый день, пока лошади не выбьются совсем из сил. Мясо волка не употребляется в пищу; печень употребляется как лекарство при сифилисе («паш»), язык как лекарство от прыщей на языке, шкура продается за 20 белок, по такой же расценке она идет в «албан». Богатые сойоты из волчьей шкуры шьют «хурэмэ», нечто вроде жилета, который носят поверх шубы.

Медведь — «хайэрхан» (страшный), по другому произношению «хоярхан» (хояр — скала, хан — царь: царь скал), «ирэй» (дедушка). Во время охоты его называют «кара джюме» (черная вещь), «адыг», а также заимствованным у монголов названием «маджалай». Отношение сойотов к медведю совершенно особенное. Охота на медведя почитается грехом, поступком против совести, несмотря на то, что она производится повсеместно. Убивший медведя кланяется ему в ноги, говоря: «Мин бодым эмэс сэны бооладым» (я не сам убил тебя), «мены агтнаткан-Имагурда» (меня заставил такой-то огурда). Наступать на голову

медведя или перешагнуть через нее — нельзя. Хвастаться убийством медведя тоже нельзя. «Хайэраханнын чир — хулак» (у медведя земля — уши), и он может об этом узнать. Уважение и почтение к медведю настолько велико, что при допросах вместо присяги или клятвы дают допрашиваемому нюхать ноздри медведя. Показавшему ложно угрожает медвежья спячка. Ноздрям медведя придается такое важное значение, что в прежние времена голову медведя с ноздрями нельзя было купить. Охотник их вырезывал и хранил у себя в юрте. Голову и нижнюю челюсть убитого медведя вешают на дерево или на шест на проезжей дороге. Каждый проходящий или проезжающий мимо кланяется ей со словами: «Хйэрхан урше!» (медведь, помилуй!), чем предотвращается опасность от других медведей.

Определенного времени для охоты на медведя нет; его бьют, когда попадется, из ружей. Кожа убитого весной или летом употребляется на ремни, убитого осенью или зимой продается: первая 15—20 белок, вторая от 40 до 200 белок. Мясо, зимою очень жирное, употребляется в пищу. К слову заметим, что жирных от сала медведя рук нельзя вытирать ни обо что, кроме подола шубы. Сало медведя употребляется как лекарство для скота. Им натирают сбитые спины лошадей и езжалых быков. Желчь медведя употребляется как лекарство от запала у лошадей; люди употребляют ее от простуды и, разведенную водой, — от сифилиса, при исчезновении сыпи, дабы она не задержалась внутри. Когтями медведя «прочерчивают» опухоль у домашней скотины, приговаривая: «Джеты каттан джер алтынга кырзын!» (Провались семь раз сквозь землю; дословно: семь раз под землю войди.)

Говоря об охоте, нельзя обойти молчанием вопроса об обычае «уджа», о котором довольно много сведений давали исследователи и путешественники, но происхождения которого даже не пытались выяснить, несмотря на то, что это самый важный вопрос. Обычай «уджа» отвечает русскому: «чур пополам». Но в то время как это у сибиряков употреблялось как предохранительное средство: «чур найдено — не делено», после чего «зачуривший» имеет право владеть нераздельно найденным, у сойотов во время моей экспедиции этот уже начинавший исчезать обычай «уджа» применялся ко всему тому, где главную роль играл не труд, а случай, удача. Причем у тоджинцев-оленоводо-в он еще в 1902 году не только был нерушим, но и применялся совершенно своеобразно в работе. «Уджа», обращенное к охотнику, скрадывавшему или подкарауливавшему зверя, значило: «поделись со мной правом на участие в охоте». Отказа в этом быть не могло. Но, что в высшей степени характерно, охотник, к которому обратились с предложением «уджа», обязан и сам продолжать охоту, хотя бы ее при участии другого считал для себя невыгодной. Нарушение этой обязанности наказуется.

Только под конец экспедиции, когда я добрался до тоджин-

цев-оленьеводов, на вершинах гор, покрытых вечным снегом, мне удалось выяснить происхождение этого обычая. Там сохранились остатки первобытной коммуны. Ввиду того, что неудача на охоте могла обречь охотника и его семью на голодную смерть, а прежде лук и стрелы, после же дрянные кремневые ружья не давали гарантии удачи, в коммуне было твердо установлено: 1) все добытое на охоте кем бы то ни было передается в коммуну и ею же распределяется между членами коммуны с учетом числа душ в каждой семье; 2) никто не имеет права уклоняться от участия в охоте, так как это участие обеспечивает успех; 3) во время охоты удачно охотившийся обязан встреченному в тайге охотнику выделить из своей добычи столько, сколько необходимо для того, чтобы он мог продолжать промысел. Вот чем объясняется обычай «уджа», ослабевающий по мере того как совершенствуются орудия производства и этим в большей степени обеспечивается удача. Это — пережиток старины.

В связи с этим необходимо остановиться еще на одном моменте. И Потанин и Адрианов сообщают, как о курьезном явлении, по мнению Адрианова, свидетельствующем о «лживости» сойотов, следующее. Каждый из них присутствовал при том, как на требование русского купца сойоту уплатить пушнину за взятый в долг товар сойот отвечает: «Лжешь. Я не вор! Я тебе ничего не должен, ничего не обещал!» И в это самое время этот же сойот тайком, незаметно для других, передает купцу требуемому им пушнину.

При таком же объяснении русского купца с сойотом присутствовал и я, и должен сознаться, хотя я не обвинял легкомысленно сойотов в лживости, но был всем этим поражен. И только под конец экспедиции для меня выяснилось, что этот «ларчик» открывается очень просто. Это опять-таки пережиток того времени, когда вся добыча охотника составляла не его собственность, а собственность всей коммуны. Отдавая продукт своей охоты на сторону, он воровал его у коммуны и проделывал это тайком. Вот почему он все отрицает, подчеркивая, что он не вор, и продает украденное у коммуны тайком.

Места для рыбной ловли не подлежат никаким ограничениям. В апреле и в мае лучат рыбу. Артель рыбаков составляет обыкновенно из трех человек. Один заготавливает пучки для лучения, другой ходит по берегу с пучком зажженных веток на палке саженной длины; наконец, третий или колет рыбу тоже с берега острогой, насаженной на палку, или же, что сохранилось, насколько мне известно, только по Енисею, стреляет рыбу из лука.

Добыча делится не поровну. Львиная доля ее достается владельцу остроги или лука. Ловля производится в малую воду, пока она прозрачна. Летом ловят рыбу только случайно, если заметят, например, руно хайрюзов или какую-нибудь большую

рыбу. Заметивший собирает артель человек в пять-шесть. Часть бредет по воде, выгоняя рыбу на мелкое место, а двое ловят крючками с обоих берегов. Крючки для ловли, прикрепленные к длинной палке, опускаются на дно. Когда рыба проходит поверх крючка, рыболов дергает крючок к себе и зацепляет рыбу. Определенных правил дележа добычи нет: в ловле принимают участие и дети и получают пай по усмотрению старших. Если замечена рыба в протоке, устье которой пересохло, ее предпочитают ловить сетями, занятыми у русских. Изредка летом ставят на рыбу петли («тузак»).

Осенью рыболовный сезон принимает характер промысла и продолжается от сентября до ноября. Ловят рыбу лучением. Зимой рыбная ловля производится по озерам крючками в прорубях, продавливаемых возле устья речек и ключиков. По Енисею, сверх того, в октябре и в начале ноября, во время осеннего ледохода, добывают рыбу следующим образом. Заводи уже в это время замерзли, и рыба, напуганная шумом ледохода, скрывается в них подо льдом. Тогда во всю ширину заводи артель рыболовов человек в пятнадцать—двадцать в мягкой обуви подвигается вверх, постукивая палками. Рыба, убегая от шума, скопляется в верху заводи. Тут крупная, тут и более мелкая. Рыболовы, наблюдая за рыбой, видной сквозь прозрачный лед, руны мелкой рыбы отгоняют обратно, а более крупную загоняют в ямку, на дне заводи, после чего прорубают отверстие в  $\frac{1}{2}$  аршина в диаметре и крючками вытаскивают рыбу.

По Енисею же заметны и следы русского влияния: выделывают лодки, лучат по образцу русских, ловят неводами, ставят сети, запирают реки, раскладывают огонь на косах. Добыча рыбы в среднем: по Кемчику весной около 250 пудов, летом 40—50 пудов, осенью около 500, зимой не менее 1000. По Енисею добыча не менее, но ввиду того, что в этом районе сойоты в большинстве случаев сами потребляют рыбу, чего нет на Кемчике, и русским продают очень мало, цифровых данных добыть невозможно.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

### СКОТОВОДСТВО<sup>1</sup>

В среднем хозяйстве по Улу-хэму обыкновенно бывает: верховых лошадей, жеребцов 1—2, кобыл 20—40, жеребят моложе трех лет около 25; рогатого скота: быков 3—4, порозов 1; дойных коров 10, яловых 2—3; телят моложе трех лет около 25; молодых быков 4—5; мелкого скота: семенных баранов 2—3; баранов до 20; овец до 200; ягнят до 70; козлов некладенных 2—3, кладенных до 20; коз до 100; козлят до 50. Сверх того, верблюдов 2—3. Жеребята до года бегают в поле или привязаны во дворе; на них не ездят, и они ни для чего не употребляются. По истечении года на жеребцах начинают ездить верхом мальчишки; с полутора лет на них садятся уже и взрослые. Пол жеребенка не влияет на время оседлания; двухлетние жеребята употребляются для поездок; трехлетних маток вновь отпускают на волю, ни на какие работы не употребляют и держат лишь для увеличения табунов. С этого времени они вновь дичают.

Для приучения жеребенка к седлу никаких особых мер не предпринимают и лишь самым непокорным закидывают на голову повод с петлей, которой сжимают ноздри. Причиняемая этим боль заставляет жеребенка повиноваться седоку.

Холощение производится по Кемчику над годовальными, по Улу-хэму—над двухлетними. Такое раннее холощение объясняется желанием, чтобы лошадь была меньше и стройнее. Процесс холощения производится в марте. В холощении не особенно опытни, из 100 случаев — 10 неудачных. При операции мошонка сжимается тисками («сапелга»), ядра отрезаются ножом, а затем рана прожигается каленым железом («илир»). Инструменты, употребляемые при холощении, до заживания ран не

---

<sup>1</sup> Данные о рыболовстве, скотоводстве, земледелии и ремеслах перепечатываются мною из отчета, представленного в Вост.-Сиб. отд. Географ. об-ва в 1903 году.

могут быть ни на что другое употребляемы. Отрезанные ядра съедаются.

В богатых хозяйствах, в которых нет необходимости приучать жеребят к седлу с самого раннего возраста, прибегают для этой цели к следующим приемам. Намеченную лошадь ловят ременным арканом («сыдым») по Кемчику и «уруком» (лассо) по Енисею. Затем надевают на нее оброть, треножат и отпускают таким образом спутанной до следующего дня. Лошадь страшно бьется вначале, но затем постепенно успокаивается. Тогда ее седлают, либо употребляя такую же петлю, как при приучении жеребят, либо крепко держа за уши. При седлании туго натягивают заднюю подпругу, а переднюю и среднюю слабо. Это делается во избежание того, чтобы подпруги не лопнули, когда лошадь надуется. После этого освобождают от пут переднюю ногу, держащий лошадь за уши заслоняет ей левый глаз, и ездок садится, придерживаясь левой рукой за узду. Когда все это сделано, у лошади быстро распутываются обе ноги, повод бросается ездоку. Лошадь бросается, но ездок справляется с ней, крепко держась правой рукой за торока. Ездят обыкновенно только верхом, но у ойнарских сойотов в последнее время стали уже появляться таратайки русского образца, употребляемые во время перекочевков, возки хлеба, соли и пр. Упряжь — у одних заимствованная у русских, у большинства же оглобли привязываются к вьючному седлу, причем на грудь лошади надевают широкий нагрудник. Запряженную таким образом лошадь ведет за повод едущий верхом. Для запряжки в таратайки употребляются самые смиренные лошади, но, несмотря на это, во избежание несчастия, их треножат и, только когда лошадь перестает пугаться шума таратайки, освобождают от пут. Сани тащат на постромках, закинутых на переднюю луку седла едущего впереди верхом сойота. У очень немногих — русские сани: тогда употребляется и русская упряжь. В бедных хозяйствах для верховой езды употребляют и кобыл, но в таратайки их не запрягают. Доят кобыл до пятнадцатилетнего возраста, после чего, хотя бы кобыла ожеребилась, ее не доят.

Жеребятся кобылы обыкновенно уже на третьем году. Если жеребенок сдохнет, кобылу приучают к другому жеребенку, для чего ее привязывают, ставят перед ней приучаемого жеребенка и протяжно кричат. Это продолжается иной раз два-три дня.

Мясо лошади идет в пищу. Жеребятина считается лакомством. Шкуры продаются русским и китайцам по 1 руб. 20 коп.—1 руб. 50 коп. Конский хвост продается по преимуществу китайцам целиком, не отрезанный от репицы, по  $\frac{1}{2}$  кирпича чая, а русским — по 40 коп. Грива не продается и идет на плетение арканов.

Из лошадиной кожи выделывают мягкую осеннюю обувь — «чимджак-идик». Шкура жеребят идет на обшлага к шубам.

Все лошади круглый год на подножном корму. Сено не заготавливается даже для самых молодых жеребят. Из болезней изве-

стны: сибирская язва («мал ижик» — скотская опухоль), «веснянка» — весенняя лихорадка («сырынга»), ящур («мал аксак» — скотская хромота), мыт («укнек»), сап («пахай арык» — худая болезнь), «чебана» (селезенка; у лошади при этой болезни вздут живот, она хватается за живот зубами, катается по земле), усыхание лопатки, «сжатие санок», «запал», «ноготь».

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

### ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

О районе земледелия мы уже говорили в начале очерка. Сеют на солончаковой и на каменистой почве. Право на разработку данного участка земли признается за тем, кто либо сам, либо чьи предки разрабатывали этот участок. За ним же признается право на распашку прилегающих к нему участков. Таким образом, при пользовании пахотным участком признается *ius primaе occupantis*. Споры по этому вопросу решаются в первой инстанции чиновником, специально ведающим всеми делами по земледелию, — «тара тарга» (хлебный тарга), а затем по инстанциям: «кунду», «джянгой» и т. д. Сеют поздно: в мае и даже в начале июня. Поздний посев вызывается тем, что речки, из которых проводят оросительные каналы, вскрываются поздно, а союты перед пахотой орошают землю до такой степени, что она превращается в топкую грязь, и пашут, дав земле лишь слежка подсохнуть сверху. Пашут всего один раз весной. Глубина вспашки —  $\frac{1}{4}$  аршина. Боронят связанными вместе несколькими ветками тальника или же вместо бороньбы укатывают пашни чуркой, к которой с двух концов прикреплены веревки. Орошение производится артелью, всеми живущими поблизости от проводимой каналы, могущими при желании ею пользоваться. Работами по орошению заведует «тара тарга». Главные оросительные каналы («буга») проводятся с речек, протекающих по высоким местам, причем если каналу приходится провести через крутые лога, то воду проводят желобами. Боковые каналы — арыки — проводятся каждым хозяином на свою пашню. Для проведения «буга» употребляют лопаты («хуриек») или кайла («кус-кун хай» — вороний клюв), приобретенные у русских. Арыки проводятся сохой («андазынь»), а затем расчищаются орудием, называемым «хэтнэ», состоящим из палки с поперечной дощечкой.

Второй раз земля орошается обязательно после появления всходов, а затем уже «поят хлеб» — «тара сугарар», по образ-

ному выражению сойотов, по мере надобности. Для пользования водой из канав устанавливается чиновником («тара тарга») очередь. Ему подсудны и тяжбы по поводу нарушения очереди. Ночное время в очередь не включается, и им часто пользуются более заботливые хозяева. Перед цветением хлеба выпалываются сорные травы и отбрасываются на межу. Пашни огораживаются либо изгородью, заимствованной у русских, либо собственной, очень неуклюжей. Дело в том, что сойоты рубку сырого леса считают грехом, поэтому для изгородей пользуются кривыми сухими корягами, которые упирают в перекладину между двумя шестью. От птиц ставят пугала («хойгу»), мало чем отличающиеся от употребляемых русскими. Самой вредной для хлеба птицей считают журавля («туры»), которого стараются убить. От кобылки («шерги») спасают хлеб, разводя на меже костры и бросая в них рога кошкаргов (каменных баранов), считая, что от стелющегося по пашне дыма кобылка погибает. При узости пашни (20 с. × 5 с.) дым стелется по всему ее протяжению.

Жнитво начинается в половине августа. В последнее время жнут по преимуществу русскими серпами («хадыр»). Ранее жали либо обыкновенными ножами, либо ножами, насаженными перпендикулярно на палку, либо, наконец, серпами, по форме напоминающими русские, но более короткими и менее изогнутыми. Местами хлеба не жнут, а выдергивают с корнем. Сжатый хлеб связывается таловыми прутьями в снопы («моджя»), которые складываются рядами метров пятнадцать в длину, с колосьями, обращенными в южную сторону. Сверху одного такого ряда кладется другой и т. д.

Молотьба начинается обыкновенно в конце августа или в начале сентября. Для молотьбы хлеб свозится на саях к току («шан»), который устраивается тут же на пашне на более крепком грунте, совершенно очищенном от растительности. Размеры тока не превышают 15 метров в диаметре. Молотьба происходит следующим образом. По середине тока ставится столб. К нему на одной веревке в ряд привязываются четыре-пять быков или лошадей, которых гоняют по разложенным вокруг столба развязанным снопам. Скот вытаптывает зерно; отодвинутые этим процессом колосья подталкиваются ему вновь под ноги вилами («савыр» или «аир»). Обмолоченное зерно сгребают лопатами в кучу, а солому («савын») сваливают в сторону. Ранее она ни на что не употреблялась, ныне ее уже некоторые сохраняют на подстилку для скота. Обмолоченный хлеб провеивается лопатами, причем некоторые в подбрасывании зерна доходят до виртуозности: все зерна одной грудой поднимаются вверх и, только дойдя до определенной высоты, дождем падают вниз.

Провеянный хлеб сыпается в ямы («мурхай») глубиной в аршин, почти такой же ширины, но с узким отверстием; ямы эти, где есть поблизости лес, копаются возле него, тут же ставится

юрта караульщика. Из этих ям хлеб берется по мере нужды, причем, раз уже приходится начинать яму, ее стараются опорожнить. Хлеб в таких ямах закладывается кошечкой, дощечкой и т. п., а затем засыпается землей. Полные неурожай, о которых сойоты говорят «чуда джок» (ничего нет), бывают раз в пять-шесть лет. В средний урожай с полосы («шан») собирают 7—10 пудов, высевая на ней 30 фунтов. В хороший урожай с такой полосы собирают 12—14 пудов.

Неурожай обуславливаются, главным образом, ранними заморозками, реже засухой, если оросительные каналы проведены из небольшой реки, просыхающей за лето; еще реже хлеб поедается кобылкой.

Полоска вспахивается и засеивается два года подряд. Во второй год она носит название «ангыс». После двух лет пашня оставляется под паром лет на пять-шесть, пока она не покроется той же растительностью, какой была покрыта до первой вспашки. Тогда она признается вполне годной для посева.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

### РЕМЕСЛА

Ремесла являются лишь подспорным промыслом в хозяйстве сойота. Самым почетным считается кузнечное мастерство. Когда кузнец за работой, а в юрту входит чиновник, мастер не должен отрываться от работы для его приветствия: «работа кузнеца старше». По Кемчику кузнечные изделия поражают своей красотой. Мне приходилось видеть удила с выкованными конскими головами вместо крюков; таганы с бараньими головами и другим орнаментом; по Улу-хэму работа кузнецов гораздо грубее. Железо кузнецы приобретают преимущественно у русских, но сообщение Яковлева Е. К. (стр. 63), якобы кузнецы скупают старое русское и китайское железо,—неверно. Купцам было бы невыгодно привозить старое железо. Инструмент кузнеца состоит из: 1) мехов («хурюк») или в виде штанов, по форме, тождественной с якутскими, или в виде ящика («харджак хурюк») с поршнями, так приспособленными, что мех действует и при вытягивании и при вталкивании его; 2) шпидля, для прикрепления меха к земле («сор темир»); 3) молота («баска» или «алага»), обыкновенно двухфунтового, приобретаемого у русских; 4) полупудовой наковальни («тюжю»), тоже покупаемой у русских; 5) маленькой наковальни; 6) тисков («кызытки»); 7) тисков на винту («эрылгелых кыскаш»); 8) деревянных тисков («сапсылга»); 9) нескольких разной величины клещей («кыскаш»); 10) нескольких молотков («алага»), один из которых с нарезками («темир шокарлап алага») для насечек на железе; 11) долота («шучча»); 12) железка для выдавливания углублений в железе («кулугу»); 13) для рубки железа («кэски»); 14) для пробивания отверстий в стременах («эзенгэ утэш»); 15) для пробивания круглых отверстий («темир утэш»); 16) для отделки заклепок («ютух темир»); 17) гвоздильни («иттук темир»); 18) подпилка («иге»); 19) полукруглого подпилка («калбак иге»); 20) трехгранного подпилка;

21) ложки для плавления свинца и олова («калгак»); 22) ножа («бичек»).

Специальных серебряных дел мастеров у сойотов нет и это мастерство входит в круг деятельности кузнецов.

То же приходится сказать и о слесарной работе, с той лишь оговоркой, что в то время как изделия из серебра поражают своей грубостью, о замочках («шочча») этого сказать нельзя.

От рудного дела, раньше процветавшего в долине р. Кемчика, теперь остались разве жалкие остатки. Литейное искусство сохранилось тоже почти исключительно по Кемчику. Медные и бронзовые шахматы, отлитые на Кемчике, могут конкурировать с изделиями европейских мастеров, несмотря на то, что техника и выделка форм поглощает массу совершенно непроизводительного труда. Вырезают фигурку из дерева, облепляют ее тестом, составленным из глины с незначительной примесью китайской бумаги, и все это кладут в огонь и накаливают докрасна, отчего находящаяся внутри фигурка сгорает до тла. В образовавшееся отверстие льется металл, а когда он остынет, форма разбивается. Таким образом, форма служит только один раз.

Форма для отливки украшений на женский головной убор («баштанга») вырезывается на камне и сохраняется мастерами (так же льются и ружейные пули). Лить этих украшений не может болевший и обезображенный оспой. При литье их, кроме мастера и заказчика, не может присутствовать никто, в противном случае украшение выйдет неудачно.

Столярное ремесло гораздо менее развито и сосредоточивается преимущественно в руках лам. Инструменты грубые. Состав их следующий: 1) «хире» — пила русского образца и маленькая пилка такой же формы; 2) «кырджек» — теселка; 3) «урюм» — сверло двух образцов, приводимое в движение смывком и такое же, как у русских золотых дел мастеров; 4) «харыл» — это название дается стругу, шпунтгобелю, отборнику и рубанку; 5) короткий нож с длинным черенком; 6) «тапсы джаны» — брусок, добываемый на берегу р. Топсы; наконец, 7) «унгу» — скребок для выделки чайных чашек. Краски и клей — китайские. Из местных минеральных красок употребляется только красная глина, лучший сорт которой добывают по хребту Танну-ола, известная под названием «шивит», употребляемая и как лекарство для скота. Орнамент на дерево переводится с рисунка на бумаге, по контуру проколотого иглой близко укол к уколу. Этот рисунок накладывается на доску, по нему постукивают мешочком, обыкновенно холщевым, наполненным белой глиной («ак тоурак»). Вещи раскрашенные более распространены по Улу-хэму; резьба же — по Кемчику. Орнамент заимствован у монголов и китайцев.

Шорничество более развито по Кемчику, где на чепраках выдавливается часто очень сложный орнамент, для чего размоченная кожа натягивается на доску с узором и в соответствующих

местах вдавливаются слегка согретым утюгом («илир»). По Яковлеву, таким же образом выдавливаются орнаменты на «кугерах» — кожаных флягах для жидкости. Это неверно. Такие фляги по изготовлении туго набиваются мокрым конским навозом и плотно закупориваются, после чего утюгом выдавливается орнамент, и их, откупорив, вешают на несколько дней коптиться в горячему дыму. По мере высыхания навоз осторожно удаляется из «кугера», а затем уж окончательно высушивают их, отнюдь не пересушивая до «твердости дерева», как сообщает г. Яковлев. Такая твердость считалась бы недостатком, и действительно, пересушенные «кугеры» дают течь.

Перечисленными ремеслами заняты исключительно мужчины, остальные домашние ремесла, за исключением катания войлоков, находятся в ведении женщин. Сюда надо отнести выделку кож, шитье обуви и платья и т. д. Не все кожи выделяются одинаково. Для характеристики приемов выделки привожу способ выделки шкуры лисицы и дикого козла («джимма»). Лисью шкуру расстилают на кошме в юрте, брызгают на нее из рта пресным молоком, которое тщательно растирают, а затем кожу сворачивают в клубок. Когда она отсыреет и размякнет, с нее сдирается мездра пальцами и ногтями. Если на шерсть попала кровь, ее выколачивают тальниковыми или березовыми прутиками («шукпур»). Кстати заметим, что невыделанную шкуру лисицы сойот в случае нужды скрепя сердце отдаст на сторону, но шкурки соболя никогда не отдаст, и если кто придет за сободем, а шкурка еще не выделана, сойот выделяет ее тут же и отдает, предварительно отрезав губки, усики и приставшее к головке мясо. Все это кладется за пазуху «на счастье» («кежик»).

При несоблюдении этого бывает неудача на промысле. Этот обычай относится не только к охоте. При продаже коня продавец обтирает полой халата губы лошади и затыкает за пазуху несколько волосков, выдернутых из хвоста. То же в той либо другой форме продельвается со всем, отдаваемым на сторону.

Снятая с «джимма» шкура предварительно высушивается, затем поливается водой, а когда отсыреет, растягивается на земле и поливается кислым молочным продуктом — «боджи». После этого ее сворачивают и кладут в теплое место, чтобы прокисла, затем, предварительно слетка посолив, вновь сворачивают и дают ей высохнуть. Высохшую сначала мнут, пока замазка не отстанет, руками, а затем деревянной кожемалкой («няш идрэ»). Относительно «няш идрэ», как и относительно «шукпур», существует поверье, что их нельзя ни на что употреблять, а также жечь. Выделанную таким образом шкуру подвешивают над очагом на три-четыре дня. Когда шкура прокоптится и пожелтеет, ее вновь мочат, натирают вареной скотской — козлиной или бараньей — печенкой, вновь свертывают и откладывают в сторону, пока вновь не высохнет. Тогда шкуру натягивают на

палку длиною  $1\frac{1}{2}$  аршина («чарты») и белой глиной («ак тоу-рак») натирают только те места, от которых мездра еще не вполне ютстала, после чего мездра отдирается скобелем («темир идрэ»). Этот процесс носит название чистки шкуры («унгнер»).

Шитье обуви, как я уже упоминал, лежит целиком на обязанности женщины. Обувь шьется без колодки, причем сплошь да рядом один «идык» (сапог) менее другого. Это настолько распространенное явление, что о нем создалась целая легенда. В старину один великий человек («улу кыжы») сшил себе пару «идык». Случайно вбежала собака и один сапог утащила. Кожи оставалось у потерпевшего немного, и ему пришлось поневоле сшить малый сапог. С тех пор ни одна сойотка не может сшить пару одинаковых «идык».

Шьют русскими нитками и иголками, ранее шили жилами (у бедных это сохранилось и поныне) и монгольскими иголками. Для того чтобы сшиваемая материя плотно прилегала, ее смазывают селезенкой («джавана»), а за неимением ее — печенкой («бар»), после чего ее гладят железком («илир»).

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

### ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Среди сойотов, в особенности зажиточных, сильно распространены всевозможные игры. Одни, как шахматы, «мюн-мюн» и «убчур», заимствованы от китайцев, другие — «талы», «бута шедра», «чиргы шедра», «тугул шедра», «тос-ол» — местные.

Шахматная игра несколько отличается от нашей. Королева имеет только ходы туры, а ходы офицера ограничены только ближайшими полями. Пешка вначале может быть передвинута только на одно поле, а не на два, как у нас. Единственное исключение составляет первая пешка, которой начинают игру (обыкновенно d2—d4). Битья en passant нет. Рокировок не знают. Название фигур: король — «кыжи» (человек) или «нойон» (начальник); королева — «арслан» или «мерзе» («монг») — лев или «пар» — тигр; тура — «тэргэ» (телега); офицер — «тэвэ» (верблюд); конь — «от» (конь); пешки — «олдар» (дети) или «хас» (птицы) или «толай» (зайцы).

Игра «мюн-мюн», в которую зажиточные сойоты, по примеру китайцев, проигрывают иной раз громадные куши, состоит в следующем.

Доска разграфлена на 16×16 квадратиков. На третьей линии доски, в точках пересечений линий, два противника ставят камни, оставляя свободными две промежуточные точки. После того как вся третья линия заполнена, каждому из игроков предоставляется право ставить камни в любом месте по своему усмотрению. Цель каждого игрока занять своими камнями как можно большее пространство на доске и снять с доски камни противника, которые могут быть сняты, если будут со всех сторон окружены неприятельскими фигурами до такой степени, что их нельзя будет сдвинуть. Окруженные камни снимаются с доски со свистом, причем берущий, если он берет один камень, говорит: «иньк кызыптур» («щенка беру»), если целую группу — «тац удрюптур» («бью камни»). Если противник так ставит свои камни, что окружить их немислимо, говорят: «джер быджик тыптур одур» («укрепляет свою землю»). Игра считается выигран-

ной, когда с доски сняты все камни противника, причем, само собой разумеется, что чем более камней у противника снято, тем легче снять дальнейшие.

Игра «убчур» состоит из шести деревянных кубиков, соответствующих нашим костям, на каждой стороне которых сделаны углубления в виде точек от одной до шести, и целого ряда картинок, а именно: 64 птички («куш»), каждая из которых ценится при расплате за один лан; 32 зайца («куйгун»), каждый стоимостью 2 лана; 16 диких козлов («илик») по 4 лана, три собаки («ыт») по 12 лан и 4 сокола («хаютыга») по 7 лан (собаки и соколы составляют вместе одну группу стоимостью, как и все предыдущие и последующие, в 64 лана); 8 маралов («сын») по 8 лан, 4 барса («ирбиш») по 16 лан, два тигра («пар») по 32 лана и один лев («арслан») — 64 лана.

Число игроков произвольно. Каждый из играющих по очереди бросает кости в китайскую деревянную чашку. Бросивший неловко, так что часть костей выпала из чашки либо упала вне чашки, платит штраф по одному лану за каждую оказавшуюся вне чашки кость. Подсчет выброшенным очкам производится следующим образом. Две двойки — сокол; три тройки — собака, одна четверка — птица; две — заяц; три — марал; четыре — барс; пять — тигр; наконец, шесть четверок — лев; три пятерки — дикий козел; шесть шестерок — лев. Выбросивший не две, а три двойки, не три, а две или четыре, то есть больше или меньше указанного, не получает ничего. При получении из кассы картинок можно вместо одного льва получить двух тигров или четырех барсов, или восемь маралов и т. д. Картинки играют роль разменной монеты. Выбросивший, например, тридцать получает тигра и дает сдачи зайца. Таким образом, игра продолжается до тех пор, пока в кассе не окажутся только три старшие группы картинок: лев, тигр, барс. Тогда игра меняется. Каждый бросает подряд три раза, причем считаются тогда только четверки и единицы, которые для этой части игры делаются на костях красными и желтыми. Количество выброшенных единиц и четверок за все три раза складывается: отдельно четверки, отдельно единицы. Расплата за четверки производится, как в первой части игры: за единицы — за одну — птица, за пять — барс, за шесть — тигр, за семь — лев. Когда в конце не останется ни одной картинке, игра считается конченной. Способ подсчета выигрышей тождественен. Имеющий картинку льва кладет ее; каждый из играющих должен положить тут же количество картинок, по цене равное льву, то есть на шестьдесят четыре лана. Если у кого-либо окажется нехватка, она пополняется ланами по числу недостающих очков. После льва кладется тигр, затем барс и т. д. Весь выигрыш получает тот, у кого окажется самое большое количество очков.

«Талы» по форме напоминают наше домино. Игра состоит из десяти камней: четыре «хас» — свастика, по своему значению

отвечающие нашим тузам; четыре «талы», от которых игра получила название; четыре «улю»; четыре «ала он»; четыре «малджириг он»; четыре «кызыл сес»; «бурхан тола» (Большая медведица) и т. д.<sup>1</sup>

В эту игру играют четвером, троим или вдвоем. При игре троим или вдвоем каждый играет, соблюдая только свои интересы, и взятки принадлежат ему; при игре четвером сидящие визави содействуют друг другу, как в винте, и взятки их, или, по сойотской терминологии, «юрты» («уг»), считаются общими. Начинаящий кладет или один камень, или одинаковых два, три или четыре. Под одинаковым разумеются не только камни с одинаковым количеством точек, но и с одинаковым расположением таковых. Если положен один камень, то он кроется по очереди игроками камнями с большим количеством очков или «хасом». Парные могут быть побиты только парными. Взывший взятку открывает новый ход. Количество камней при выходе обуславливается соображениями выступающего, и если он выходит с одного, никто уже большего количества для того, чтобы побить этот камень, не может класть. Выигравшими остаются взявшие самое большое количество юрт. Эта игра распространена повсюду.

Но в «талы» играют так же, как и в наше домино. Для этого отбирают двадцать камней по два. Правила игры те же, что у нас, с той лишь разницей, что если у кого нет нужного для представления камня, то он откладывает в сторону один из своих камней в виде штрафа («ылды»), и этот камень присчитывается в конце к камням, оставшимся на руках.

«Чирги шедра». На доске ставит каждый из двух играющих по своему усмотрению из имеющихся в его распоряжении двенадцати камней по одному на пунктах пересечений линий, стремясь к тому, чтобы принадлежащие ему камни поставить на одной линии и не дать этого сделать противнику. Когда это удастся, играющий восклицает «чирги» и снимает по своему усмотрению с доски один камень противника. С той поры, как все камни на доске, их можно передвигать в любом направлении по линии, и каждый из противников старается попрежнему поставить три камня на одной линии. Игра кончается, когда у противника сняты все камни.

«Тугул-шедра» — игра в рог, получившая название от формы доски в виде рога, состоит в следующем. У одного из играющих один камень, у другого — два. Первый ставит свой камень в точке А, второй — в точках Е и D. Камни передвигаются по линиям до точек пересечения двух линий.

---

<sup>1</sup> Всех названий я не привожу, т. к., к сожалению, на обратном пути из экспедиции я вместе со всеми своими вещами, в том числе дневником, попал на Енисее в воду, и эта страница сильно пострадала.

Цель игры у второго запереть камень первого без движения (на занятые противником точки становиться нельзя). Цель первого — не дать запереть.

Игра «тоз-ол» — девять мальчиков — очень не замысловата. На доске в точках пересечений линий ставится девять камней так, чтобы одна из угловых точек, *A, B, C, D* или *E* непременно осталась незанятой. В случае, когда на одной линии окажутся занятыми камнями две смежные точки пересечения, а третья свободной, то крайний камень перескакивает на пустое место, а промежуточный снимается с доски. Например, если *E* и *O* заняты, а *A* свободно, камень с *E* переставляется на *A*, а камень *O* снимается. Развлекается этой игрой один. Цель его так передвигать камни, чтобы при каждом передвижении один камень, а то и больше, снимался с доски. Камни могут передвигаться только на одно поле. Игра считается выигранной, когда на доске остается всего один камень.

В заключение этой главы привожу записанную мною шахматную игру двух сойотов-ойнаров:

- |             |         |             |                 |
|-------------|---------|-------------|-----------------|
| 1) D2 — D4  | D7 — D5 | 14) G2 — G3 | A8 — A7         |
| 2) E2 — E3  | E7 — E6 | 15) F2 — F3 | G6 — G5         |
| 3) B1 — D2  | F7 — F6 | 16) H4 — G2 | A7 — F7         |
| 4) C2 — C3  | E6 — E5 | 17) F3 — F4 | H7 — H6         |
| 5) D4 : E5  | F6 — E5 | 18) F4 — G5 | H6 : G5         |
| 6) C3 — C4  | C7 — C6 | 19) H1 : F1 | H8 — H2         |
| 7) E3 — E4  | D5 — D4 | 20) F1 : F7 | E8 : F7         |
| 8) B2 — B3  | C6 — C5 | 21) E1 — F1 | H2 — H1 + (ша!) |
| 9) C1 — B2  | B7 — B6 | 22) F1 — F2 | H1 : D1         |
| 10) A1 — C1 | B8 — C6 | 23) C1 : D1 | F7 — E7         |
| 11) F1 — E2 | A7 — A6 | 24) D1 — F1 | G8 — H6         |
| 12) G1 — F3 | G7 — G6 | 25) F2 — E1 | C6 — B4         |
| 13) F3 — H4 | F8 — D6 | 26) A2 — A3 | B4 : C2 + (ша!) |

и т. д. Дальше не стоит записывать. Отмечу только, что сойоты доигрывают до последнего хода.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

### НАРОДНЫЕ ПРАЗДНЕСТВА

Мне пришлось неоднократно присутствовать на народных празднествах, устраиваемых ламами при буддийских кумирнях в определенные праздничные дни. Эти празднества — точная копия празднеств во всей Монголии. Предполагая, что прежде совершавшиеся шаманами, а впоследствии ламами «моления целю-го клана о благополучии скота» должны отличаться от монгольских, я, узнав, что такое моление будет происходить, ютправил-ся туда. «Ова», перед которым должны были служить молебен, состояло из груды камней с воткнутыми в них шестами, на ко-торых была развешана «джелама» (ряд лоскутков материи). В каменное основание «ова», в углубление в виде ниши, обращен-ной на северо-восток, вставлена доска с надписью: «Омани майт мехом» (господи помилуй). Перед этой доской поставлены деревянные лошадки, бараны, коровы, уже основательно потре-паные, с обломанными ногами. От приехавшего лама — отца двух мальчиков, с которыми он приехал и которые ему помогали в развешивании перед «ова» новой «джелама» — я узнал, что это «сумо-ова» — «родовое ова» и что на этом молении нельзя при-сутствовать женщинам, в то время как на других молениях — «тагырах» — они допускаются. По объяснению этого лама, это за-прещение женщинам участвовать в «тагыре» — недавнего проис-ходления; введено оно по приказанию приехавшего из Монголии уважаемого лама, который присутствие женщин на «тагыре» считал осквернением святыни, но не потому, что само присут-ствие женщин оскверняет «тагыр», а потому, что на «наирах» — празднествах — мужчины и женщины напиваются и в пьяном виде совершают всякие непотребства. Наш разговор с ламой пре-рвался на полуслове. Издали замелькали разноцветные «гон» — шубы подъезжающих верхом к «ова» всадников, во главе с «кунду» (помощником начальника клана). Лама выбежал им на-встречу. Некоторые из всадников держали в руках арканы, не-

которые — шесты. К шапкам приехавших были прикреплены лоскутки дешевого миткаля. К шестам была прикреплена «джелама» и «ходак» (лоскут шелковой материи). Все приехавшие, подойдя к «ова», били земные поклоны, затем, поставив шесты с арканами, сняли с шапок лоскуты материи и развесили их в виде «джелама». На других молебнах мне не приходилось видеть подношения арканов и шестов... На мои вопросы мне объяснили, что это делается только на молебнах о благополучии скота.

Вскоре приехал и «джянга» (начальник клана). Но и после его приезда молебен не начинался. Ждали «хошун-джелана» (чиновника особых поручений при «чезане» — управлении всеми сойотами), который, по рассказам, обыкновенно присутствует на таких молебнах. День был облачный... Появилось сомнение, придет ли он, и поэтому «джянга» отдал распоряжение начать молебен.

С правой стороны «ова» заняли места чиновники, слева — ламы, и молебен начался. Вскоре по знаку лам весь народ в главе с «джянгой» направился в сторону — на северо-восток выстроился и отвесил несколько земных поклонов. «Джянге» для этих поклонов подкладывали «олбук». Это же было сделано на юго-востоке, юго-западе и северо-западе. Все это время ламы, не двигаясь с места, продолжали молебен. Как раз к концу процедуры отвешивания поклонов подъехал «хошун-джелан»... Все вышли ему навстречу. Поздоровавшись со всеми, он сел впереди всех, и ему, а вслед за ним по очереди, в зависимости от чина и ранга, и всем чиновникам был поднесен «быштах» (род сыра) на китайской тарелке. «Быштах был поднесен и ламам.

Все, как по команде, положили на «быштах» белые, считающиеся почетными, четки («эрэге»), в виду обращения к богам («Кудей»), и табакерку, как необходимую часть приветствия подняли тарелки вверх с возгласом: «раво! раво! раво!»

— Раво! — подхватили этот возглас все присутствовавшие.

Этот крик сотен людей, звон колокольчика в руках ламы, удары в «кенгыргэ» (медные тарелки), ржание массы лошадей, крик коршунов и орлов, делавших круги над собравшимися, — все это, сливаясь, представляло какой-то дикий ансамбль. Это шум и гул продолжался минут пять.

Когда шум смолк, «тарга» (низшие чиновники, исполняющие полицейско-судебные функции), остановились в почтительных позах перед чиновниками и ламами. Они, отколупав о «быштаха» несколько крупинок, клали их в рот, а затем отколупанный кусок «быштаха» бросали вверх. Кружившие над собранием птицы хватили его на лету. После этого «тарга» убрели тарелки. Это совпало с концом ни на секунду не прерывавшего молебна. Началось угощение. Чиновникам и ламам поднесли кумыс. Я привез с собою два пакетика сахара и до нача-

молебна передал их ламам. Этот сахар был поднесен «хошун-джелану». Он велел один кусок отнести на «ова», два взял себе. То же проделали «джянга» и «кунду». Весь кстальной сахар «тарга» раскололи на мелкие куски и начали раздавать присутствующим. Произошла свалка, а затем драка из-за каждого куска. «Тарга» пустили в ход палки. Драка прекратилась.

«Джелану», «джянге» и мне, как почетному гостю, «тарга» поднесли на тарелке баранью голову, лодыжки и задок и несколько кусочков «быштаха». Это самое почетное блюдо. В это же время куски баранины бросались в толпу. Свалка возобновилась.

Началось празднество. Вывели борцов в коротких штанишках и в рубашках, специально употреблявшихся для борьбы, сзади спускавшихся до нижнего края лопаток, спереди расстегнутых и распахнутых. Рубашки эти плотно, как трико, прилегают к телу. Эти рубашки имеют только обрядовое значение. В этих рубашках бойцы выводятся на поле борьбы «тарга», после чего рубашки снимаются. Борец («богатырь») остается в одних штанах и опояске. Каждый из борцов проделывает какую-то своеобразную пляску, отбивает поклоны перед «ова», чиновниками и ламами и идет навстречу противнику. Борьба не сразу начинается. Противник некоторое время как бы высматривает, как бы ловчее схватить соперника.

Сначала выпускаются на арену самые слабые бойцы. Победители в этой первой борьбе борются затем с более сильными и известными силачами. Всеобщей славой пользуются два борца, получившие за успешную борьбу шишку «ха»<sup>1</sup>. Один из них, уже совсем старый, был когда-то первым борцом, но из-за старости уже выступал все реже и реже. Он довольно быстро сватил противника, чем привел в восторг всех присутствовавших. Он пользовался любовью всех, и эта любовь выражалась довольно оригинально. «Хошун-джелан» усадил старика около себя и клал ему в рот огромные куски «быштаха». Другой чуть ли не в то же время пихал ему в рот куски баранины. Все это как-то сразу исчезало в пасти толстяка, добродушно улыбавшегося при этих подношениях. Второй «богатырь», в последнее время победитель на всех состязаниях, небольшого роста, плотный, коренастый, с хорошо развитой мускулатурой.

Каждый победитель, подплясывая, подходит сначала к чиновникам, а затем к ламам и отвешивает им земные поклоны. И те и другие награждают победителей «быштахом», часть которого

<sup>1</sup> «Ха» — нечто вроде придворного чиновника, исполняющего частные поручения «амбын-нойона» и «огурды» (исковерканное название «ухереде» — начальника «хошуна» (племени). «Ха» получает свое звание, если чем-либо заслужит расположение своих повелителей. Это в большинстве случаев любимые борцы, ретивые пастухи (т. п. Особое положение среди «ха» занимает «аяк-ха», носитель шапки своего начальника и удостоенный чести подавать ему ее. Эту шапку он носит в особом кошеле на перевязи; перекинутой через плечо.

они кладут в рот, а часть бросают вверх подхватывающим ее птицам. Появление победителей перед чиновниками сопровождается довольно курьезным актом. Следом за победителем бежит «тарга» с шапкой, которую надевает на борца в момент его появления перед чиновником. Без шапки перед чиновником появляться нельзя.

Проделав всю эту церемонию, победитель подходит к побежденному и в знак дружбы охватывает его за поясницу и делает один круг вместе с ним.

Наблюдение за борьбой не мешает присутствующим усиленно накачивать себя молочной водкой («арага»). Досталось тут и мне. «Хошун-джелан» поднес мне чашку «арага» со словами:

— Ты пришел на наш самый большой праздник и должен с нами выпить.

Делать было нечего. Сказав, что я охотно выпью за благополучие ойнаров, за то, чтобы и люди и скот размножались, я отпил глоток.

— Джир! Джир! (пей, пей) — пристал он ко мне.

Пришлось выпить всю чашку.

Вслед за «хошун-джеланом» с этим же пристали «джянга» и «кунду».

— От хошун-джелана ты выпил, а от нас не хочешь...

Пришлось и их «уважить».

Настроение присутствовавших сильно подогрелось выпитой водкой. Было много пьяных. Возбуждение, шум, говор, громкие пререкания. Атмосфера накалялась. В любой момент можно было ожидать какого-нибудь скандала...

В это время появилась группа мальчишек верхом на лошадях, предназначенных для скачек. Мальчишки с пением объезжали кругом площадь. Несколько человек приблизилось к «ова» и тоже затянули песню.

Состязание борцов продолжалось все это время без прерыва. Состязались одновременно несколько пар.

Часов около пяти все поднялись и направились к лошадям. Меня это поразило. Я знал, что должны еще состояться бега. Оказалось, что бега состоятся на поляне на расстоянии полутора верст от «ова». Туда и направлялись присутствовавшие. Я сел в ожидавший меня тарантасик и, окруженный сотнями всадников, поехал. Дивная получилась картина: разноцветные халаты на возбужденных сойотах, лошади, приходившие в азарт от соседства сотни своих собратьев и мчавшиеся во весь мах; пение, лепет пьяных, окрики «тарга», понукания лошадей, свист плети, ударявшей по крупу лошади, и масса орлов и коршунов, летавших над головами и словно тоже отправлявшихся наблюдать за скачками.

Как только мы подъехали, начались бега:

Подвыпивший «хошун-джелан» схватил меня за руку и повел, чтобы показать принадлежавших ему лошадей, участвовавших в бегах.

Возвращаясь оттуда, он сказал мне:

— Тува-улус — тенек улус, извертур улус (тувинцы глупый, пьяный народ).

Я возразил, что всякий народ, когда напьется, глуп.

— Андыхтур! (Правильно!)

Участвовавших в бегах мальчиков перед началом бега угощали кумысом. Все больше и больше угощались водкой и присутствовавшие. Число пьяных увеличивалось. Пьяные чиновники набрасывались с кулаками на простых смертных, не обладавших чиновничьей шишкой. Те, возбужденные водкой, грызались, дерзили.

Уже дальше нечего было ждать, и я счел за лучшее удалиться.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

### ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ, БРАК И СЕМЬЯ

Одной из характернейших особенностей сойотов было их отношение к женщине. Во многих сойотских поселках, даже у ойнаров, самых культурных сойотов, мне приходилось видеть юрты, в которых жили взрослые девушки, каждая в отдельной юрте.

Это делалось для того, чтобы девушка могла свободно располагать собой и без стеснения принимать своего возлюбленного, несмотря на то, что ни девушка, ни парень не собираются скрепить этой связи брачными узами.

На самой грани земель ойнарских и сальджакских сойотов, на правом берегу Малого Енисея (Ха-хэм) мне пришлось присутствовать при следующем.

С экспедицией отправлялся к тоджинским сойотам восемнадцатилетний юноша, сватавший дочь сойота, работавшего у русского купца Г. Сафьянова в качестве пастуха. Хотя он был только женихом, он все же отправился к невесте и провел с ней всю ночь. Все это считалось в порядке вещей. Но тут же я узнал, что у этой невесты за ночь до этого ночевал другой, что равным образом считалось настолько в порядке вещей, что жених знал об этом. Только после того, как невеста переехала из своей юрты в улус жениха, связь с другим считается предосудительной. У ойнаров нарушение супружеской верности уже могло привести к разводу, у тоджинцев обманутый муж, уличив жену *in flagranti*, довольствовался захватом коня, на котором любовник приехал к жене; у этих же тоджинцев, но на вершинах гор, прелюбодеяние приводило к ссоре мужа с любовником. И только.

До переезда невесты в улус мужа, то есть до момента превращения невесты в жену, жених не имеет на нее более права, чем любой парень.

Кроме Саин-Белека, сына пастуха, сопровождал меня в экспедиции в качестве переводчика русский служащий того же Сафьянова. Для русских этого типа такие отношения между женихом

и невестой были предметом плоских и грубых шуток. И этот русский, когда мы уезжали, заметив в числе провожавших нас парня, ранее ночевавшего у невесты Саин-Белека, обратился к Саин-Белеку:

— Попроси его... Он недорого возьмет. А то пока ты едешь, невеста отвыкнет и после брыкаться будет...

Любовник невесты на это развязно ответил:

— Хисрошо заплатишь — так чего же?

А Саин-Белек, не отличавшийся умом, в ответ на это в присутствии невесты выпалил:

— Ты должен заплатить за то, что будешь пользоваться моим добром.

При этом милом обмене мнений присутствует девушка, о которой идет речь.

Но эта же девушка, когда этот русский, обещая подарок, сделал ей гнусное предложение, с возмущением крикнула:

— Что я, публичная, что ты сулишь мне подарки? Я не продажная.

К «продажным» отношение брезгливо-презрительное. Но нет такого отношения к «непродажной», сколько бы парней она ни меняла. Это ее личное дело. И девушка, не стесняясь присутствием товарок, договаривается с парнем о любовном свидании, стесняясь лишь присутствия других парней.

Из этого не следует делать заключения, что девушке при выходе замуж предоставляется свободный выбор. Решающую роль в этом деле играет калым, выплачиваемый женихом родителям невесты. Заинтересованные в получении этого калыма, при отсутствии надежды на получение большего, родители, в особенности у ойнарлов, заставляют иной раз девушку выйти замуж за парня против ее воли. И очень многие девушки безропотно подчиняются воле родителей. Но есть и такие, которые оказывают упорное сопротивление.

Брачный обряд, правда, в такой форме единственный, виденный мною, в высшей степени характерен. Сойоты в то время носили косы. Обряд начинался с того, что расплетались и вновь заплетались косы обоих: жениха и невесты. После этого жених кладет в рот кусок баранины, придерживая его зубами так, что часть этого куска торчит наружу. Невеста должна ухватить зубами эту торчащую часть, после чего жених резким движением головы отрывает кусок, придерживаемый невестой зубами. Это, по объяснению сойотов, является символом того, что при выходе замуж девушка отрывается будущим мужем от своего клана и переходит в клан мужа.

В связи со сказанным мною выше у меня записан следующий случай.

Девушка Ульбезек, насильно выдаваемая замуж, когда жених, выплативший уже калым, подошел к ней с куском баранины в зубах, наотрез отказалась выполнить этот обряд.

— Я тебя купил! — прикрикнул он на нее. — Ты теперь моя баба и обязана исполнить обычай!

В ответ на это девушка отхлестала своего суженого по щекам. Обряд не состоялся, но... калым был уплачен, и она *de jure* оставалась его женой, не будучи ею *de facto*<sup>1</sup>.

Кусок баранины, играющий эту символическую роль, носит название «лен».

Такое энергичное сопротивление бывает редко отчасти оттого, что девушки отдаются замуж в очень молодом возрасте — иной раз тринадцати-четырнадцати лет, — что не исключает продолжительных половых связей с другими парнями еще до замужества. В возрасте восьми-девяти лет девушка считается созревшей, что, в зависимости от местности, устанавливается у одних тем, что на халате, на высоте колен, делается нашивка на шубе («тон»), повыше нашивки у нижнего края шубы, обычной у девочек. Другой признак зрелости — заплетание косы. У девочек так же, как и у мальчиков, волосы на голове сбываются спереди и оставляются лишь на макушке. К восьми-девяти годам у девочки волосы отпускаются, и когда они отрастут настолько, что их можно заплести, девочка считается созревшей. У меня записано несколько случаев, когда девочки вступали в половую связь еще до этого.

Сойоты очень «просто» решают вопрос о зрелости. Опрашивая одну девочку, я спросил, сколько ей лет; она затруднялась ответить. Присутствовавший при этом сойот, считая это совершенно естественным, подошел к ней, прощупал грудь, причмокнул со вкусом губами и заявил: «бар!» (есть!)

Созревшие девочки без стеснения вступают в связь с парнями, лишь бы не днем, и поэтому, соглашаясь, они отпрашиваются до ночи. Опасаясь, что девушка раздумает, парни слирают с них кольца или украшения, прикрепляемые к косе. Тогда уже у них полная гарантия. За украшениями девушка наверное придет.

При таком отношении к вопросу о зрелости девушек и при таком отношении девушек к половой связи вполне естественно, что по всей Сойотии было распространено сватание малолетних и даже сватание будущих супругов до рождения. Сватают в предположении, что в одной семье родится мальчик, а в другой — девочка. Если эти предположения не оправдываются, родившиеся мальчики или девочки считаются женихами и невестами

---

<sup>1</sup> Отказалась жить с мужем и дочь тоджинского шамана, и уплативший за нее калым муж жестоко ей отомстил. Он подговорил больного сифилисом товарища изнасиловать его жену. Тот ворвался с еще другим сойотом в ее юрту. Один держал ее, другой изнасиловал. С тех пор она и заболела.

— А ты не жаловалась? — задал я ей вопрос.

— Нельзя, — ответила она с убеждением. — Пожалуйешься — много людей будет знать и говорить, а если люди говорят о болезни, то болезнь разрастается.

тех, которые только должны родиться. После того как засватанные родятся на свет, начинается настоящее сватание, выражающееся в визите, наносимом семье невесты. Все члены семьи и все случайно присутствующие во время этого визита одариваются приезжими чаем и табаком.

Это считается обручением («тукдэр»). Вслед за сватами являются родственники жениха и привозят с собою вино и разные угощения. Во время сватания («тукдэр») для приезжих гостей выстраивается специальная юрта («ойнар-уг») на три дня. В этой юрте родные невесты режут и варят барана, и тут же он преподносится присутствующим. В этой же юрте происходит обряд, символизирующий отрыв невесты от ее рода, о котором я уже упоминал выше.

Кое-где при первом визите сватов, которые подбираются из числа самых красноречивых родственников, они обращаются к родителям невесты: «Плохонького нашего парня сделайте человеком и в дверь юрты невесты пропустите».

В случае согласия родители невесты отвечают: «Ваше желание исполнилось». В случае несогласия назначают срок, когда сваты должны приехать за ответом, и только тогда окончательно отказывают.

При сватании происходит взаимное одаривание. Отец невесты сам указывает на лошадь, какую желает получить. Обычно это лошадь одного из приехавших. Она носит специальное название «джаяр-ат». В свою очередь жених, еще до переезда невесты в его улус, выбирает себе лучшего коня из табуна отца невесты. Этот конь носит название «кудэ-ат» (конь зятя). Не забывают и о матери невесты. Ей должна быть подарена какая-нибудь дойная скотина в возмещение за материнское молоко («ими-картжже»).

Во время свадебного пиршества происходят всевозможные игры: «джода-хунаджер», «от-джаяр».

«Джода-хунаджер» (борьба за кость) состоит в следующем. Кто-нибудь из присутствующих среди пиршества бросает в дверь или в отверстие очага обглоданную кость. У порога юрты выжидающие этого момента два молодых парня: один — со стороны жениха, другой — со стороны невесты, самые сильные, ловкие и проворные, состязаются, кто овладеет ею. Хотя всем, а в том числе и этим парням, известно, что завладение костью юношей со стороны жениха является хорошим предзнаменованием и, наоборот, дурным, если костью завладеет представитель родных невесты, тем не менее каждый из юношей напрягает все силы, чтобы завладеть костью. Это своего рода гадание о будущей судьбе брачующихся, а судьба не изменится оттого, что невестина сторона слукавит и не будет стараться захватить кость.

Такой же характер носит «от-джаяр» — выбивание огня из огнива над сухим сеном. Сторона жениха стремится первой захечь сено и внести огонь в юрту.

После всех этих церемоний сват-проводящий вводит прячущуюся за его спиной молодую, одетую в свадебную одежду — «тумалай», в которую она прячет лицо от отца и старших братьев мужа. Только после того как отец мужа сорвет с нее «тумалай» и погладит ее темя, она может не прятать лица.

После свадебного пиршества молодая ездит по родным и близким соседям, каждому подносит «кутерч-арага» (кожаная фляга с водкой). Каждый из посещенных ею обязан одарить ее предметами, нужными ей в хозяйстве.

Относительно заключавшихся браков нужно отметить, что брак в пределах клана допускался лишь при условии, что родство со стороны отца не ближе восьмого колена. Исключения бывали, но союзы к такого рода бракам относились с крайним осуждением.

Наоборот, браки с ближайшими родственниками матери ничем не ограничены: можно жениться на двоюродной сестре по матери и даже на сестре матери.

Е. К. Яковлев сообщает о кровосмесительных браках (отца с дочерью). Собранные мною сведения этого не подтверждают, если не считать пережитком прошлого то, что дочь больше стесняется отца, чем посторонних. Дочь при отце не снимает халата, не отвечает на вопросы, относящиеся к половой связи, хотя на эти же вопросы отвечает в присутствии посторонних мужчин. На мои вопросы, чем это вызвано, я получил лишь в ответ категорическое «нельзя». Так отвечали и мужчины и женщины.

Возможно, что это «нельзя» являлось впоследствии воздвигнутой преградой от таких браков.

При заключении брака соблюдалось правило о равенстве брачующихся как в смысле зажиточности, так и в смысле происхождения, но и здесь недавно разбогатевшие вступали в брак с обедневшими «почетными». Мною записаны случаи и «неравных браков». Сестра главы союзов («амбын-нойона») выдана была замуж за бедняка, но только потому, что никто из почетных и зажиточных не соглашался взять ее в жены. Она до замужества прослыла на всю Союотию как ведущая развратную жизнь.

Меня поражало всегда, как тонко союзы разбирались в этом вопросе. Девушек, имевших связь с мужчинами в расчете на материальное вознаграждение, проще говоря, prostituteрующих, союзы до того презирали, что о том, чтобы такие девушки могли выйти замуж, не могло быть и речи.

Е. К. Яковлев в своем «Этнографическом обзоре инородческого населения южного Енисея» (Минусинск 1900 г.) пишет (стр. 23): «По Кемчику можно встретить нередко рыжую и светлорусую окраску волос и голубые глаза, а также тонкий и сухой нос; в Ойнарском «хошуне» попадаются субъекты с окладистой бородой. Распространенные именные названия: «синий глаз», «желтый глаз» и пр. указывают также на распространенность светлой окраски глаз и волос. Соседство русских сказы-

вается в Сальджакском и Ойнарском «хошунах»; род «орус» считается потомками русских, и отличительным признаком его считаются серые глаза; наконец, около Усинских промыслов, на границе с китайскими владениями, тип инородческого населения значительно изменился благодаря тому, что обедневшие сойоты занимают, нисколько не скрывая этого, продажей прелестей своих жен и дочерей богатеющим соседям — русским. «Девушки Улу-хэма кормятся от русских», — гласит пословица.

Яковлев не был в Сойотии, проверять сообщений он не мог, и кто-то ввел его в заблуждение.

Рода «орус» не было у ойнаров. У сальджаков мне этого проверить не удалось. Пословица о «девушках Улу-хэма» приведена Яковлевым со слов Горощенко, который проводил свои исследования поблизости Джакуля, местности, смежной с приисками. Обобщать приисковые явления на всех сойотов, живших по Улу-хэму, абсолютно недопустимо.

Другую категорию презираемых, но в гораздо меньшей степени, составляли развратницы, каждый день водившиеся с другим. И, наконец, третья категория — это те, которые вступали в связь из расположения к тому или другому юноше, хотя эти юноши и менялись. Это считалось совершенно нормальным. Соблюдение невинности не считалось доблестью. Наоборот, девушка, не сумевшая расположить к себе мужчины, вызывает сомнение, может ли она быть женой. Нередки явления, в особенности у тоджинцев, несоблюдения супружеской верности женами, но весьма редко это нарушение приводило к разводу даже у ойнарских сойотов, не говоря уже о других. Записанные мною случаи разводов вызывались другими причинами: неуважением к матери мужа и третированием ее невесткой, болезнью (сифилисом), приговором мужа к двадцатилетнему заключению. Записан мною случай, когда выданная замуж за оленивода добилась развода из-за тоски по родному скоту, к уходу за которым она привыкла. Наряду с этим побой, наносимые мужем жене, хотя и осуждаются, но не могут служить поводом для развода. При разводе женщина может взять с собою внесенное ею венo только в том случае, если утверждающие развод чиновники виновной стороной признают мужа, что бывает в высшей степени редко. Признанная виновной жена, кроме своих нарядов, ничего брать с собою не в праве. Самый серьезный вопрос о детях по преимуществу также решается в пользу мужа. Даже если жена признана чиновниками правой, дети оставляются у нее только в том единственном случае, когда она до замужества числилась в одном клане с мужем. Необходимо оговориться, что при рассмотрении вопроса о детях всегда имелись в виду только мальчики. Оставления у них девочек не добивались ни муж, ни жена. Мальчиков же отец даже при желании не был в праве передавать матери, принадлежащей другому клану, так как они — будущие плательщики «албана». (налогов, налагаемых на клан и уже

кланом распределяемых между членами клана). Чем больше этих членов, тем меньше приходится на долю каждого. Единичные случаи, когда дети-мальчики оставались у матери, вызывались тем, что отец, либо спившийся, либо совершенно неспособный, не был в состоянии содержать детей. Но и в этих случаях они числятся как принадлежащие к клану отца и остаются у матери лишь временно, пока не подрастут.

Развод, как я уже упоминал, утверждается чиновниками «джянга» и «кунду». Без их разрешения брак *de jure* не считается расторгнутым. До расторжения брака чиновники пытаются примирить супругов, увещевают их и утверждают развод лишь тогда, когда эти попытки не приводят к цели.

Об этой роли чиновников необходимо упомянуть ввиду того, что при заключении брака они не играют никакой роли и браки никем официально не регистрируются.

Сойоты обходятся без вмешательства чиновников и в тех случаях, во время моей экспедиции встречавшихся очень редко, когда сойот не довольствуется одной женой и женится еще и на другой. Больше двух жен у сойотов не было. Исследователи сойотов указывали на бесплодие жены как на единственную причину двоеженства. Это не совсем верно. Сойоты брали вторую жену и тогда, когда первая жена не рожала мальчиков. Независимо от этого сравнительно часто, в особенности у тоджинцев, я встречал двоеженцев среди ведущих двойного типа хозяйства: на вершинах гор — оленеводство, у подножья той же горы — обычное скотоводство и коневодство. Одна жена заведывала одним хозяйством, другая — другим, а муж, в зависимости от условий того же хозяйства, жил то с одной, то с другой.

Вторая жена бралась сойотом с полного согласия, а иной раз при содействии первой, признаваемой «главной». Отношения между женами, перед внешним миром хорошие, в действительности далеко не дружеские. Главная жена одного высокого чиновника — Ортун Мерина — на мое предложение снять карточку всей семьи наотрез отказалась сниматься вместе со второй женой, а когда я ей предложил сняться одной с мужем, немедленно согласилась. Младшая жена, как мне казалось, робела перед старшей, несмотря на то, что к ее детям старшая, бездетная, относилась с не меньшей, чем она сама, любовью.

Необходимо еще несколько слов посвятить правовому положению вдов. По мере подрастания детей отец выделяет каждому часть имущества, не выделяя лишь младшего, который получает все, что остается в момент смерти отца. Случается, что отец при жизни выделяет и младшему часть имущества, но это не считается выделением части, а даром, зависящим от доброй воли отца. Если в момент смерти отца мать жива, оставшееся наследство переходит в общее владение матери и младшего сына, причем мать и сын свободно распоряжаются имуществом, и только в

случаях разногласия между ними происходит деление имущества, но это бывает очень редко.

Согласно обычаю вдова не имеет права вторично выйти замуж, если у нее есть дети. Попытка ее выйти замуж наталкивается на большое сопротивление взрослых сыновей. Иной раз все же ей удается добиться согласия сыновей и разрешения клана, если другой муж не женат (следовательно, если она не будет второй женой) и, что является непременным условием, если он родственник умершего мужа. В большинстве случаев молодой вдове приходится довольствоваться простым сожителем с своим избранником, против чего не возражают ни сородичи, ни дети. Это ограничение не относится к бездетным вдовам. Их вторичному браку никто не в праве препятствовать.

Положение женщины в семье находилось в строгой зависимости от зажиточности и положения, занимаемого мужем. В богатых семьях жена ничего не делает, если не считать делом покрякивание на разбаловавшихся детей или мелкой работы по дому; в бедных семьях женщина была завалена работой до усталости, до изнеможения. У тоджинцев, например, муж, уходя на охоту, указывал жене место, куда он явится во время промысла, и на это место она должна была с детьми, со всем скарбом перекочевать. Вся работа по перекочеванию лежала на ней, она вычила лошадей, перегоняла скот и т. д.

Кое-где, как я уже упоминал, по отношению к женщинам в то время принимались меры, свидетельствующие о ее полной подчиненности мужчине, чего в прошлом не было. К мужу, ударившему жену, все соседи относятся с пренебрежением. Женщины за содеянные проступки не подлежат телесному наказанию, их пытать нельзя и т. д. Значение имеет и та свобода нравов, о которой я уже говорил и которой я нигде, кроме Сойотии, не встречал.

Наткнувшись на факт ухода мужа за десятки километров в тайгу на охоту, причем жена со всей семьей должна была перекочевывать на указанное им место, куда он рассчитывал явиться, и узнав о том, сдав жене добытое им на охоте, муж отправляется дальше, а жена вновь перекочевывает, — я стал расспрашивать, а как было в прошлом. На основании полученных мною ответов у меня составила следующая картина прежних брачных отношений.

Примитивность орудий производства — лук, стрела и самострелы — не обеспечивала успеха на охоте. Это заставляло объединяться в коммуну, которой, как я уже говорил, обязательно должна была передаваться вся добыча. На охоту отправлялись все взрослые мужчины. Охотились артелью, охотились и в одиночку. О том, чтобы всякий раз добытое на охоте относить главе рода, не могло быть и речи, таскать с собою всю добычу тоже не представлялось возможности. При этих условиях охотник имел лишь один выход: оставлять добычу в первой встречной по

дороге юрте, там же передохнуть, а затем уже отправляться дальше. В этих встречных юртах были только женщины и дети, для которых часть пищи, доставляемой охотником, была единственным источником существования. Ни о каком браке в то время не могло быть и речи. Один мужчина не мог иметь уверенности, что его семья, если бы таковая была, не погибнет с голоду до того, как ей доставят пищу с места постоянного пребывания главы рода. Повидимому, в этот первый период, период примитивнейших орудий производства, существовал так называемый хаотический брак: доставлявший пропитание состоял во временной связи с женщиной; после его ухода является другой, третий, а он, в свою очередь, передвигаясь дальше в погоне за зверем, таким же образом посещал других женщин.

Усовершенствование орудий, возможность если не одному, то группе братьев обеспечить существование женщины и ее потомства привели к переходу от «хаотического брака» к ограниченной полиандрии, к браку группы братьев на одной женщине. К этому периоду надо отнести замечаемое бережное отношение к женщине и обряд прятания лиц перед мужскими членами семьи мужа, прекращаемое обрядом срывания отцом мужа «тумалай» с невестки. Приручение животных, гарантирующих пропитание семьи, и возможность перекочевывания за мужем-кормильцем наряду с дальнейшим усовершенствованием орудий охоты (переход к огнестрельному оружию) создают почву для перехода к моногамии — единоженству.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

### БЕРЕМЕННОСТЬ, РОДЫ И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ

Беременность женщины ни в чем не изменяет ее обычной жизни. Употребляемая ею пища — обыкновенная. Пищи, признаваемой полезной для беременных, не знают. Употребление водки у молодых, не привычных к ней, вызывает рвоту, но только у самых молодых. Все остальные пьют и «арага» и кумыс, и это не считается вредным ни для матери, ни для ребенка. Движение и работа полезны при беременности. Если женщина много ходит и много работает, — ребенок меньше и роды легче. Пол будущего ребенка можно определить заранее. Если ребенок постоянно бьется в животе — родится девочка, если изредка, но проворно — мальчик. Продолжительность беременности как для мальчика, так и для девочки — десять лунных месяцев. Есть женщины, которые рожают легко, в несколько часов, но есть и такие, которые мучаются двое-трое суток. Рожают, стоя на коленях и держась за ремень, протянутый от одной решетки, то есть от одной стены юрты до другой. При трудных родах прибегают к помощи «тудугджи» — безразлично, мужчин, или женщин, выполняющих функции повитух, которые в свою очередь сами, не будучи в состоянии справиться с этой тяжелой и ответственной обязанностью, пользуются помощью шаманов, а равно мужчин или женщин, присутствующих в юрте при родах. «Тудугджи» правят живот согретыми на огне очага руками. Если это не помогает, это же проделывает шаман. Когда и это не действует, шаман, неожиданно для родильницы, набрав в рот воды, выплескивает ее в лицо ей изо рта. В этот же момент присутствующие при родах мужчины подхватывают ее подмышки и дергают вверх. В некоторых местностях прибегают к более энергичным средствам. Считая, что испуг ускоряет роды, стасывают сзади родильницы и стреляют из ружей.

Трудные роды, как и все болезни, обыкновенно приписываются действию злых духов, но я натолкнулся на один случай,

когда виновницей трудных родов была якобы сама родильница. Она отличалась большой скупостью и все, что у нее было, держала на замке. Сойоты утверждали, что она так привыкла все запирасть, что заперла и самое себя. Для облегчения ее родов «тудугджи» прибегли к довольно оригинальному средству. Оставив родильницу в покое, они открыли все ящики и все «барба» (сумы), в которых было заперто накопленное ею добро, и свято верили в то, что это поможет и ей «отпереться».

К стрельбам из ружей прибегают и при задержании послета, считая, что от выстрелов женщина дрогнет и это ускорит выход послета.

Выделенный послед вместе с берцовой костью овцы и куском сычуга закапывается, обязательно женщинами, в землю, причем это делается с соблюдением всех предосторожностей, чтобы никто не видел, где закопан послед, что может скверно отразиться и на матери и на ребенке.

Такое закапывание происходит в семьях, в которых дети выживают. В семьях, в которых дети умирают, послед вместе с куском овечьего мяса бросают на съедение собакам. Это, по поверью, спасает новорожденного младенца от грозящей ему смерти.

Как только ребенок родится, пуповина перевязывается жилами в двух местах: с одной стороны на расстоянии сустава пальца от животика ребенка и в длину пальца с другой и перерезывается ножницами или ножом. Употребляемые для этого ножницы и нож считаются нечистыми до очищения,—а это происходит по истечении трех дней,—и не могут быть употребляемы. Это очищение происходит одновременно с «очищением» и роженицы и ребенка. До этого очищения и мать и младенец считаются нечистыми. Новорожденного обмывают китайским чаем с растворенной в нем каменной солью. До отпадения пуповины ребенка пеленают и укладывают обязательно со скрюченными ножками.

После родов легко родившие остаются в постели двое суток, родившие тяжело — до шести и дольше.

Против кровотечения во время родов не принимают никаких мер, считая, что чем больше кровотечение, тем легче родильнице.

Кормят ребенка до тех пор, пока не исчезнет молоко в груди. Беременность не приостанавливает кормления. Случается, что если новорожденный не все высосет из груди, дают годовалому ребенку высосать.

Еще одна подробность.

На Джакуле (по р. Кемчику) один из чиновников обратился ко мне с просьбой дать средство, чтобы жена не могла забеременеть, так как каждая беременность сопровождается болезненными явлениями. Жена, по его словам, была беременна, и он, считая меня врачом,—а у них понятие «ученый» было тожде-

ственно с понятием «врач»,— просил, нельзя ли устроить ей выкидыш.

С таким же предложением обратился ко мне один из ойнарских сойотов. Он просил дать его беременной дочери слабительное. Услышав, что сильное слабительное может вызвать выкидыш, он убежденно заявил: «Пропадет ребенок, но жена не пропадет».

Надо при этом заметить, что сойоты страшно любят детей, что много детей считалось чуть ли не «божьей благодатью».

И, тем не менее, на такие случаи я наткнулся. Они тем более странны, что плод с момента зачатия считался живым и возраст ребенка считался не с момента рождения, а с момента зачатия, и новорожденный считался годовалым ребенком.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

### РОД (КЛАН)

Целый ряд сбивчивых сведений о роде у сойотов, появившихся до моей экспедиции в печати, заставил меня с особенной тщательностью заняться этим вопросом. Но уже здесь я должен заявить, что мои усилия остались в значительной степени безрезультатными. Ввиду этого мне приходится ограничиться сообщением собранных мною данных и лишь указать на то, что уже во время моей экспедиции административное деление настолько переплеталось с родовым, что одно от другого было весьма трудно отделить.

Вся Урянхайская земля в административном отношении делилась на девять «хошунов»: 1) Оин, 2) Сальджак, 3) Тоджи, 4) Та или Манзут, 5) Бейзы, 6) Мады или Кодагаит, 7) Нибазы, 8) Хозут и 9) Шалык.

К этому делению было приурочено и военное, так как сойоты составляли нечто вроде иррегулярной армии.

Если вообще допустимо проведение аналогии между административным делением у сойотов и тем, какое в дореволюционное время существовало в России, то «хошун» отвечал волости или якутскому улусу<sup>1</sup>. «Хошун» подразделяется на четыре рода (кланы) — «сумо». «Сумо» в свою очередь делится на «кости» — «сююк». На Кемчике «сююк» отождествляется с административным делением, называемым «арбан». У ойнаров «кость» не совпала с «арбаном». У них число «арбанов» зависело от густоты населения. Первоначально в «арбан» входило всего десять юртохозяев, впоследствии значительно больше. Переход из «хошуна» в «хошун», из «сумо» в «сумо» допускается только с разре-

<sup>1</sup> В этом отношении представляли исключение два «хошуна»: Та и Бейзы. Эти два «хошуна» ранее управлялись собственными «князьями», но затем обеднели, к ним присоединилось много выходцев из Монголии и в этих «хошунах» перепутались все деления.

шения «амбын-нойона», и то только с согласия тех «хошунов» и «сумо», к которым переходящий принадлежит.

У ойнарлов основным «сумо» в «хошуне» был род того же названия: «Оин». Он делился на восемь «сююков»: 1) Оин, 2) Сат, 3) Тангак, 4) Байгара, 5) Улет, 6) Унгер, 7) Телег, 8) Ходух. «Арбанов» в этом «сумо» насчитывалось всего шесть: все перечисленные, кроме последних двух. Е. К. Яковлев утверждает, что в каждом «сумо» имеются следующие «сююки»: Ирпит, Соян, Кыргыз, Казак, Ходук, Уйгур. Это неверно. В «Оин-сумо» нет ни одного из перечисленных; в «Сальджак-сумо» есть Ирпит и Казак, но других нет. В «Хомушко-сумо» нет ни одного из них, в «Ондар-сумо» есть Уйгур и Кыргыз, но других нет, в «Мады-сумо» есть Ирпит, но других нет и т. д.

Тоджинский «хошун» состоит также из четырех «сумо»: 1) Хол, 2) Ак, 3) Кара или баран и 4) Гуюк.

«Хол-сумо» состоит из следующих «сююк-костей»: Ак-тоду, Кара-тоду, Соен, Кыргыз, Хамачи, Маты, Тархат, Шакар.

«Ак-сумо» носит еще название «Ак-чоду», а «Кара-сумо» — «Кара-чоду». Первое обозначает: белые звероловы, второе — черные звероловы, причем под зверем имеется в виду соболь.

Перечисление названий других «костей» теряет всякое значение ввиду неполноты сведений, собранных мною. Необходимо указать лишь на то, что у тоджинцев строго отличают «сююки» от «арбанов». В этом же «Хол-сумо» шесть «арбанов»: 1) Хол, 2) Джебаш — приречный, 3) Шагда — пограничный, 4) Кара-тод, 5) Хэм, 6) Соен.

О происхождении родов сохранились самые фантастические легенды.

Привожу из них лишь некоторые.

«Сарыглар-сумо» — один из родов «Бейзы-хошуна», расположенный по речкам Эдегей, Кемчик, Аксук и Джергак.

Жило некогда в местности Агоринде по р. Аксук, возле Кызыл-тайга (Красной горы), четыре брата: Адакан, Шулукан, Джон-хол (толсторукий) и Джонганаш. У них была пегая бело-бокая двухлетняя корова. Однажды, отправившись на охоту на Красную гору на озеро Сют-Куль, они арканом привязали корову на берегу этого озера. Когда они вернулись, они застали корову мечущейся и ревушей от боли. Она была стельная. Убедившись, что она не может отделаться, братья вскрыли ей живот и извлекли большого пегого бычка. Когда этот бычок подрос и превратился в большого белобокого пороза, братья сели на него верхом и поехали охотиться на р. Тосту-хэм (русское название реки — Тосла). Во время охоты они убили девять маралов, мясо этих маралов ввалили на пороза и поехали домой на р. Джевлик, впадающую в р. Аксук. На берегу этой речки росла большая толстая лиственница. Пороз подошел к лиственнице почесаться, и от этого трения ломались сучья и ветки лиственницы, а пороз неистово ревел. Ему пустили кровь и эту

кровь пили. Этот пороз считается «хозяином» местности, в которой обитают сарыгларские сойоты. Голова этого пороза будто бы похоронена на горе Кызыл-тайга, напротив Джутака, и в этом месте происходят шаманские мистерии — моления к порозу, как патрону, о благополучии рода. У этих четырех братьев был зять — одноглазый волшебник (шулбус).

Он считается основателем рода.

Об упомянутых выше четырех братьях сохранилось еще следующее предание. К ним явилось семь лам. Братья на них рассердились.

— Холодно ли, тепло ли, голодно ли, сытно ли, — вы все ходите и чашки лижете...

Рассердившись, братья убили шесть лам, седьмого им убить не удалось. Тогда он уже указал братьям, как его можно убить: — Брюхо разрежьте, а лицо закройте...

Так братья и поступили, и тогда погиб и последний лама.

После этого братья привязали всех семь лошадей, на которых ламы приехали, к лиственнице, а сами уехали. Лошади подошли с голоду.

С того времени у сарыгларов не держатся ни ламы, ни лошади.

Нет хороших лам, нет и табунов более ста голов. Грех предков тяготеет над потомками.

К сарыгларам другие сойоты относятся с насмешкой. О них создана следующая поговорка:

«У сорок глаза падки на боль спины». У сарыгларов глаза падки на сало (намек на их жадность и прожорливость).

Предания о других «сумо» указывают лишь на то, что многие родоначальники «сумо» — пришлые люди. Так, например, родоначальником «Хертек Сойон-сумо Бейзы-хошуна» был телеуг.

В старину род («сумо») в лице патриарха решал судьбу всех членов рода, а члены рода отвечали друг за друга. Существовала и кровавая месть. Во время моей экспедиции все это сохранилось лишь как легенда. Как при убийстве членом «сумо» или «сююк», так и при убийстве посторонним члена «сумо» или «сююк» убийца предавался установленным китайским правительством чиновникам и отправлялся на суд в китайский город Улясютау — столицу «дзяньдзюня» (губернатора). Кое-где, следуя традиции, члены рода применяли кровавую месть, но они уже считались обыкновенными убийцами и подвергались такой же участи, как и убийцы их родича.

Родичи уже также не отвечали ни перед сойотами, ни перед китайцами и русскими за долги члена рода, хотя на них продолжала лежать нравственная обязанность поддержать его материально и помочь расплатиться с долгами. Большую фактически, но не юридически, ответственность несут «сумо» и «сююк» за кражу, совершенную членом рода или «кости». Дело потерпевшего найти след. Найденный след, ведущий к месту жительства

рода или «кости», «сдается» главе «сумо» или «сююка», который старается разыскать след, ведущий из этого места дальше. Если это ему удастся сделать, он этим снимает ответственность со всего управляемого им поселка; в противном случае, не отвечая в уголовном порядке за кражу, жители участка отвечали материально, то есть с них взыскивалась стоимость украденного. Лет за десять до моей экспедиции род или «кость», в лице своего главы, отвечали в уголовном порядке, и были случаи, что такой глава, когда русские «сдавали» ему след, немедленно соглашался на возмещение стоимости украденного, лишь бы добиться немедленного прекращения дела. Но и тут случалось, что русские обманывали сойотов. Согласившись на получение следуемой за украденное платы, они, несмотря на «мировую», подавали жалобы чиновникам. Желая избежать этого вероломства; сойоты до уплаты следуемого, заставляли их присягать, что прекратят дело. Но и тут дело не обходилось без обмана. Русские присягали, а затем все-таки подавали жалобу. Тогда сойоты заставляли их присягать перед иконой или распятием...

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

### АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Главой всей Сойотии был «амбань» — амбын-нойон. Я решил посетить его. Улус, где была его ставка, находился в долине р. Тес, в местности Тарлакшин-Акса, в двух километрах от горы Хайэрхан.

Мой переводчик немедленно отправился с моим паспортом в управление («чезан» или «тамба») и вернулся с сообщением, что «аудиенция» у «нойона» (дословно: господина) назначена на следующий день. Утром следующего дня к моей палатке подъехали двое «джеланов» (чиновников особых поручений), повидимому, для разведки, кто я, почему приехал и т. д.

«Часов в десять,—отметил я тогда же в своем дневнике,—Макар (мой переводчик) запряг лошадей, и мы в тарантасе, весело звеня колокольчиками, отправились к «нойону». Он, повидимому, не смог побороть своего любопытства и, несмотря на занимаемый им пост, выбежал посмотреть не столько на меня, сколько на... тарантас. Мы подъехали к юрте, предназначенной для приезжих. Здесь приезжие дожидаются, пока «ха» (чиновники двора «нойона») не доложат своему повелителю о приезжих. Юрта грязная. Н стене над кроватью — «эрени» (шаманские идольчики). Пока «ха» ходил с докладом, другие его коллеги потчевали нас монгольским чаем. Но вот «ха» вернулся, и мы отправились.

Юрта «нойона» убрана роскошно. Большая, светлая. «Бурхан-шире» (специальный стол для божков — «бурханов» — с резными украшениями).

При моем появлении все чиновники встали, кроме самого «нойона» и его семьи.

Тут же в юрте находился молодой русский купчик Садовский, который, к несчастью, уже успел преподнести «нойону» бутылку спирта, подкрашенного бальзамом.

«Олбук» был для меня приготовлен напротив «нойона», но

ниже. Это должно обозначать, что он считает себя выше меня. Такого пренебрежения к себе как «начальнику Засаянской экспедиции» (как значилось в моем паспорте на монгольском языке) я никак не мог позволить и, поздоровавшись, подтянул «олбук» выше. Князец испугался, как бы я не сел выше него, и остановил меня. Подтянув коврик на уровень с ковриком «нойона», я сел. Начались обычные расспросы: хорошо ли я еду и т. п., и контрвопросы с моей стороны: хорошо ли хранится у него скот.

После этого Макар начал разворачивать заготовленный для «нойона» от меня подарок: роскошный кувшин с рюмками на подставке из польского серебра и с таким же подносом... Все жадными глазами впились в подарок. «Нойонша», гладившая на гладильном столике, оторвалась от работы и делилась какими-то замечаниями с мужем. Но вот подарок с неизбежной бутылкой коньяку был поднесен «нойону».

— Коробку, коробку давай, — потребовал «нойон» коробку с ватой, в которой были упакованы рюмки.

Дали ему и коробку. Все дивовались, разглядывая подарок. «Нойон», извинившись, что своя «арага» еще у них не поспела, попотчевал меня чашкой псевдо-коньяку, поднесенного ему Садовским. Не пить нельзя было. Я глотнул и почувствовал, как у меня обожгло все горло.

Начался разговор. Сначала мне как человеку, приехавшему из далеких стран, был предложен вопрос: будет ли война? Успокоив его на этот счет, я ждал новых вопросов.

Кое-кто из чиновников был пьян, сам «нойон» — парнюга лет двадцати — двадцати двух, с добродушным прямым лицом — был веселенький.

— А правда ли, что у вас, кто пользуется землей, тот платит за это в казну?

Я подтвердил.

— А почему же ваши нам ничего не платят, хотя пользуются нашей землей?

Вот оно что! Я, к счастью, уже начитался дел в Усинском пограничном управлении и без заминки ответил:

— Должно быть, по дружбе двух великих государств и потому, что и ваши промышленники, охотясь в России, ничего за право охоты не платят.

— Но они бажинов (домов) у вас не строят...

— Это все равно... Впрочем, в трактатах об этом должно быть сказано, — уклонился я от ответа на щекотливый вопрос.

После этого беседа перешла на другие темы, главным образом на медицинские. Этими вопросами сойоты всегда очень сильно интересовались, считая при этом каждого русского если не врачом, то полуврачом. Этим не преминули воспользоваться русские торгошники. В отличие от целого ряда тюрко-монгольских и монгольских народов сойоты признавали прививку оспы и це-

лыми семьями ее прививали. Русские купцы ввиду этого запаслись детритом и за каждую прививку брали с сойотов по овце. Говорить не приходится, что никто из орудовавших в Сойотии Колупаевых и Разуваевых не интересовался, свежий ли детрит или нет. Они рассматривали детрит лишь как ходкий товар и сбывали его, как сбывали всякий гнилой товар. Мало того, если спрос превышал предложение, если детрита было мало, а желающих его привить много, в пузырек с детритом вливался глицерин,— и торговля процветала. О каких бы то ни было предосторожностях, о дезинфекции инструментов и т. д. никто из этих оспопрививателей не только не думал, но и сам не знал о них, и бывали случаи, что оспа прививалась сифилитику, а затем этим же непродезинфицированным пинцетом — здоровому.

В беседе о врачевании один из пьяных чиновников задал, как ему казалось, остроумный вопрос: могут ли русские врачи желтые, испорченные зубы превратить в белые, здоровые?

Я толком не разобрал, что ему на это ответил мой переводчик. Пьяный не унимался.

— А можно ли седые волосы превратить в черные?

Макар окончательно обозлился.

— Незачем такими вопросами такого ученого человека беспокоить. Зайди ко мне в палатку, я тебе их вымажу деттем, будут черные...

Все присутствовавшие разразились хохотом. Смущенный чиновник ступешался.

После повторного угощения все этим же псевдо-коньяком, когда я уже собирался уходить, «нойон» расспрашивал, посетил ли я его еще раз, поеду ли в Улясютау, не заеду ли на перепутьи к нему.

Провожал меня в мою палатку «джелан», у которого я просил, нельзя ли мне на несколько часов доставить для ознакомления карту Сойотии, имеющуюся в «чезане» (управлении). Мне хотелось выяснить, как сами сойоты определяют границы своей страны. «Джелан» сначала обещал, но после заявил, что на это требуется разрешение «нойона». Вскоре «джелан» сообщил мне об отказе «нойона» в разрешении на том основании, что карта не может быть для меня интересна, так как отношения с Россией в настоящее время дружественны. Получалось впечатление, что если бы была война с Россией, то карта мне могла бы быть нужна, и тогда он ее дал бы...

Впоследствии мне удалось достать карту, нарисованную не на бумаге, а на какой-то материи. Эту карту я по возвращении из экспедиции передал в музей Восточно-Сибирского отдела Географического общества в Иркутске.

Власть «амбын-нойона» наследственна в его семье так же, как власть «огурды» («ухереде» — начальник «хошуна»), «джянги» (начальник «сумо») и «кунду» (помощник начальника «сумо»).

Сын этого «нойона», мальчик шести-семи лет, воспитывался

так, что он не мог в будущем не стать деспотом. Он, невзирая на лица и чины, при малейшем сопротивлении в исполнении его капризов лупил всех палкой. Все, что бы он ни пожелал, выполнялось беспрекословно.

За время экспедиции я посетил многих «огурд», непосредственно подчиненных «амбын-нойону». Каждый «хошун», как я уже упоминал, возглавляется «огурдой». Исключение составляет «Оин-хошун», к которому принадлежал посещенный мною «амбын-нойон» Торджи, унаследовавший свою власть от своего отца Улай-Бачира.

В этом «хошуне» «огурды» нет. Его заменяет «хошун-джелан».

Ставка сальджакского «огурды», которую я также посетил, находилась в долине р. Эртне. Когда я подходил к его юрте, все, в том числе и сам «огурда», выбежали из юрты посмотреть на приближавшегося к ним заморского зверя...

Как только «огурда» сообразил, что я могу увидеть его, он юркнул обратно в юрту, а за ним все его чада и домочадцы, а когда я переступил порог юрты, он уже важно сидел на «олбуке» в красном «тогырзаке» (головной убор), в прыжной, но шелковой шубе. Место мне было отведено прямо против него.

Поздоровались, «потабачились» (я, закулив трубку, поднес ему, он дал мне табакерку понюхать), и мой переводчик преподнес ему от меня подарок: ружье монтекристо.

Он тотчас же просил показать ему, как оно заряжается.

Юрта «огурды» — непрезентабельная. Она хуже обставлена, чем у многих ойнарских сойотов. Жена «огурды» и дочь четырнадцати-пятнадцати лет еще кое-как одеты, а мальчик, сын, ходит как мать родила. Мать тут же при всех ласкает его, касаясь детородных частей и подшучивая: «Оторву их у тебя»...

Разговор сначала не клеился и оживился лишь тогда, когда я сказал ему, что, по рассказам, он принадлежит к очень старинному роду.

Он подтвердил, сообщив при этом, что некогда «главная печать», находящаяся теперь у «амбын-нойона», принадлежала его роду, но один из его предков переселился на ту сторону Танну-Ола (Горный хребет), а «печать» туда не может быть переправлена, и поэтому она перешла в род ойнаров.

Посетил я и тоджинского «огурду», которого ставка находилась в долине р. Бей-хэма. У него я наткнулся на грязного старика Ашак-мерина, бывшего «огурду», лишившегося своего звания по довольно курьезному поводу. Он должен был сопровождать «амбын-нойона» в Улясютау, куда тот отправился для сдачи ясака. Ввиду того, что при этой сдаче нужно давать взятки приемщикам, а иной раз и подвергаться телесному наказанию за доставление малоценных мехов, Ашак-мерин уклонился от сопровождения «нойона», сославшись на тяжелую болезнь. Привезенные в Улясютау меха оказались недоброкачественными;

«дзяндзюнь» (губернатор) рассвирепел, и «амбын-нойон», желая хоть сколько-нибудь сгладить свою вину, заявил, что плохое качество пушнины доставлено потому, что тоджинский «огурда» был смертельно болен. Чиновники в Улясютау из этого заявления сделали вывод: если кто смертельно болен, тот умирает, и, вычеркнув Ашак-мерина из списка живых, по закону передали его чин его наследнику-сыну. Но один сын успел умереть, умер и другой, в связи с чем старика обвиняли, что это он своим ложным заявлением накликал смерть на детей; чин «огурды» перешел к родственникам, а Ашак-мерин — живой мертвец — продолжал жить. Он окончательно обеднел. При нем жил внук, по закону — будущий «огурда», но и он был в полном загоне: ходил босиком, в обтрепанной шубе. Жена старика обращалась с ним очень плохо.

Тоджинский «огурда», добродушный, приветливый человек, жил, как и другие тоджинцы, не в войлочной юрте, а в «алачих» (берестяной), обставленной так же, как войлочные юрты у зажиточных ойнарских сойотов, но очень темной. В войлочных юртах довольно много света проникает через дымовое отверстие сверху юрты. «Алачих» построен в виде конуса, дымовое отверстие небольшое, и в юрте полутемно.

Разговор с этим «огурдой» не представлял никакого интереса, и я его не привожу. Совершенно иначе, чем «амбын-нойон» и все другие «огурды», держал себя «огурда» «Та-хошуна» (по р. Кемчику), как раз во время моей экспедиции добившийся коралловой шишки — высшего чина в Сойотии, не подчинявшийся «амбын-нойону», хотя *de jure* обязанный ему подчиняться, но добивавшийся и юридического оформления самостоятельности и непосредственного подчинения ему «Та-хошуна». А так как главным моментом в решении этого вопроса были размеры взяток, даваемых в Улясютау и чиновникам и самому «дзяндзюню», то «огурда» наложил на подведомственных ему сойотов такие налоги, что стон стоял по всему Кемчику. У этого «огурды» были свой «чезан» (управление) и свои порядки.

В тот день, когда я посетил его, мне предстояло по маршруту проехать еще двадцать пять километров. Хотелось засветло доехать до новой стоянки, и я торопился. Но чиновники «чезана» не торопились. «Чезан» помещался в юрте, сплошь уставленной шкатулками, в которых хранились дела. Началась обычная канцелярщина: кто, откуда, по какому делу, зачем мне нужно видеть «нойона» (так его величали). В итоге мне предложено было обождать. Я подождал пять, десять минут, но чиновник оставался в «чезане» и не шел с докладом к «огурде». Выйдя из терпения, я заявил, что ждать я больше не могу и что, если он не доложит сейчас о моем приезде «нойону», я уеду и письменно сообщу «нойону», почему я его не мог посетить.

На это чиновник вполне резонно и тактично заявил мне, что в «чезане» знают, когда нужно доложить «нойону».

Но минут через пять, когда я уже собрался отказаться от посещения, он, надев шапку с шишкой и павлиньим пером, пошел с докладом.

Вернувшись минут через десять, он начал рыться в бумагах, разыскивая копию моего паспорта. Это длилось не менее десяти минут, после чего я был спрошен, какой я национальности.

— Поляк,— ответил я.

О такой национальности ни один из присутствовавших чиновников не слышал. Желая все-таки ориентироваться, с кем они имеют дело, чиновники продолжали допрос.

— А какой ваш родной город?

— Варшава.

Недоумение от этого ответа не рассеялось. Наконец один из них догадался спросить:

— Какого государства вы верноподданнейший?

Надо было ответить, что такого государства нет, но я опра-  
ничился ответом:

— Польша входит в состав русского государства.

Чиновники успокоились и повели меня к «нойону». Новый «нойон» перещеголял в убранстве юрты своего бывшего начальника. Юрта кругом обвешана кошками, сверху прикрытыми сукном, пол устлан такими же кошками и коврами. Столики, на которых установлены «бурханы», блестят, также блестят и сами боги.

Когда мы вошли, «нойон» один во всей юрте важно сидел с правой стороны от входа, в самой глубине юрты рядом с богами; мне было предложено место прямо против него. Только после того, как мы обменялись первоначальными приветствиями, в юрту вошли чиновники и расселись, строго соблюдая чины при этом рассаживании. Взоры всех были подобострастно направлены на «нойона». Он вынул табакерку и передал ее мне, я ее подержал несколько секунд в руке и вернул ему. Обряд обмена «трубкой мира» был этим завершен. «Ха» поставил предо мной маленький столик; принесли чашку монгольского чаю и нарезанный кусками «быштах». Я вручил ему подарок: надувную подушку, которая его очень заинтересовала, и дюжину фотографических снимков, сделанных мною в Сойотии. Внимательно осмотрев карточки, он недоуменно спросил: зачем они мне? Я объяснил. При объяснении он только утвердительно покачал головой. Жадности, обыкновенно проявляемой сойотскими чиновниками при получении подарков, в нем не было заметно. Спокойно, с достоинством он передал полученные подарки «ха», и тот их немедленно унес. Словоохотливостью «нойон» не отличался. Я поздравил его с «чином» и передал ему закуренную папиросу. Он извинился, что не курит, и, словно воспитанный при английском королевском дворе, попросил разрешения передать папиросу старшему «джянге». Этот «джянга», принимая папиросу, почтительно склонил голову. Все было, как в «лучших домах», и я, вероятно, ушел бы с убеждением, что этот князек

полностью овладел этикетом и внешней культурой, но ему пришлось высморкаться. Он наклонился. Близ сидевший чиновник приподнял кошму, «нойон» прижал пальцем ноздрю и высморкался так, что меня чуть не стошнило. После этого он вытер пальцы о полу шелкового халата...

Говорить с ним было не о чем. Я распрощался, ушел, а к нему тотчас же ввалилась целая толпа чиновников. Не успели мы еще свернуть палатки, как он уже, окруженный чиновниками, проехал мимо нас верхом.

При встрече с ним сойоты падали ниц.

По рассказам, этот новоявленный «нойон» был жестоким деспотом. За малейшееслушание или невыполнение его приказаний в назначенный им срок виновные, будь они даже высшие чиновники, подвергались телесному наказанию.

Кроме «Та-хошуна», не были подчинены «амбын-нойону» два «хошуна»: Мады и Бейзы, подчиненные монгольским «уванам».

В состав «чезана» входили следующие чиновники:

1) «хошун-джелан» — ведающий административными делами «хошуна»;

2) «мерин» — ведающий судебными делами и делами иноплеменников: монголов, русских, китайцев и других, проживавших в пределах «хошуна»;

3) «бичетчи» — писарь, секретарь;

4) дежурные чиновники, присылаемые из «хошунов»: Оин, Сальджак и Тоджи. «Хошуны»: Хозут, Та, Бейзы и Мады не присылают дежурных в «чезан». За неприсылку чиновников на дежурство в «чезан» не приславшие их платили штраф, который распределялся между дежурившими за них чиновниками.

Каждый «хошун», как я уже упоминал, делился на «сумо». Возглавляли «сумо»:

1) «джянга» — начальник «сумо», ведавший отношениями между своим «сумо» и остальными, входящими в состав «хошуна». Он же отвозил в ставку «амбын-нойона» собранный в «сумо» налог («албан») и, по требованию «нойона», должен был сопровождать его в Улясютау для сдачи «албана»;

2) «джелан» — чиновник особых поручений при «чезане», получающий свое звание и лишаящийся его по усмотрению «амбын-нойона». Функции «джелама» временные, длятся лишь до выполнения возложенных на него поручений. Во время отсутствия «джянги» «джелан» выполняет его функции.

3) «сумо-тарга» — рассматривающий и решающий по дознаниям, произведенным мелким чиновником «арбана» — «арбан-тарга», простейшие дела, как кража, в совершении которой вор сознался. Более сложные дела передаются им «кунду»: Он же является начальником над «бажка» — сборщиками податей и одновременно полицейскими, в обязанность которых входит поимка преступников, доставление их к «сумо-тарга» и к «кун-

ду». По закону как «сумо-тарга», так и «арбан-тарга» — выборные должности.

Для их избрания должен был созываться «чеш» — собрание. Фактически уже во время моей экспедиции их назначение производилось несколькими влиятельными в «сумо» и зажиточными чиновниками, а масса только впоследствии узнавала об этом мнимом избрании.

Кроме перечисленных чиновников, в каждом «сумо» было еще несколько «бичетчи» — писарей, лиц, вообще не облеченных никакой властью, но от времени до времени командируемых по делам. В этих случаях, в пределах данного им поручения, они могли пользоваться настолько большими полномочиями, что порой их юрисдикции подлежали даже «джянги».

Для полноты необходимо упомянуть еще о «качега» — стражнике при «амбын-нойоне», «огурдах» и «чезане», исполнителе всех черных работ. «Качега» при амбын-нойонском управлении не постоянный. Три вышеперечисленных «хошуна» поочередно командируют в «чезан» людей для выполнения этих функций.

Управление «Бейзы» и Мады-хошунов» мало чем отличалось от вышеописанного. Функции «огурды» в этих «хошунах» исполнял присланный «уваном» чиновник — «тарга», которого сойоты называли «тарга-нойон», функцию «джянги» выполняли «джейсаны». К сказанному нужно прибавить, что в делах «хошуна» «хошун-джелан» и «мерин» считались выше «джянги», в то время как в делах «сумо» «джянга» считался выше их.

Как видно из всего вышесказанного, в Урянхайской земле в то время отсутствовал принцип разделения власти. Во многих случаях административный чиновник одновременно выполнял функции судьи.

Суды были и единоличные и коллегиальные. Подсудность дел обуславливалась не местом совершения проступка или преступления, а местом причисления преступника. Совершивший преступление подлежал суду чиновников исключительно своего «сумо». Пойманный за пределами «сумо», он под караулом «арбан-тарга» или «бажка» препровождался в место своего причисления.

По неотложным делам суд и расправа производились немедленно.

Вор тут же в присутствии всех наказывался телесно, и на него тут же налагалось материальное взыскание в пользу потерпевшего. Более сложные дела разбирались на «чеше» — съезде чиновников всего «хошуна». Для решения дел, в которых были замешаны члены различных «хошунов», устраивались съезды девяти «хошунов» — «тос-хошун-чеш», на которые съезжались специально командированные каждым «хошуном» чиновники. Эти «чешы» происходили на «оттых-таше» по Улу-хэму (Большому Енисею), как центральном пункте для всех «хошунов».

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

### ПОДАТИ И ПОБОРЫ

Государственная подать,— сообщал я в отчете Восточно-Сибирскому отделу Географического общества в 1903 г.,—взыскивается с сойотов в раз навсегда установленном с каждого «хошуна» размере. Каждый «хошун» производит в присутствии «огурды» раскладку по «сумо», причем руководствуется представляемыми «джянгами» списками с указанием на имущественное положение каждого из потенциальных плательщиков. Сбор податей в основе подходящий. Неимущие совершенно освобождены от взноса, состоятельная семья платит 3 соболя. Несколько семей ниже средней зажиточности составляют вместе один податной пай, причем на долю каждой такой семьи приходится не менее 10 белок. Собранную пушнину «джянга» представляет «огурде», в присутствии которого производится подсчет и на каждой шкурке отмечается, от кого она получена. Это делается для того, чтобы знать, с кого взыскивать при забравке пушнины в Улясютау. Привезенную «джянгами» подать «огурды» отвозят «амбын-нойону», у которого производится вторичная проверка, а затем уж вся пушнина доставляется «амбын-нойоном» в Улясютау. Здесь прием производится специальными приемщиками, для которых он является выгоднейшей из статей: их одаривают, чтоб они при приемке не доводили требований до крайности. На покрытие расходов на эти одаривания и вообще на подношения чиновникам производятся особые поборы, ничего общего с государственной податью не имеющие, так называемый «ундрюк». Для характеристики «ундрюка» и отношения к нему сойотов привожу один из известных мне случаев, в высшей степени характерный во многих отношениях.

Некто Ак-хам из «Бейзы-хошуна» платил ежегодно 10 лан «ундрюка», что считал вполне соответственным своему имущественному положению. К несчастью, три его брата, один вслед за другим, обеднели, и побор с Ак-хама постепенно увеличивался.

30 лан он еще платил, но когда пришлось платить 40, ему это показалось уже слишком, и он отказался. Приехавшему от «тарга-нойона», как бейзинцы называют «тарга», присылаемого монгольским князем для управления ими, он объяснил: что «ундрюк» не «албан»; что взнос «ундрюка» несколько не обязателен; что если они, сойоты, и платят его, то исключительно из уважения к труду, заботам и хлопотам чиновников; что оценка этих трудов должна принадлежать подчиненным; что «тарга», настаивая на 40 ланах, ставит самого себя в неловкое положение и что, если будут настаивать на том, чтоб он платил непременно 40 лан, он не станет платить и прежних 10.

Посол («ильджи») вернулся ни с чем; были посланы другие «ильджи», но также безуспешно. Тогда «тарга» созвал на совещание «джейсанов», и было постановлено арестовать Ак-хама и привести его к «тарга». С этим постановлением не был согласен один из «джейсанов», который в частном разговоре выразился, что в таких случаях гораздо удобнее прибегнуть к старинному сойотскому обычаю «туткуш», по которому человек, сознающий свое право на что-либо, в праве распоряжаться силой: что он, «джейсан», поймал бы любимого верховика Ак-хама, и тогда последний сам придет к «тарга».

Узнав об этом, «тарга» призвал к себе «джейсана» и возложил на него исполнение этого плана, дав ему в помощники одного из мелких чиновников. «Джейсану» не трудно было захватить коня, и, исполнив это, он отправился в обратный путь. Но далеко ехать не пришлось. Хватившись, что лошадь утнана, Ак-хам, захватив с собою двух сойотов, погнался следом за похитителями и, нагнав их, потребовал возвращения лошади. Те возвратить отказались. Тогда Ак-хам один, — спутники его перетрусили, — бросился на чиновников с палкой, сшиб их с коней и, избив до полусмерти, отобрал коня. Избитые и окровавленные, явились посланные к «тарга» и рассказали о случившемся. Тогда постановлено было взять Ак-хама силой, для чего в его улус было командировано двенадцать человек, которые, заехав к нему как гости, врасплох набросились на него, связали, заковали в ручные и ножные кандалы и отвезли к ставке «тарга». Здесь он в течение двух месяцев подвергался пыткам; лошадь его была взята «тарга», часть скота пошла на удовлетворение потерпевших чиновников и на покрытие взыскиваемого «ундрюка».

Все это так повлияло на Ак-хама, что он впал в меланхолию. Сидел по целым дням молча, углубившись в себя, не отвечая на вопросы, не проявляя ни малейшего интереса ни к чему, что вокруг него происходило.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

### ЖИЛИЩЕ И ЕГО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

По этому же отчету передаю данные о жилище, одежде и пище.

Улухэмские сойоты по преимуществу скотоводы, кочевники, и расположение их улусов обусловливается потребностями скотоводства; зимники обыкновенно ставятся на южных склонах гор, где возможно, защищенных лесом; летники поблизости от воды, осенники и весенники в зависимости от состояния трав. Расстояние между улусами находится в строгой зависимости от размеров стад сойотов, живущих в улусе. Чем зажиточнее глава улуса, тем соседний улус дальше; бедные улусы лепятся теснее друг к другу. Это обусловливается количеством нужной для скота травы. При въезде в улус сразу бросается в глаза одна юрта—больше и как бы прочнее остальных. Это юрта богача, от имени которого улус получил название. Возле такой юрты ютятся три, четыре, редко больше, юрты бедняков, пользующихся лошадьми и рогатым скотом богача по мере нужды и являющихся (по мере потребности в них) пастухами табунов «бай кыжи» (богача) или его «эджим» (товарищами-слугами). Юрты («уҕ») улухэмских сойотов не представляют ничего оригинального. Это обычная куполообразная войлочная юрта ското-вода-монгола, с дверью—у улухэмских на юг, у кемчикских—на юго-восток. Не останавливаясь на расположении юрт, вполне точно описанном Е. К. Яковлевым, отмечу лишь, что в убранстве юрты огромную роль играет зажиточность юртохозяина. У богача—«бурхан-шире» (жертвенник), «бурханы», всевозможные «абтыри» (ящики), «харджак» (шкатулки), кувшины с резьбой из польского серебра поражают своим богатством; у бедных, кроме необходимых для перекочевок ящичков да низенькой широкой койки, редко что найдешь в юрте. Гигиенические условия жилища оставляют желать очень многого. Дым от очага ест

глаза; снизу кошм, покрывающих юрточные решетки, обдает ноги холодом; во время ветров, очень сильных в степи, юрту сносит совсем, а в кошмах и мехах, разостланных на полу и на постели, нередко кишмя кишат вши — страшный бич сойотов. При юртах обыкновенно бывают загоны для рогатого скота, телят, овец и коз, а у более зажиточных — амбары, в которых хранится хлеб.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

### ОДЕЖДА И НАРЯДЫ

Хотя и принято считать, что костюм у сойотов представляет собою нечто, очень мало поддающееся изменениям, однообразное и по покрою и по материалу, нечто, в застывшей и в раз навсегда установленной форме переходящее из поколения в поколение, но на деле это далеко не так.

Костюм сойота претерпевает те же изменения, какие претерпевают все другие стороны его быта. Лет за сорок—пятьдесят до моей экспедиции были во всеобщем употреблении не овчинные шубы, какие носили на всем протяжении скотоводческого района, во время моей поездки, а козлиные. Мужские шубы либо ничем не оторочены, либо окаймлены узкой полоской плиса; полстолетия тому назад оторочка делалась одинаково и у мужчин и у женщин и шубы оторачивались козлиными лапами. Покрой женской шубы еще недавно был тождествен с покроем шубы качинок, подол шубы изнутри стягивался в сборки протянутыми жилами; теперь об этом знали лишь дряхлые старухи. Такие шубы исчезли, и их сменили шубы монголо-бурятского покроя. То же приходится сказать и о других частях одежды. В китайской стене, в виде пограничных монгольских пикетов отделявшей сойотов от остальных племен, подвластных тогдашней «Небесной империи», и отделявшей их всех толщей Саянов от России и родственных сойотам качинцев, сагаев и т. д., — пробита брешь, и Урянхайская земля являлась объектом всевозможных влияний, рынком, на котором происходила молчаливая, но упорная конкуренция китайско-монгольских купцов с русскими. Эта борьба, — в которой одна сторона добивалась цели дешевизной в ущерб качеству, другая — более прочным в правовом отношении положением в стране и более прочным и изящным по качеству товаром, — налагала резкий отпечаток на характер костюма; причем в то время как Россия своими товарами одевала по преимуществу бедноту, Ки-

тай доставлял материал для одежды богачей и чиновников. Не менее влияния оказывало и соседство других племен, преимущественно монгольских или монголоидных. Если к этому прибавить, что быт и занятия жителей различных районов, как это всегда бывает, влияют на тот или другой характер и покрой одежды, что в пределах одного района на costume отражаются зажиточность, звание, занятие, то получим представление о существующем в костюмах разнообразии.

Обычный костюм улухэмского сойота состоит из «ойтон» — овчинной шубы со стоячим воротником, с плюсовой опушкой по разрезу и подолу. По покрою он приспособлен к верховой езде, то есть с широким и назади слегка удлиненным подолом; низкий стоячий ворот застегивается на середине шеи, а затем халат застегивается у ворота и подмышкой правой руки. Шубу подпоясывают опояской («кур») из цветной бязи. «Чугур» — бязевые штаны, — а у самого бедного населения — овчинные, самого простого покроя, сшитые лишь с одного края, с оставлением посередине некоторого пространства несшитым. «Коилен» — бязевая рубашка, сшитая в виде распашонки. Употребление ее самыми бедными сойотами признается излишним. «Халбах-нюрт» — мерлушечья шапка, крытая сверху бязью. «Идик» — обувь, с поднятым вверх носком, обыкновенно на кошемной подкладке, на толстой подошве, снизу кошемной, внутри камышевой. «Ук» — кошемные чулки. Костюм женщины ~~очень~~ мало отличается от костюма мужчины. Главное отличие — это украшения на шубе. Женская шуба обыкновенно покрыта «талембо». Стоячий ворот обшит узкой полоской черного плюса, затем более широкой полоской цветной материи, далее следует узкая полоска красной материи и, наконец, узкая полоска шелкового тканья цвета радуги. Разрез и подол обшиты широкой каймой черного плюса и узкой красной материи; на высоте колен у женщин свыше четырнадцати лет, а по другим объяснениям, с момента появления менструаций, вдоль всего халата идет полоска цветной материи, сверху ее полоска красной, а снизу — шелковой материи цветов радуги. Отвороты на рукавах из мерлушки. Детский костюм только размерами отличается от взрослых.

Костюм лам отличается только цветом от костюма «каракижи» (черни). Ламам разрешается носить костюм исключительно желтого, красного и лилового цвета.

Описанный костюм — зимний, но летний и весенний почти от него не отличаются. Бедняки носят все те же длинные шубы и овчинные штаны и лишь в случаях нестерпимой жары либо обматывают шубу вокруг пояса, либо сбрасывают ее совсем и ходят в одних только коротких штанах. Женщины, более стеснительные, остаются в шубах, обмотанных вокруг пояса. Дети в большинстве случаев бегают как мать родила. У средне-зажиточных и богатых овчинные «тоны» заменяются «тонами» из бязи, «талембо» и даже шелку.

Чиновники поверх этих «тон» носят заимствованные у китайцев «кантазын» (камзолы-безрукавки), летом шелковые, зимой меховые. В дождливое время сойоты поверх «тон» надевают плащи из красного верблюжьего сукна («шекпен») с разрезом назад или комешную куртку («кэбэнэк»). Костюм охотников в описываемом районе мало чем отличается от костюма остальных сойотов. Они одевают поверх штанов лишь наколенники из козлиной шкуры («ивдекшин») и подпоясываются не бязевой, а либо просто ременной опояской («багкур»), некогда бывшей во всеобщем употреблении, либо опояской из передних ног с копытцами дикого козла («халыр-кур»).

Необходимой принадлежностью костюма мужчины является нож («бичек») либо местного, либо китайского изделия, огниво («отгык»), трубка («танза») или табакерка («хургэ»), щипчики для выдергивания волос из бороды («ислик»), у женщины игольник («инэлик»), у лам, сверх перечисленного, «эрэгэ» — четки. Старинный костюм у мужчин исчез бесследно, у женщин, более консервативных по натуре, часть его еще сохранилась в виде головного убора («баштанга») и свадебной фаты («тумалай»), описание которых я оставляю в стороне, так как они описаны у Яковлева.

Изготовлением одежды заняты исключительно женщины.

Волосы на голове мужчины спереди сбривают, а сзади заплетают в одну косу; на бороде выщипывают, а усы сверху подбривают, так что верхний край составляет прямую линию. Ламы бреют всю голову. Это делают и женщины, давшие во время болезни обет сделаться ламами, так называемые «увасанчи», не говоря уже о женщинах «овраках-шиваганчи». Остальные женщины заплетают волосы: замужние в две косы, девушки в три, соединяющиеся затем в одну. Как мужчины, так и женщины вплетают в косы шелковые черные нитки и прикрепляют искусственную косу из черного шелка. Из косметики молодые сойотки употребляют растение «энгесхэ» (определить которое до сих пор не удалось), которым красят щеки.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### ПИЩА И ПИТЬЕ

Главной пищей для большинства сойотов является монгольский кирпичный чай, сваренный на молоке с солью. Скотоводы и занимающиеся земледелием пьют этот чай с поджаренным пшеном, всевозможными молочными продуктами, бараниной. На Кемчике и по Бай-хэму многим приходится ограничиваться рыбой, а беднякам даже различными кореньями, дикими растениями «шенне» (*Raeonia apomala*), «кандых» (*Erythronium dens canis*) и в качестве суррогата чая — «джирчлик-чай» (*Geranium sylvaticum*) или «чубре» — толченой корой лиственницы, которую иной раз добывают за сотни верст от места жительства.

Молоко во всевозможных видах считается почетным кушаньем. «Почтение выражается белым», — говорят сойоты. Свежее коровье молоко («сют») в сыром виде вовсе не употребляется. Кипяченое молоко пьют только дети. Взрослые употребляют кипяченое молоко только с чаем. Зимой молока мало. Обыкновенно коровы доятся только с весны и до осени.

В пищу, кроме коровьего, употребляется козье и овчье молоко, но тоже только вареное, в противоположность кобыльему и оленьему, употребляемому у тоджинцев в сыром виде. У ойнаров кобыльего молока не употребляют.

У тоджинцев на зиму молоко замораживается в чашах («чиренпаш»), деревянных кадках («тоскар»), берестяных туесах («об»), а оленье — в туесах, кишках, пузырях и брюшине. В них молоко держится всю зиму.

Козьего и овечьего молока не замораживают, так как козы и овцы ягнятся ранней весной и к осени уже не доятся. То же относится и к кобылам.

Бедняки держат замороженное молоко в юртах, богатые в амбарушках. Парное молоко сливается в чугунные чаши и немедленно варится. Бедняки сливают вместе коровье молоко,

козье и овечьё и вместе же варят. Ни сметаны, ни простокваши сойоты не знают.

Масло (у ойнарлов оно носит название «усь», у тоджинцев «сарых-джах») готовится из «уреме» (пенки). Вскипятив молоко, выгребают, не шевеля чаши, из-под нее огонь, дают молоку остыть и устояться и снимают сверху сливки и пенки железной лопаткой или, за неимением ее, рукой. Эти пенки («уреме») у тоджинцев складываются в «одуш» (берестяные корытца), у ойнарлов и кемчиктеров в «тепсе» (деревянные корытца) или в «хумчик» (у кемчиктеров) или «идыш» (у ойнарлов)—деревянные ведра с берестяными доньями.

«Уреме» считается особенно лакомым блюдом. Богачи высушивают «уреме» на солнце, разложив их на дощечках. Часто в середину между двумя ломтиками «уреме» вкладывается вареное в молоке просо («кадык»). Ойнары толкут высушенное «уреме» с черемухой.

Для приготовления масла «уреме» сначала разминают палками и руками в большом «тоскар» (выдолбленной тополевой посудине), затем сливают в чашу, в которую вливают небольшое количество холодной воды, и мешают веселкой («уреме-булгарняш»). Масло всплывает наверх, его снимают рукой или ковшом с небольшими отверстиями в какую-нибудь посуду, сжимают в комья, складывают в чашу и перетапливают на небольшом ~~огне~~. Во время топления масло размешивают железным или медным ~~ложком~~, а затем уже сливают в ведра. Масло повсюду готовится только из коровьего молока. Только в одном месте—на Баянголе—я видел приготовление масла из козьего молока. Его не смешивали с другим молоком для того, чтобы масло было белее.

При кипячении пахтание («ус-кюу») снимают веселкой или ковшом и сливают в дрянную посуду. Пахтания не едят. Оно служит лишь для смазывания вымени коровы и т. п. Бедняки с голодухи не брезгают и пахтанием.

Масло сливается в брюшину, пузырь или кишки исключительно бараньи или овечьи. При убое этих животных брюшина («хырын»), пузырь («сый») и кишки («шонджне») тщательно вымываются, надуваются воздухом и вешаются над костром. Чем лучше они «продымятся», тем они крепче. Только теплое масло можно сливать. Если слить холодное—брюшина отмокнет, если горячее—покоробится.

Брюшина, пузырь и кишки с молоком сверху завязываются жилами («сир»).

Масло едят с жареным толченым просом («хо-тара» у ойнаров и «чинго-тара»—у кемчиктеров), с жареным толченым ячменем («хорган-арбайнын-кулурыбле»), с жареным просом, с просовой кашей («кадык»).

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

### НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

По вечерам более пожилые в юрте слушали «тол» — речитативом напеваемые сказки, в большинстве случаев новейшего происхождения, на что указывает упоминание в них о ламах, «богдо», «тегенах» и т. д. У ойнарлов сохранились в этих сказках воспоминания об Амыр-Сане, сообщнике Шадырвана во время бунта монгольских князей. Молодежь по вечерам «флиртует» вне юрты.

Для ознакомления с народным творчеством сойотов я привожу ниже в русском переводе записанные мною пословицы, песни, сказки и сказания о зверях.

#### ПОСЛОВИЦА

На собачьей шее ремень не гниет,  
А за человеком долг не пропадет.

#### ПЕСНИ

(поет девица в ожидании возлюбленного)

На лугу лежала,  
Слышала-лежала,  
Огниво и нож загремели.  
На горе лежала,  
Слышала-лежала,  
Трубка и кисет загремели,  
Ехал — приехал.

#### II

(поет юноша)

Рысак голубой  
Рысью побежит,  
До подруги доеду,

• Бегунец голубой  
Скакать будет,  
У возлюбленной  
Ночевать буду.

### III

(поет юноша)

Будь здесь иноходец,  
Иноходью помчатся бы;  
Будь здесь красна девица,  
Нюхал бы, целовал бы.

### IV

Слышала ли ты, когда я шел,  
Видала ли, когда я, твой друг, приехал?  
Когда я скакал к тебе, ожидала ли ты?  
Когда я тосковал — знала ли ты?

### V

Через глубоководный Енисей  
Плыть мне али не плыть?  
К подружке, черной красавице,  
Доехать аль не доехать?

### VI

Переступистого коня и непереступистого  
Ты сделала непереступистым;  
Веселых черных девушек  
Ты сделала, что не ездят...

### VII

Рысака и не рысака  
Ты сделала, чтобы не бегал;  
Бывавшего и небывавшего  
Ты сделала, чтобы не бывал.

### VIII

Неужели шкура козла и козы  
Скоро порвется?  
Парень и девица  
Неужели скоро разлучатся?

### IX

(удальская)

Вечер — так вечер,  
Преступление — так моя вина;

Ночь — так ночь,  
А бунт — так мой грех.

Есть песни, тут же сочиняемые по какому-нибудь случаю.

## X

К острову подошел  
Обильный кормом Меджалых,  
С амбын-нойоном породнился  
Старик джелан-дядюшка.

## XI

Голубой соловей  
У ойнарского джанги,  
Сталь дляковки огнива  
У русского Андрея.

## XII

На Улу-хэм гляжу,  
Как на лежащий аркан,  
О девице-душе думаю  
Во сне и наяву.

### СКАЗАНИЕ О ШАДЫРВАНЕ

Лет 200—300 тому назад три монгольских князя (два «огурды» и один «дзяньдзюнь») задумали выйти из-под власти китайского богдыхана. Это были Шадырван—монгол, Амыр-Сана—улет и У-Дзяндзюнь—манчжур. У-Дзяндзюнь должен был сделаться ханом, а оба других заговорщика — министрами. Окончательные переговоры должны были состояться в день «Наира» (праздничное моление). Когда все уже между ними было условлено, заговорщики решили скрепить союз присягой, для чего обменялись друг с другом шейными иконами бурханов. Шадырван и Амыр-Сана действовали честно, а У-Дзяндзюнь вместо иконы передал им пустую шкатулку, в которой ранее хранилась икона. Сын Амыр-Сана заметил по лицу У-Дзяндзюня, что он что-то неладное замышляет, и умолял отца не доверяться ему, но Амыр-Сана так верил в дружбу У-Дзяндзюня, что возмущился высказанным сыном подозрением и, рассердившись, отсек ему голову.

А У-Дзяндзюнь, как только ушли Амыр-Сана и Шадырван, сообщил о заговоре письмом в Пекин богдыхану и оттуда получил указ: поймать обоих и доставить в Пекин.

Амыр-Сана случайно наткнулся на гонца, везшего этот указ, и, воспользовавшись тем, что гонец не знал его в лицо, прочитал указ и, послав гонца предупредить Шадырвана, сам скрылся в Россию.

Получив это известие, Шадырван собрался было тоже пробраться в страну «Ак-хана» (белого царя), но по дороге был

пойман и доставлен в Пекин. Амыр-Сана был лишь незаконно-рожденным сыном сестры Туватчи-хана, а Шадырван был из очень высокого рода. Такого человека и богдыхану не хотелось казнить. Три дня возили Шадырвана по всему Пекину в тайной надежде, что страх овладеет его душой и он попросит богдыхана помиловать его. Но Шадырван остался тверд до конца, и он был казнен при собравшемся народе. Три раза ударил палач мечом, прежде чем отпала его голова.

Узнав, что Амыр-Сана убежал в Россию, китайское правительство отправило посольство к царю с требованием его выдачи, но этому посольству сказали, что его не удалось разыскать. Впоследствии разнесся слух, что Амыр-Сана утонул в какой-то большой реке на севере. Туда были отправлены китайским правительством люди, чтобы удостовериться в этом. Но им ничего не удалось узнать. «Люди верят, — улыбаясь сообщил рассказчик, один из видных чиновников, — что Амыр-Сана до сих пор жив, но этого быть не может. С тех пор прошло уже триста лет, но его потомки до сих пор живут в России».

Все три заговорщика были необыкновенными людьми. Бывало, передают друг другу голыми руками раскаленную докрасна наковальню, кладут ее за пазуху, — и ничего им не делается, и шерсть на шубе не сгорает.

С тех пор у улетов выбрасывают незаконнорожденных детей из опасения, чтобы они, когда вырастут, не сделались подобными Амыр-Сана.

Другой рассказчик пояснил, что при присяге заговорщики не менялись иконами, а лишь, вынув иконы, лбами прикасались к ним. У-Дзяндзюнь приложился к пустой шкатулке; когда он приложился, звук получился не такой, как у других. На это обратил внимание сын Амыр-Сана и пытался предостеречь отца.

Третий рассказчик, передав в общем почти дословно то же самое, добавил: после того как Шадырвану отрубили голову, у жены Эджен-хана (китайского богдыхана) родился сын с красной полоской на шее. Амыр-Сана до сих пор жив, хотя, быть может, и в образе другого человека. Чингис-хан тоже не умер. Он лежит без дыхания, замурованный в какой-то пещере до той поры, когда наступит время и он вновь оживет и воцарится.

Наконец четвертый рассказчик — Ортун-мерин, самый развитой из встреченных мною сойотов, побывавший в Тибете, добавил следующие детали:

У-Дзяндзюнь, после того как он предал своих товарищей, немедленно переехал в другую местность, потому ли, что боялся мести, или потому, что Эджен-хан в благодарность за оказанную услугу дал ему повышение, — неизвестно.

Шадырвана Ортун-мерин называл Шидар-Урван. О его поимке он сообщил: один из солдат, отправленных для поимки Шидар-Урвана, увидев, что он ранен в голову и что из раны сочится кровь, разорвал свою рубашку и перевязал ему рану.

«Мне надо еще с тобой поговорить»,— сказал ему Шидар-Урван.

Когда Шидар-Урван уже был связан, к нему пришел этот солдат. Шидар-Урван снял с себя рубашку из черных соболей, подарил ее солдату и сказал: «В Пекине будут спрашивать, кто поймал меня; скажи, что это ты, и в доказательство покажи эту рубашку».

Когда Шидар-Урвана привезли в Пекин, Эджен-хан действительно начал спрашивать, кто его поймал. Каждый из посланных на поимку Шидар-Урвана солдат уверял, что именно он совершил этот подвиг. Тогда Эджен-хан обратился с этим вопросом к Шидар-Урвану. Он ответил: «Не знаю. Знаю только, что задержавший меня солдат снял с меня рубашку из черных соболей».

После этого Эджен-хан проверил это сообщение и предъявившего эту рубашку солдата наградил, назначив его заместителем Шидар-Урвана.

#### СКАЗКА О МОЛОДЦЕ ХАЙТЫКАРЕ

Жил-был некогда богатырь Хайтыкара. У него была мать Аджай-Бурул и младшая сестра Ирге-Джетчен. Его узда и седло были из золота и серебра, плетъ была с золотой ручкой, аркан свит из золотого ремня, шуба сшита из черного шелка, обувь из черных жил, опояска из черной китайской кожи, шапка из черного соболя. Перед его улусом подымалась посвященная Идыку серая сопка (Идык бора тэй), а в северной стороне в белом логу жил с тысячью ламами и десятью тысячами чиновников Атчиты-лама. Там же были две кумирни: большая и малая; молебны обыкновенно происходили в большой кумирне, а в малой служили мелкие ламы лишь по заказу. Имущества (у Хайтыкара) было выше плеча, скота выше головы — столько, сколько караганника в степи, а мяса было с гору. Вот какой знаменитый муж («эрлих ир») был Хайтыкара. А сам он был как десять тысяч людей, вместе взятых, а лицо у него средне-короткое («тундугур кызырширайлых»), черные усы величиной с клык, коса 50 саженой и такой же хребет.

Его конь верховой, стуча задними ногами, перебрасывал землю через гору, стоявшую сзади, а ударяя передними,— через стоявшую впереди. И было (у этого богатыря) сто восемь жен.

Однажды он отправился проверять табуны, собирая и сгоняя их в кучу за вересковой горой. Спереди южной горы сгонял он и проверял сиволегие табуны, а в степных ложбинах — каурых и желтых верблюдов. Среди тысячи верблюдов особенно выделялся выкормленный из рук черный «бура». Его-то (при проверке) не оказалось. Поехал Хайтыкара по холмам искать след; взбирался на высокие горы и наконец, прямо на севере, след разыскал. Едет по следу и видит, что он стал уже не более

следа лесного «бора толай» (сивый ушкан), а помет верблюда совсем высох. Поехал (Хайтыкара) дальше. Ехал, ехал... Прошло семь лет. След «бура» сделался уже хояином земли («джер незы»). Прошло еще шесть лет; след «бура», превратившись в чорта («аза»), ушел куда-то. Хайтыкара взобрался на вершину ключика Сюмбур, стал смотреть в подзорную трубу, а коня привязал к бело-красному дереву (Сендан (аган Саджан няш)). Смотрит и видит, словно на горизонте кружатся один вокруг другого два предмета: один белый, другой черный. (Увидел это Хайтыкара), сел на коня и помчался, не останавливаясь для ночлега, хоть и ночь наступала, и так ехал, не ложась спать. Так проездил он три месяца. (Наконец) в одном месте он остановился заночевать, спутал коня железными путами, снял седло, подостлал потник, вырвал с корнями и натащил длинные жерди, поставил их торчком, разложил большой костер, лег и уснул. Проснулся только на рассвете, закусил сахаром и печеньем; положил на коня широкий, как степь, потник, заседал его, надел подхвостник, на руку накинул петлю торчавшей в земле железной укрючины и, потащив ее за собой, поехал.

Едет, а навстречу ему на бело-желтом, как луна или солнце, коне — человек. Съехались они лицом к лицу. Встречный держал в руке березовую 60-саженную укрючину и, подъехав, ударил ею коня Хайтыкара по шее. То же сделал и Хайтыкара, и (богатыри) остановились.

— Ты кто такой?

— Я Ак-хан.

— А я Хайтыкара. Мой конь — Каткан-Кара, моя мать — Аджай-Бурул, а младшая сестра — Ирге-Джетчен. Живу на черной речке, в местности Карангыты, — вот кто я. Побивающий у себя чужие войска, — вот каков я. Ни задеть себя за локоть, ни наступать себе на ногу не позволяющий, — вот кто я. Побивающий у себя войска. Вот какой я человек.

— А я живу на белой речке. Моя жена — Тарига-ноган, в спорах не уступающий, за локоть не позволяющий себя задеть, в своей стране побивающий войска. Вот кто я. Ты куда едешь?

— Потерялся у меня — вот уж девять лет — трехлетний верблюд... А ты куда едешь?

— И у меня потерялся такой же верблюд. Не видел ли ты?

— Стоит.

— Где?

— Недалеко.

— Давай съездим, поглядим.

Отправились. Подъехав, увидели двух дерущихся «бура». Белый «бура» Ак-хана хватал зубами и сшибал с ног выкормленного из рук черного «бура».

— Пусть твой конь тебе не помогает, а мой — мне.

Оба слезли с коней, и каждый спутал своего железными путами.

— Давай разгоним сперва верблюдов.

Бросились в обе стороны, нарубили по пятнадцать лесин и ими разогнали верблюдов. «Ступай домой», — разогнали в разные стороны дерущихся. Верблюды зарычали и пошли каждый по направлению к своему дому, а оба богатыря приготовились к стрельбе и остановились.

— Ты первый будешь в меня стрелять или я в тебя?

Ак-хан ответил:

— Стреляй ты, — и расстегнул восемнадцать пуговиц.

— Я выстрелю в грудь хана стрелой с наконечником в четверть. Натяну тетиву покрепче и насквозь прострелю душу, легкие и сердце. На нижнем конце лука загремят шестьдесят драконов, на верхнем тридцать, на копье стрелы запылает огонь, на древке появится дым, — и начал натягивать, продолжая утрожать: — Насквозь прострелю и легкие и сердце.

И как начал натягивать лук с утра, так только вечером выпустил стрелу. Но стрела не могла прострелить груди Ак-хана, и копьцо разбилося вдребезги.

— Ну, теперь я буду стрелять.

Хайтыкара расстегнул пуговицы, а Ак-хан начал натягивать лук.

— На нижнем конце лука загремят шестьдесят драконов, на верхнем — тридцать, на копье стрелы вспыхнет огонь. Держись! — и выпустил стрелу. Но (и его стрела) не прошибла (грудь противника) и изогнулась.

— Нас и железо не берет. Кузнецы скованными ими стрелами смерти нам не причинят. Давай сразимся врукопашную, руками, вскормленными отцом и матерью.

Условились бороться на рассвете и разошлись.

Хайтыкара ушел в вершину черной реки, надел на себя боевую рубаху из кожи сохатого, рассчитанную на девяносто силачей, с трудом натянул железную обувь, завернул на макушке головы косу, и она казалась толщиной в вьючного черного верблюда.

Ак-хан ушел на устье той же реки, с трудом напялил на себя боевую рубашку, сшитую из кожи сохатого, и еле натянул железную обувь. Завил косу на макушке, и она оказалась толщиной с гору Бальджаглых-Боратэй.

На рассвете (первым проснулся Ак-хан) он вскочил.

— Ты мертвый или живой? (напустился он на противника). — Торопись.

Подпрыгивая и ревя, как порозы, со свирепыми взглядами, они набросились друг на друга и, схватив куда попало, сшиблись, как настоящие орлы.

Где были равнины — сделались горы; где были горы — сдела-

лись равнины, а они все друг друга сразить не могли и, севши, сказали:

— Не сможем побороть друг друга. Силы у нас одинаковы.

Сказав это, сцепились вторично и (снова) боролись три месяца. Тело и сила начали истощаться. У Хайтыкара из подмышек льется пот черной пеной, величиной с прехлетнюю корову. У Ак-хана трясутся поджилки. Он схватил Хайтыкара и перебросил его через семь холмов. Хайтыкара вскочил, схватил Ак-хана, повернул и так его ударил оземь, что черная земля задрожала. Затем, выколов ему один глаз и сломав руку, он выкопал яму в 60 саженой глубины и затолкал в нее Ак-хана.

— Теперь я, по обычаю, заберу весь твой скот и все твое имущество.

Ак-хан на это сказал:

— Я умираю, товарищ («эджим»). Мою жену люби, как свою, на моем коне ездь, как на своем.

Хайтыкара подрезал кожу на макушке у Ак-хана и, оторвав ее вместе с косой, заткнул себе за пазуху, затем подбежал к лошади, завладел ею и, взяв ее в повод, отправился на запад. Победил противника и едет, напевая сладкую и звонкую песню; завладел улусом и имуществом Ак-хана и едет, громко стуча по осыпям гор. И ехал он так, что земля из-под задних ног лошади перелетала через сзади стоявшую тору, а из-под передних — через стоящую впереди.

И подехал он к роскошному шелковому жилью Ак-хана и приблизился к такой большой белой юрте, что на девяносто лошадей ее не окружить. Перед юртой стояла железная коновязь с девятью отверстиями. Народ (увидел его) испугался и разбежался, а Хайтыкара, привязав коня к коновязи, зашел в юрту. С румянцем, как кровь, на щеках, с зубами, ровными, как мерка для лекарств, с косами толщиной в «тулунку», сидела жена Ак-хана.

— Я вас поглажу по щечке, — и, действительно погладив, он сел на восьминогую черно-пеструю скамью.

Жена Ак-хана наливает ему чай в тонкую фарфоровую чашку, кладет перед ним изюм, сахар, оказывает ему почет.

— Вот коса твоего мужа! — (с этими словами Хайтыкара) бросил (косу Ак-хана) его жене в подол.

А она, отвернувшись, плачет, но, обращаясь к Хайтыкара, улыбается.

— Я за тобой приехал, — сказал он ей.

После этого он составляет и рассылает грамоты и сзывает подданных. Те являютя, подносят ему по черному соболу и на круге «Манда» приносят жертву.

— Ну, здешние люди (обратился он к подданным), я вас забрал, царя вашего убил. Можете идти.

После этого он ~~пьянствовал~~ десять дней и жил с женой побежденного, как со ~~своей~~.

— Молоденьких жеребят без маток не убивайте. Этот скот — уже мой скот. Вы теперь мои подданные. Я среди вас одинок и сам сгоню и проверю скот. Вы перекочевывайте ко мне через месяц, а я уеду вперед.

Раньше, чем Хайтыкара вернулся в свой улус, туда пришел им выкормленный черный верблюд, и мать Хайтыкара обратилась к нему со словами: «(Видно) рожденный и жительствующий на западе Ак-хан убил моего сына Хайтыкара» и, добавив: «надо бежать», с плачем побежала, захватив с собой веревку в 60 сажень; взобралась на горку Боратэй, села и причитает: «Единственного моего сына не стало, и ничего у меня не осталось. Бедное дитя мое. Имущества у него было с гору, скота, как караганник... Что я теперь буду делать?» Сидит, причитает и вдруг слышит, как будто под землей кто-то стонет.

— Ты кто? — закричала она.

— Я рожденный и жительствующий на западе Ак-хан. Лежу я в яме в шестьдесят сажень глубины. Освободи меня из нее, спаси мою душу...

Она спустила один конец веревки в яму, другой подоткнула под ремень от стремени и, поехав, вытащила его из ямы.

— Меня убил твой сын с косою в пятьдесят сажень и с такой же шеей.

— Ничего, — ответила она, — я тебя возьму, а с сыном потихоньку справимся.

Сказав это, она увела его к себе домой, и оба выкопали под изголовьем постели яму в 60 сажень. Настанет ночь — лежат вместе, настанет день — он прячется в яму.

Приехал домой и сын и, привязав коня к коновязи с девятью отверстиями, вошел в юрту.

— Что, брат, так долго? — спрашивает сестра.

— С Ак-ханом боролся. Новую еще невестку привезу тебе. Ну, а скот, сестра, как? Благополучен ли? Я вот поеду на промысел, так ты уж понаблюдай за ним.

Сказав это, уехал в Алтайские горы за черными соболями, лучшими рысями, красными лисицами, синими волками, надев на себя лук из девяноста вместе сплетенных рогов «джимма» и из семи вместе сваренных чугунных чаш, стрелы и колчан.

В Алтайских горах он убивал черных соболей и лучших рысей, ловил синих волков и красных лисиц, на воде подкарауливал водяных животных, на земле — земных. Жирных зверей навьючивал на коня и покрывал ими не только седло, но и весь зад, вплоть до хвоста. На солнышке с южной и северной стороны, (весело) покрикивая, он развешивал мясо. Из крови зверей сделалось одно озеро, из помета — другое. Когда он приехал домой, ему навстречу выбежала большая желтая собака и начала ластиться к нему, а мать притворилась больной.

«Что же это мать хворает? Сверху не берет ее ни албыс<sup>1</sup>, ни шулус<sup>2</sup>, а снизу аза<sup>3</sup>. С чего это она хворает?!»

— Чем ты, матушка, больна?

— Старая болезнь возобновилась.

— А чем же, матушка, мой добрый отец тебя лечил?

— Перьями из-под крыльев птицы Хан-Херетты, живущей на юге. Их-то он прикладывал (мне к больному месту). Если можешь, сын, отстрели перья у этой птицы и доставь их мне.

— Поеду, матушка! А ты, сестра, наблюдай за скотом!

Мать, конечно, притворилась больною, чтобы известить сына.

— Эту ночь еще переночую дома, а утром, благо конь пойман, уеду пораньше. Как бы мать только не умерла.

Сказав это, он лег, но всю ночь не сомкнул глаз и на рассвете вскочил.

Вставши, спросил:

— Ну как ты, матушка, чувствуешь себя?

— Плохо! Поехал бы ты скорее, сынок!

Он поймал коня, надел на него золотисто-серебряную узду, накинул, как степь, широкий потник, взвалил на него золотисто-серебряное седло, подтянул все восемнадцать подпруг, на себя надел черную шелковую шубу, черную соболью шапку, с трудом натянул железную обувь, одел кольчугу («ху куяк»), взял лук величиной с черного порога, заткнул за пояс колчан и кольцеа стрел величиной с четверть и одел железные доспехи («ульдузун»). Затем напился чаю с сахаром и прикуской. Приготовившись совсем в дорогу, он заколол тридцать баранов и мясо их сжал как бы в одно большое стегно. То же проделал с тридцатью быками. Закинув (все это) за седло, он поехал на юг с такой быстротой, что земля из-под задних ног лошади перелетала через сзади стоявшую гору, а земля из-под передних перелетала через стоявшую впереди. Ехал он так месяц — 30 дней, два месяца — 60 дней, три месяца — 90 дней и заехал в страну, где жила его старшая сестра, превратившаяся в «бурхана», и зашел к ней в юрту. Сестра сварила чистый чай («чин шайны»), подала сахар, прикуску. Но он ничего этого не ест, торопится.

— Что ты так, братец дорогой, торопишься? — спрашивает сестра. — Благополучно ли все дома?

— Все-то благополучно, да вот у матери старая болезнь возобновилась. Вот я и еду за перьями из-под крыльев птицы Хан-Херетты.

— Это опасно, — сказала сестра, — у нее в клюве ядовитые клькы, а когти ее — словно меч палача. Лучше не ездй, — добавила она.

<sup>1</sup> Название нечистого духа.

<sup>2</sup> Ведьма.

<sup>3</sup> Чорт.

— Если мужчина, задумав что-либо, не доехав, вернется, он превращается в черного комолого порога. Не преграждай мне дороги, сестра. Я поеду. Мужчина должен родиться в юрте, а умереть в поле. Не преграждай мне дороги, сестра. Я поеду (повторил он).

— А я не отпущу!

— Я твоих слов и не нюхаю! («четка тырпас»!)<sup>1</sup>.

— Да там же непроходимый остров... Его как проедешь? Там переправа через кровавую реку Хан-Харан... Как через нее переправишься? Далее возвышающийся до самого неба утес... Через него как перевалишь? За всем этим — семиглавый змей... С ним как справишься? Ну, поехать, брат, поедешь, но как я узнаю, если ты погибнешь?

— Я укажу тебе, сестра, по чем ты узнаешь, — сказал он. — В твоей юрте перед очагом я воткну вещью стрелу («мерген окту»).

— А как же я по ней узнаю?

— Если я погибну в пути, стрела переломится пополам, если же я останусь жив, то и стрела будет цела. Ну, сестра, оставь грустные мысли и меня не задерживай.

Сказав это, он поехал и, подъехав к острову, соскочил с коня и выстрелил стрелой Хан-Хузули<sup>2</sup> так, что лес с обеих сторон обгорел и остров оказался насквозь простреленным. После этого он подъехал к кровавой реке, но, хотя он проехал и вверх и вниз по течению, нигде не нашел брода и никак ее переехать не смог. В это время он увидел в небе блестящего черного ворона.

— И не придумая, — обратился он к ворону, — как переехать эту реку.

— Вершина (верхове) ее недалеко, — ответил ворон, — она течет из медно-золотой чаши.

Услышав это, Хайтыкара поскакал и, доехав до медно-золотой чаши, спрыгнул с коня и пинком ноги ее опрокинул. От этого река начала пересыхать, на поверхности появились желтые косы. Тогда Хайтыкара переехал эту реку и, подъехав к синему утесу, соскакивает с коня, простреливает в утесе отверстие, через это отверстие едет дальше и приезжает в страну Хан-Херетты. «Вот так страна! — подумал он. — Но проехал же я через три отделявшие от нее препятствия». Едет он так около большого озера, где живет Хан-Херетты и подъезжает к берегу, на котором растут два выросших из одного корня железных тополя; на этих тополях птичье гнездо величиной с жильё богача. На этот тополь взползал семиглавый змей. Богатырь подбежал и отстрелил у змея все семь голов. «Ну и истребил я гадину!» — подумал он. Затем, изменив свой вид и вид коня, стал

<sup>1</sup> На твои слова я не обращаю внимания.

<sup>2</sup> Сказочник здесь впервые сказал название стрелы.

с конем взбираться на тополь. Взобравшись, он привязал коня и вошел в гнездо. В гнезде сидело семь черных девушек и парней.

Войдя, он поздоровался:

— Амыр.

— Ты какого царя подданный?

— Эрильджин-хана.

— А зачем приехал?

— Мать у меня больна, я и приехал убить вашу мать и взять перья из-под ее крыльев.

Одни из сидевших в гнезде плакали, другие смеялись...

— Чего вы плачете? — спросил Хайтыкара.

— Мать нас рождает каждый год, а семиглавый змей нас пожирает.

— Семиглавого змея-то я убил. Что мне дадите за это?

— Все, что хочешь, бери, — ответили. — Мать нас оставила, а сама на небо улетела за птицей.

— А как же она прилетает, когда возвращается?

— Сначала бывает ветерок, а затем град.

— Отчего же у нее такие слезы текут?

— Змей похищает детей. Вот и плачет. А когда ветерок дует, так это она крыльями машет. Она у нас страшная. Ты лучше себя и коня преобрази во что-нибудь.

— Ладно, — сказал он на это.

Вышел, коня превратил в старый лошадиный помет. Сам тоже принял другой вид, выкопал яму и лег в нее. Лежит и слышит: сначала подул ветерок, а затем повалил и град. Взглянул, а птица летит, спускается и, спустившись до гнезда, залетает в него.

— Вы живы? — (с удивлением) спросила она.

— Какой-то славный человек приехал с севера и убил змея.

— Убил моего лютого врага?! Куда же он делся? Догоните его...

Его позвали. Он вышел из ямы, входит в гнездо, здоровается.

— Ты кто будешь, молодец? — спросила птица.

— Я — Хайтыкара.

— А приехал зачем?

— У матушки старая болезнь возобновилась, и я пришел просить у тебя перьев из-под крыльев.

— Бери! Дам. Ты лютого моего врага убил. — И, вырвав перья, дала ему. — Но в этих перьях — твоя смерть, — добавила она. — Поезжай счастливо.

— Счастливо оставаться!

Прощавшись, он отправился обратно на север. По дороге он остановился в юрте старшей сестры и спросил о благополучии. Сестра угостила его чаем. Напившись чаю, он поехал дальше. Дома выбежала ему навстречу с лаем большая рыжая собака.

— Выйди, дочь, посмотри, на кого лает собака! — приказала мать.

— Брат приехал, — возвратилась с ответом дочь.  
Мать, до этого здоровая, снова притворилась больной. Вошел сын.

— Каково, мать, поживаешь?

— Плохо, сынок!

— Вот перья из-под крыльев Хан-Херетты. — С этими словами он вынул перья и подал матери.

Она прикоснулась к ним головой.

— Теперь я выздоровела, сынок! Да ты не хочешь ли пить? Далеко ведь ездил.

Достала «кугер» (флягу) вина и подала сыну. Но не успел он отпить и глотка, как отравился и упал мертвый<sup>1</sup>. (В этот момент) выскочил Ак-хан и захватил все (в свое владение).

О случившемся узнала птица Хан-Херетты и прилетела.

— Я оживлю бедняжку, убившего моего врага.

С этими словами она залезла в него и вынула — вышвырнула из него отраву.

Он встал, ухватившись руками за черную землю.

— Хан-Херетты меня оживила... Мечь! Где бы я их ни встретил, на юге или севере. Я чувствую такой прилив силы, что раздавил бы вдребезги все, что подвернулось бы под руку... Ты, Хан-Херетты, лети домой, а я превращусь в ветерок и улечу на запад...

(Сказавши это), он отправился. Прошел месяц — 30 дней, два месяца — 60 дней, три месяца — 90 дней, и он приехал в намеченное место. Превратившись в оборванца, в порванной шубенке, в стоптанной обуви, в кошемной шапчонке, со слезящимися (от ветра) глазами, он зашел в богатый улус.

— Как тебя звать, парень? — спросили его.

— Земной червь, водная гниль (ответил он). А скажите, у кого тут много боджа и хойтпах<sup>2</sup>, а?

— В юрте Ак-хана его так много, что он переливается и колышется.

— А юрта Ак-хана далеко? — спросил он.

Ему указали и проводили от собак.

(Он пошел. Видит): стоит белая юрта и девяносто привязанных лошадей. Зашел и поздоровался с сидевшими в юрте: «Амыр». Никто не ответил. Он обратился с приветствием к хану; хан тоже не ответил и лишь сказал сидевшему возле дверей оборванному парню: «Дайте ему хойтпах». Подали. Хайтыкара выпил.

— Не примете ли меня в пастухи? (обратился он к хану). Буду полезен...

— Овец где тебе пасти... Разве телят...

И стал Хайтыкара пасти телят. Пас он десять дней. Тут Ак-

<sup>1</sup> Дословно: пропал.

<sup>2</sup> Молочные продукты.

хан запьянствовал, и вместе с ним запьянствовали, пока не свалились с ног, все его соулусники. В ту же ночь (когда это случилось) Хайтыкара забрался в амбар, достал оттуда стрелы и все доспехи и спрятал в (укромное) место.

Когда после этого приказали ему пасти телят, он не захотел... Ак-хан послал за ним... И явиться не хочет. «Сам приходи», — говорит. Не позинуется.

— Этого парня надо убить, — сказал Ак-хан.

А парень, узнав об этом, пошел за спрятанными доспехами и взял их к себе, чтобы быть наготове.

(Между тем) хан, захватив с собой сто человек, пришел к нему. Придя (и увидев перед собой богатыря), спросил:

— Ты будешь первый стрелять, или я?

— Я. Я — Хайтыкара и пришел тебя убить! Выпущу стрелу и убью тебя, Ак-хан!

Натянул лук, выпустил стрелу (убил царя), перестрелял всех его солдат и, прибежав (к себе) в улус, схватил мать, свалил ее на землю и острым ножом искромсал. (Затем) схватил младшую сестру, повалил и ее и, отрезая острым ножом куски мяса, разбрасывал их.

— Теперь я успокоился. Выпустил души их на волю... Двух человек истребил..

(После этого) взял кусок золота Ак-хана величиной с конскую голову, кусок серебра величиною с голову верблюда, захватил жену Ак-хана, скот и весь народ.

В тех местах, где он стоял, земля углублялась, на зыбких местах делались глубокие тропинки.

Сказка отошла, а я остался. («Тол барды мен келдым»<sup>1</sup>.)

(Записана в местности Джанагаш-Акса, при впадении реки Джедана в реку Кемчик, со слов сойота Сакнай Кара-Мунгуи «сумо» «Та-хошуна».)

#### СКАЗКА ПРО ЦАРЯ ЧЕРНИ

[Тол (сказка) Каратты-хан]

У этого царя было двое детей: один мальчик, одна девочка. Хан был так богат, что его имущество не вмещалось в кладовых.

Эти двое детей ходили ежедневно играть под нависший утес: утром уйдут, вечером только возвращаются. Однажды они по обыкновению пошли гулять, а когда вечером вернулись, они застали одно пустое место. Отец с матерью уючовали, забрав с собою весь скот. Заплакали дети, загоревали. Ни есть им нечего, ни пить. Поплавав, пошли. Навстречу им попался же-

<sup>1</sup> Слова, отвечающие словам в русских сказках: «Я там был, мед-пиво пил» и т. д.

ребенок сивой масти с густой, сбившейся шерстью. Дети собрали с кустов караганника (кустарника) шерсть. Во время перекочевки принадлежавшие их отцу овцы зацеплялись за кустарник, и клочья шерсти оставались на ветках. Дети собрали эту шерсть, свили из нее веревку, из веревки сделали оброть и, надев ее на жеребенка, пошли дальше. На дороге они нашли расческу и гребень.

Подняв их, они друг другу расчесывали волосы, собирая выпавшие. Их они скрутили и сделали струну для лука. Сделав затем лук и стрелы, они убивали рябчиков и зайцев и этим кормились. Так жили, питались и росли.

Когда мальчик подрос, он убивал маралов и маралиц, козлов и коз.

Так жили они, так проводили время. Рос и сизый жеребенок. Его привязывали к колу, вбитому в землю. Так он пасся, кормился.

Из костей убитых животных эти дети выстроили дом.

И стал парень наш ловким, лучшим из лучших молодцов, а его сестра («туммазы-кереджок»<sup>1</sup> — младшая сестра) сделалась самой что ни на есть красивой из всех девушек.

Своего сивого жеребенка они кормили семь лет. Все это время шерсти он не менял и жирнее не становился.

— Не стоит возиться с ним, — сказал парень. — Сколько его ни корми, он не поправляется. Лучше его отпустить.

Сказав это, он хотел отпустить жеребенка.

— Ты меня кормил и поил, — обратился к нему жеребенок, — зачем же ты меня отпускаешь? Ты разве седлал меня? Узду на голову надевал? Если бы ты это делал, быть может, ты меня не прогнал бы. Ты тогда увидел бы, гожусь ли я тебе или нет.

«И впрямь... Надо это сделать», — подумал юноша.

Он соорудил роскошное седло и узду из золота и серебра и надел узду на голову жеребенка. Надев, смотрит: жеребенок сразу стал как бы двухлетним. Надел на него потник — жеребенок стал трехлетним. После того как он оседлал его, жеребенок превратился в четырехлетнего. А когда он продел подхвостник, подвязал нагрудник, подтянул подпруги, — жеребенок сделался полным, могучим конем.

— Поставь коня на привязи, — сказала сестра, — пусть выстоится. Лук и стрелы тоже плохи у тебя, брат. Сходи на займище и сруби лесину толщиной с полную яловую кобылу и сооруди из нее твердый черный лук. На нижнем конце лука нарисуй тридцать парней с луками и отохничьими сумками, а на верхнем — тридцать драконов.

Брат сделал все, что посоветовала ему сестра.

— Ну, а теперь садись на коня, но раньше поешь и полей, чтобы тебе в дороге не хотелось есть и пить.

<sup>1</sup> Девочка, дословно «кере джок» — не нужная.

Брат так и сделал.

— Ну, брат, поел, попил, — садись на коня.

Брат собрал стрелы и все принадлежности для охоты и начал садиться.

— Если человек садится на дикого коня, — сказала провожавшая его сестра, — он кладет на землю стрелы и все принадлежности и уже потом только садится на лошадь.

— Правда твоя, — сказал брат и, положив стрелы и принадлежности на землю, сел на лошадь.

Два месяца — 60 дней сбивала его лошадь. Три месяца — 90 дней сбивала его лошадь.

По морозной пыли на заиндеветавшей лошади он узнавал, что настала зима, по росе на земле — что наступило лето.

Конь так сильно ударял оземь, что земная пыль долетала до неба; бил так сильно, что звезды с неба падали на землю.

Только после этого конь остановился и, остановившись, сказал:

— Негодный! Я хотел так долго сбивать его, пока он не разорвется пополам. Но он не дался, я его не разорвал. Он достоин быть моим хозяином.

А у ездока мясо плечевой кости опустилось до кости, а мясо на бедрах — до голеней.

— Я хотел ему изломать спину, — сказал парень, — но не изломал, убедившись, что он может быть подходящим для меня конем.

После этого юноша приехал домой. Садится, ест мясо, пьет чай.

Сидевшая рядом с ним сестра сказала:

— У тебя нет имени, а человек без имени быть не может. Я дам имя и тебе и твоему коню, мне же ты, брат («акым» — старший брат), дай имя.

— Ранее ты, сестра, назови мое имя.

— Пусть так! Пусть будет твое имя Моктых-Кырыш (страна), а сивый конь твой пусть носит имя Сивый Котчуга (стража). Ну, а теперь ты мне дай имя.

— Ладно. Пусть твое имя будет Серый Тоолай (маленький зверек).

После этого Моктых-Кырыш самцов рысей за губу поддевал, черных соболей за глаза.

И задумал Моктых-Кырыш выстроить себе дом вышиной в девять рядов и построил его из стекла.

Сидит дома и видит: мимо дома прошла пегая маралица.

Моктых-Кырыш вскочил на коня и накиннул на руку золотой аркан длиной 60 сажень.

— Если тебя, негодную, мой сивый конь не догонит, пусть поломаются у него подколенки; если я не накинну на тебя аркан, пусть я сломаю шею и умру.

Догнав маралицу, Моктых-Кырыш хотел было накиннуть на

нее аркан, но свалился с седла, упал на землю, сломал шею и тут же и умер.

Когда туда прибежала сестра, она нашла уже брата умершим. Остановившись, заплакала...

— Нечего без толку стоять и плакать (сказала про себя). Расступись, отвесный утес, дай сложить в тебя моего единственного брата.

Сложив, она села на коня своего брата и отправилась домой. — Сидеть дома мне нет смысла...

Сказав это, она заперла все дома, села на лошадь и поехала на юг, взяв с собою лук брата, стрелы и все, что нужно.

— Что будет, то будет, а ехать надо.—С этим и отправилась.

Отправившись, заехала в одну страну и остановилась в одной местности, где собралось на состязание большое множество народу. Тот, кому удалось бы переломить толстый, как тополь, железный брус, должен был получить в награду дочь небесного царя.

— Если я переломлю, мне дадите? — спросила она.

— А как же! Возьмешь! Кто переломит, тот получит награду.

Тогда она, схватившись за оба конца, переломила железный брус.

— Ну, давайте девку! Возьму!

И ей отдали дочь небесного царя с юртой, скотом, людьми и всякой утварью.

Получив все это, она спросила:

— А нет ли еще где-либо таких состязаний?

— Есть!—ответили ей.—У царя месяца и у царя солнца.

— А в чем там дело?

— А в том, чтобы, стреляя на расстоянии месячного пути, так выстрелить в лес, привезенный на ста быках, чтобы он сразу сгорел, и так выстрелить в отверстие вертлюга животного, чтобы вертлюг разлетелся вдребезги. Кто на таком расстоянии сожжет лес и разобьет вертлюг, тот получит в награду двух дочерей обеих царей.

Приехав на место на расстоянии месяца, она натянула стрелу (выстрелила) и разбила вдребезги вертлюг и сожгла лес.

Выстрелив, она поехала в то место, куда стреляла.

— Куда делись поставленные в заклад девки?—спросила она.— Я беру их!

— Возьми!

Отдали двух девок, две юрты со всем скотом, со всей домашней утварью и со всем народом.

С тремя юртами, соединив весь скот, она отправилась домой.

— Я уеду вперед, — сказала она людям, — а вы поезжайте по моему следу.

И уехала вперед и доехала до своего жилища в улусе.

Почистив все в жилье, отправилась к своему брату.

— Возьму единственного своего брата... Отвесный утес, расступись!—обратилась она с плачем к утесу.

А когда отвесный утес расступился, она взяла тело брата, положила его впереди седла и поехала домой. Дома она одела его, обула и, одевши, положила на постель, словно спящего.

— Спит себе... Ничего не знает,—вздыхнула.

После этого она поехала встречать трех девиц, выигранных на состязаниях.

Встретила их и с плачем говорит:

— Мой единственный брат возвращался домой, упал с коня и умер

Девушки подошли к постели мертвого.

Первая из них стегнула его плетью, перепрыгнула через него, и он вздрогнул.

Средняя тоже стегнула его плетью, тоже перепрыгнула через него, и он повернулся на другой бок.

Последняя тоже стегнула плетью, тоже перепрыгнула через него, и он поднялся.

Поднявшись, сказал:

— Ну и долго же я спал!

Сестра вслух сказала:

— Да, да!—а затем, нагнувшись к нему, прошептала: — Ты, брат, не спал, а умер. Я переделалась парнем и за тебя и для тебя выиграла на состязании трех девиц с юртами, с домашней утварью, со скотом, с народом.

После этого эти пять человек стали кормить и растить скот, за ним наблюдать, утварью пользоваться, на скоте ездить. Эти пять хитрых, прозорливых людей никого не боятся, живут, богатеют, веселятся.

(Записана на Джерджарике со слов сойота Токпак.).

#### СКАЗКА ПРО ХИТРОГО БОЛДАН-СЕНГИ

В царствование Чингис-хана у одного из его чиновников было две жены, но ни одна из них не рожала мальчиков. Угнетенный этим, чиновник приехал приглашать к себе ламу — чудотворца («богдо»). Тот приехал и провел у чиновника девять месяцев. И в это время одна из двух жен забеременела, а один сплетник сказал: «приехавший лама имел с этой женщиной связь, и поэтому она забеременела»... В первый летний месяц собрались чиновники, обсудили дело ламы и жены чиновника и постановили сослать их. Их связали, сковали и отправили на южную половину реки, текущей на север.

Лама скрытым волшебством выстроил (в месте ссылки) два балагана.

После этого прошло десять суток, и женщина разрешилась от бремени.

Лама скрытым волшебством отрезал пуповину, приказав, чтобы ни одна женщина в будущем сама не отрезала пуповины у новорожденного младенца и чтобы для этого призывали посторонних и им за это платили специальную плату («алгу»). Так оно и водится до сих пор.

Новорожденный ребенок был мальчик. Когда он подрос настолько, что мог уже играть, он начал бегать, резвиться.

Бегал, играл, резвился и потерялся.

Мать плакала, горевала, побежала в балаган ламы и, забежав (туда), сказала:

— Мой мальчик потерялся...

Выйдя из балагана ламы, она отправилась искать ребенка.

После того как она пошла искать ребенка, лама тут же, как сидел, взял мягкую глину и сделал—соорудил из глины точно такого же мальчика, который потерялся, как по обуви и по одежде, так и по лицу.

Мать не нашла ребенка, а когда вернулась и увидела этого мальчика, сказала:

— Я напрасно ходила... мой мальчик здесь,—и увела его как своего в свой балаган.

А потерявшийся мальчик вышел в это время из камыша, росшего вокруг озера<sup>1</sup>.

По одежде и обуви оба мальчика были одинаковы, с лица тоже одинаковы.

Женщина взяла обоих мальчиков за руки и повела между двумя балаганами.

Сидевший внутри своего балагана лама подумал: «Сделав и вдохнув жизнь в человека, можно ли его убить? Пусть уже останется человеком...»

Три года спустя все те же четыре (?) чиновника послали двух человек поехать посмотреть: если они (лама и женщина) имели друг с другом связь, то теперь у них непременно должно быть уже двое детей.

Приехавшие увидели двух мальчиков.

На обратном пути домой один из посланных, бродя по воде, утонул. Другой, приехав, сообщил, что действительно не один мальчик, а двое.

Прошло еще три года. Чиновники послали трех человек поехать посмотреть, умерли ли (изгнанники) или живы.

Эти три человека приехали и увидели: живы. Увидев, посланные поехали обратно домой. (Из них) два человека в этой же воде утонуло, а один доехал домой и рассказал, что (изгнанники) живы.

---

<sup>1</sup> Раньше говорилось о реке, а не об озере.

И снова прошло три года. И вновь было послано, но уже пять человек, поехать посмотреть, живы ли они или умерли. Четыре человека (лама, женщина и два мальчика) опять оказались живы. Посланные опять уехали домой, и все в той же воде четыре человека опять утонуло, а один доехал.

— Они живы, — сообщил он, — а четыре человека моих спутников-товарищей утонули.

После этого четыре чиновника совещались.

— Видно, войско собрать придется...

Так и решили и собрали тысячу войска и начальником над этим тысячным войском назначили силача Эрги-кара. (Приказали):

— Отправляйтесь, убейте, выбросьте, возвратитесь. С этой стороны через воду постройте мост и переправьтесь по мосту, так как там в этой воде погибали люди.

(Посланные) поехали и начали строить мост.

А там (на берегу) бегало два этих мальчика. Увидев, что пришло много народу и что строят мост на другую сторону реки, они сказали об этом ламе.

— Ну, ребята, — сказал им лама, — ломайте тростник и насыжайте на него лошадиный помет.

— Люди уже переехали (через мост), — прибежала и сказала мать мальчиков.

— Сходи посмотри, сколько лошадиного помету наткано на тростник. До тысячи дошло ли?

— До тысячи дошло, — сказала эта женщина.

— Близко ли подошли? Сходи посмотри и возвращайся!

— Подходят!

— Ну, позови ребят!

Ребята бегом прибежали и сказали, что все готово...

— Выбегите скорехонько на улицу и, называя помет, натканный на тростник, «русскими», говорите и кричите, что народ приближается.

Мальчики побежали и закричали — и все тростники сделались русскими людьми, вооруженными стрелами, луками, копьями и саблями.

Это русское войско подошло к балагану ламы и остановилось. Когда они остановились, лама, не выходя из балагана, начал читать «ном» (буддийские священные книги). От этого стоявшее войско оказалось одетым в русскую одежду и обувь.

— Эти люди пришли воевать с вами, — обратился лама к стоявшим (русским). — Одного из пришедших оставьте в живых, а всех остальных убейте!

Начали воевать и воевали три дня. Из неприятельского войска остался лишь один, а из русского — осталось пятьсот.

Этот один человек начал скрываться, прятаться и убежал к своему царю.

Пришедши, сказал:

— Незнакомые люди сделались его войском...

Когда отвоевались, лама усадил перед дверью юрты оставшихся пятьсот воинов и начал обучать их русским знаниям: «топор, пила, хлеб, соха, конь, дом — все как у русских будет у вас».

После возвращения единственного уцелевшего человека четыре чиновника, вновь собравшись, рассудили, что надо просить у ламы (прощения).

— Если это богдо (чудотворец, бог), то он (к нам) выйдет, не оставит.

Решив это, собрали рожки (в которые трубят во время моления в кумирне), взяли «бурханы» и все молитвенные принадлежности и отправились. Придя на берег воды, в которой ранее погибали люди, они затрубили в трубы и начали молиться.

— Если это богдо (чудотворец, бог), то он (к нам) выйдет.

Лама хотел было выйти (к ним), но русские люди не отпускают.

— Мы пойдем,—сказали русские люди,—убьем этих молящихся людей и вернемся.

«Богдо» не велит, запрещает им убивать. Он настаивал на том, что надо выйти к молившимся.

— Не отпустим,—возроптали русские.

— Ничкак нельзя не итти... Я вам указал и как жить и какие вещи употреблять. Теперь я пойду к ним. Побуду у них и вернусь.

Русские согласились.

Лама отправился к молящимся; придя к ним, он сел, переродился (перевоплотился), сделался «богдо» и сказал:

— Обожествленный человек не может, как простой человек, спать с женщиной.

Впоследствии у этой женщины родилась девочка. Когда она родилась, четыре чиновника и «богдо хайэрхан» (страшный) пятый собрались на совещание. «Богдо» решил: новорожденную девочку сделаем правительницей над созданным мною русским народом, рожденного от этой женщины мальчика сделаем Эдженханом (китайским богдыханом), а сделанного мною из глины мальчика сделаем Эрлик-ханом. Пусть живет в преисподней и заведует подземными народами и пусть ездит он на черном коне («хулюк») <sup>1</sup>. На этого коня посадили этого мальчика и отправили. Он туда приехал.

В законе указано, что там (в подземном царстве) было 18 ям для различения людей. Белые и черные (чтобы видны были) как в зеркале.

---

<sup>1</sup> Необходимо обратить внимание, что тут одна сказка, в которой нет ни единого слова о Болдан-Сенги, собственно говоря, кончается. Но мне не раз приходилось замечать у сойотов-сказочников, что они переходят, сами того не замечая, от одной сказки к другой, считая их одной сказкой. Это имело место и в данном случае.

В это время жил Болдан-Сенги. Он приобрел себе для езды серого быка и два шила, которые он втыкал в пятки, сшил себе длинношерстную шубу из яманьей шерсти, положил за пазуху жирную грудину кладеного ямана, поднял с земли молоток из сухого маральего рога и отправился. Шел, шел и дошел до жилища богатого Каратты-хана, снял штаны, заткнул зад зеленой травой, лег и лежит. (Когда он так лежал), подошли (к нему) два чорта.

— Недавно умершим считать нельзя: из зада выросла трава. Давно умершим — тоже нет: тело теплое. Считать, что с голоду пропал — нельзя: за пазухой жирная грудина. Считать, что замерз — нельзя: на нем яманья шуба.

Тут Болдан-Сенги подпрыгнул:

— Куда вы, черти, идете?

— Мы шли похитить единственного сына богатого Каратты-хана. А ты, Болдан-Сенги, куда отправился?

— Я тоже шел похитить у Каратты-хана его единственного сына...

— Давай ютправимся втроем!

Отправились.

Болдан-Сенги спрашивает чертей:

— Чего вы более всего боитесь?

— Караганника и плети с красной ручкой, — ответили черти.

— А ты, Болдан-Сенги, чего более всего боишься?

— Я болес всего боюсь уреме (пенек со сливок) и быштаха (сыра).

Пошли и, идучи, все трое играли, подбрасывая ногами шапки.

Болдан-Сенги схватил шапку одного чорта и спрятал в караганнике.

Оба чорта начали бросать в него издали «уреме» и «быштах». К караганнику подойти боятся, Болдан-Сенги прилег и не вылазит.

Тогда черти отправились с жалобой к Эрлик-хану. Он послал двух других чертей (с приказанием): «Непременно приведите сюда Болдан-Сенги!» А Болдан-Сенги лег на перекрестке семи дорог и превратился в семь голов умерших людей.

Посланные Эрлик-ханом два чорта подошли к семи мертвым головам. Толкнули ногой одну голову... Она оказалась головой Болдан-Сенги; толкнули другую — и эта тоже оказалась его головой.

— Сам Болдан-Сенги лежит здесь живой, с кровью и внутренностями, отчего же вы его не хватаете? Почему толкаете головы без крови и внутренностей?

С этими словами он вскочил и поймал этих двух чертей.

Поймав, он одному чорту выколол глаз, другому переломил руку повыше кисти.

После этого черти отправились к Эрлик-хану рассказать ● случившемся.

Пришли. Рассказали.

— Болдан-Сенги одному из нас выколол глаз, другому изломал руку выше кисти.

Тогда Эрлик-хан отправил двух «кайбынку» (более сильных чертей):

— Непременно возьмите и приведите Болдан-Сенги.

Узнав об этом, Болдан-Сенги зашел в один улус, вошел в юрту и заткнул в ней все, какие были, отверстия. Его угостили мясом. Он сидит. Ест.

Подошедшие к этой юрте «кайбынку» попытались пробраться в нее: один сверху (через дымовое отверстие), другой снизу (через дверь). Но все было заткнуто. Отверстий не было. Влезть было неоткуда...

— Вам велено взять Болдан-Сенги живого с кровью и внутренностями. Ни крови, ни внутренностей (здесь) нет... На тарелке мясо... Чего же вы лезете?!

Сказав это, он одному из «кайбынку» сломал ухо, другому голень...

— Ступайте к Эрлик-хану и расскажите ему (об этом),—сказал он им.

Безухий чорт посадил на плечи безногого, и они пошли.

Когда пришли, Эрлик-хан спрашивает:

— Где же Болдан-Сенги?

— Нам не только не удалось захватить Болдан-Сенги, но он (одному из нас) сломал голень, (а другому) оторвал ухо.

— Экий противный негодяй («кулугур»). Нужно спустить с неба потоп.

Узнав об этом) Болдан-Сенги просверлил гору и внутри ее выстроил железный дом, внутри железного построил деревянный, внутри деревянного стеклянный, внутри стеклянного шелковый, внутри шелкового—дом из «ходака» (тонкая шелковая ткань), затем взял с собой (войдя) внутрь (дома) два шила, серого порога, молоток из маральего рога и засел в этом доме.

Эрлик-хан (в это время), взойдя на небо, спустил (на землю) большой дождь, так что сделался потоп. Не стало видно ни гор, ни леса.

Вода поднялась. Болдан-Сенги сидел внутри дома. (От поднимающейся воды) разрушилась гора и разрушился железный дом, деревянный, стеклянный и шелковый. Уцелел лишь один дом из «ходака»<sup>1</sup>.

Вода начала убывать. Болдан-Сенги сел верхом на серого порога. Едет. В руке вместо плети маралий молоток держит; в обе пятки воткнул по шилу.

---

<sup>1</sup> Тонкая шелковая ткань, подносимая для выражения почета; она же употребляется и при молениях. Этим объясняется, почему дом из «ходака» мог уцелеть. «Ходак» недоступен для чертей.

А Эрлик-хан сел на черного коня («хулюк») и поехал посмотреть, погиб ли Болдан-Сенги. Двух чертей — «кайбынку» — взял с собою.

А навстречу ему ехал Болдан-Сенги, сидя на сером порозе. Эрлик-хан, изволив ехать, встретился с Болдан-Сенги и, встретившись, спросил:

— Куда едешь, Болдан-Сенги?

— Я ехал повидаться с Эрлик-ханом.

— Почему ты у двух чертей («аза») отобрал шапки?

— Потому что они хотели захватить лежавшего в зыбке царского ребенка. Поэтому я отобрал у них шапки.

— А почему ты после выколол глаз и сломал руку у (посланных мною) чертей?

— Потому, о кровный чорт, что я, Болдан-Сенги, лежал тут же, а они трогали семь мертвых голов. За это я одному выколол глаз, а другому сломал руку.

— А почему ты у моих кайбынку — у одного оторвал ухо, а другому сломал голень?

— Я, кровный хитрец («каралыг»), сидел тут, а они лезли к вареному мясу. Вот за это я и отрезал у одного ухо, а другому сломал голень.

— Это справедливо, Болдан-Сенги, — сказал Эрлик-хан. — Ну, а как твой серый пороз как бегунец?

— В одну мгновенья ока обежит весь мир. А у вас, царь-батюшка, каков конь?

— В течение ночи, пожалуй, весь мир на нем объедешь... А какова, Болдан-Сенги, твоя яманья доха?

— Был потоп, и то она не растаяла, не промокла... А у вас, царь-батюшка, непромокаемый плащ («хевенек») каков?

— Ни небесных стрел, ни земных чертей («четкер») хевенек не пропустит. Ну, Болдан-Сенги, давай сменяем коня на пороза, — сказал Эрлик-хан, — а хевенек на доху.

Начали менять коня на пороза, «хевенек» на доху. Молоток из маральего рога и два шила также взял Эрлик-хан и шила вбил себе в обе пятки.

— Без этих двух шильев (пояснил Болдан-Сенги) пороз не объедет всего мира, а молоток из маральего рога — это плеть.

— А по какому месту бить? — спросил Эрлик-хан.

— Между двух рогов, — ответил Болдан-Сенги. — А шильями надо хорошо прищипоривать в оба бока.

После этого Эрлик-хан одел серую доху и сел верхом на серого пороза, а Болдан-Сенги сел верхом на черного коня Эрлик-хана и надел его черный «хевенек».

— Ну, теперь можно поехать и в улус Эрлик-хана, — сказал Болдан-Сенги и поехал.

Приехав в этот улус, он увидел 18 кромешных ям, а возле них 18 чертей — караульчиков.

— Кровный хитрец Болдан-Сенги (сказал он им, выдавая себя за Эрлик-хана) едет следом за мною. «А я не пойду в эти восемнадцать ям», — подумал он про себя и отправился на юг.

В то же самое время Эрлик-хан прищпорил пороза, а когда прищпорил, пороз начал сбивать его с седла. Он ударил его молотком между двух рогов. Пороз еще пуще начал биться и сбросил Эрлик-хана. От этого у него один глаз лопнул и сломалась одна рука и одна нога. (Сопровождавшие его) два «кайбынку» помогли ему встать и увезли домой.

Подъезжая к дому, они закричали:

— Куда девался Болдан-Сенги? Ловите его, хватайте!

Когда они это крикнули, навстречу им бросилось 18 чертей-караульщиков и, принимая Эрлик-хана за Болдан-Сенги, подхватили его и потащили к отверстиям 18 ям.

— Я ваш царь и повелитель! — кричал Эрлик-хан.

Они не слышали его и ввергли в горячую яму.

Он только раз повернулся, и от жары обнажились его кости. Тогда (черти вытащили кости и бросили в холодную яму) он повернулся, и от холода кости затрещали.

После этого черти его вытащили, а затем убили серого пороза и отрезали ему голову. Так же поступили и с головой Эрлик-хана и голову пороза сделали головой Эрлик-хана.

После того как самого Эрлик-хана втокнули в эти 18 ям, туда уже не стали вталкивать людей. И с тех пор у Эрлик-хана скотская голова.

Если бы Болдан-Сенги не взял черного коня, в каждую ночь погибало бы десять тысяч человек. Но черная лошадь была взята обманом. Поэтому в течение одного дня и одной ночи тысяча человек умирают и тысяча человек рождаются. Так предопределено свыше.

Если бы это не было сделано, Эрлик-хан не оставил бы вовсе людей на этом свете.

Эта сказка («тол») прошла, а я остался.

(Записана со слов сойота Жукур-ол Сальджакского «хошуна», «Байгара-сумо».)

#### СКАЗКА О СТАРИКЕ ТЕЧИКЕЙ

Жил некогда старик Течикей. У него были трубка, чистая, как журавлиная шея; стрела, прямая, как дерево хараган; лук, крепкий, как рог марала на лугу Сийдэ, и кошель величиной с берблюжьей шеей. Этот старик Течикей отправился на рыжем коне на небо к богатому хану сватать его дочь.

Едет, а два ворона ему навстречу.

— Куда, старик Течикей, ты отправился?

— Еду сватать единственную дочь хана.

— Сидел бы ты лучше дома, колол бы дрова и этим грел руки, колол бы пень и этим согревал грудь.

Рассердился старик на такую речь, застрелил обоих воронов, засунул в кошель и поехал.

Навстречу ему две сороки.

— Куда, старик Течикей, отправился?

— Сватать дочь хана.

— Грел бы ты лучше кулак, коля колоду.

И т. д., как раньше.

Навстречу волки. И т. д., как выше.

Волки—прочь от него, он и их застрелил из сильного лука и опять засунул в кошель.

Так доехал до хана. Когда подъезжал к железной коновязи, залаяла собака и (на ее лай) вышла из юрты старуха.

— Привяжи, старик, коня к тополевой коновязи, — сказала старуха.

Привязав, как она сказала, Течикей зашел в юрту хана. Дочь хана была дома. Старик, погладив девушку, сел.

Хан спросил:

— Куда, Течикей, едешь?

А Течикей, вынув из-за пазухи саженный «ходак», преподносит его хану и говорит:

— Единственную вашу королеву хочу взять и это великое приношение подношу.

Осерчал хан, кликнул многое множество своих подданных; они вбили в землю четыре кола, распяли (привязав за руки и за ноги) Течикей и (через то место, где он лежал распятый) погнали многое множество трехлетних жеребят.

Течикей чуть не пропал. Но не таков он был. Вытащив из кошеля двух воронов и выпустив их, приказал: «Выключите глаза лошадям ханского табуна». Выпустил сорок: «Не оставляйте целыми спин у ханских лошадей. Ключите, пробивайте, чтобы хану не на чем было ездить». Наконец, выпустив волков, приказал: «Все здоровые табуны губите, истребляйте».

Видит хан: не сладить ему со стариком Течикеем, велел его развязать и привести в юрту, а когда привели, отдал ему девку.

(Записана в местности Сарак-Шарек со слов сойота Арапай.)

### СКАЗАНИЯ О ЖИВОТНЫХ

I. Когда бог сотворил человека и животных, он их пустил (пасться) в два лога. Некоторое время спустя бог пошел посмотреть, чем питался человек и чем — животные. Оказалось, что в логу человека поедены не только травы, но и корешки, а у животных трава цела, объедены только верхушки. Вот почему человеку повелено есть мясо, а животному травы. Бог боялся, чтобы человек не уничтожил все растения.

II. Было два брата. Один — хороший, другой — злой. Между ними происходила ссора. Ходили они по белу свету. Наткнулись на пещеру. Заходят.

— Вот где житье хорошее. Давай-ка, — сказал один другому, — здесь поселимся.

Поселились. Злой, (по имени) Кара-Сагыштых, уснул, а добрый, Ак-Сагыштых (чтобы избежать ссоры с братом выкопал себе другую яму и в ней лег.

Только лег, как слышит: в пещере, где спал брат, собрались хищные звери: медведь, волк, лисица. Увидев спавшего Кара-Сагыштых, медведь крикнул:

— Вот, ребята, мясо!

Спавший проснулся, медведь схватил его, тут же подоспели другие животные. Вот с этих пор хищные животные начали питаться мясом, а до этого они питались растениями.

После того как животные съели Кара-Сагыштыха, они начали между собою договариваться, кто что будет есть. Медведь и решил: «Я буду есть и человека и животных». Волк: «Для меня ладно скотское и конское мясо». Лисица: «Я буду кормиться птичками и мышами». Собака: «А я буду довольна и человеческим калом».

III. Было время, когда птицы летали в облаках и не находили себе никакой пищи. Как раз в это время был перелет птиц. Орел («ызыр») схватил одну из перелетавших птиц, спустился с ней на землю и стал там ее есть. Другие птицы увидели, что что-то внизу на земле краснеет. Тоже спустились на землю и, когда орел насытился, они доели остальное. Вот отчего птицы питаются мясом. Первый обучил их этому орел. До этого времени птицы не трогали даже насекомых и питались одной водой.

IV. Рыбу первая начала ловить птица Шишкиш. Она долго не могла найти себе никакой пищи, тогда решила поискать в воде. И нашла рыбу. Она объедает только голову и грудь, оставляя часть, прилегающую к хвосту. Этой частью питаются другие птицы.

Есть птица с синей шеей, которая всегда питается рыбой. Она называется «кук-боста» (синяя шея). У этой птицы винтообразное горло. Проглоченная этой птицей рыба застревает у нее в горле. Птица повернет шею раз—и рыба на всю ночь застревает на первом повороте; повернет птица шеей второй раз—и проглоченная рыба переходит глубже и там лежит без движения вторую ночь, только при третьем повороте рыба проходит в желудок.

V. В старину жил один праведный лама. Он возмущался несправедливой жизнью других лам и громил их за пьянство, корыстолюбие и невежество. У него появились ученики и последователи. За это обозлились на него другие ламы и старались всякими способами известить этого праведника-проповедника. Но человеческими средствами они достигнуть этого не могли, а лама упорно продолжал их разоблачать. Не находя другого средства, ламы обратились за содействием и помощью к шаману. Этот шаман посоветовал ламам превратить строптивого ламу в какое-

нибудь животное и научил их, как это сделать. Один из учеников праведника выдал его, и злые ламы превратили его в верблюда. Но этим не смог он сломить силы и упорства праведника. Несмотря на свой безобразный вид, верблюд внушает всем страх и уважение. В весеннее время самец-верблюд бросается на людей, и люди с трепетом бегут от него.

### СОЙОТЫ О СЕБЕ

На берегу Енисея, недалеко от горы Джарга, находятся озеро и ручей, с которыми связана следующая легенда.

Некогда, когда сойоты еще были сильны и могущественны, ручей с шумом скатывался со скалы и наполнял озеро. Но по мере того как сойоты обеднели и число их убывало, слабел и убывал ручей, и ныне лишь капли сочатся по скале: ручей словно слезы роняет над горькой судьбой и горе-горькой участью сойотов. Только на вершине скалы видны скатывающиеся оттуда капли, замирающие, не достигая и долины и озера.

А это озеро, словно оцепенев, застыло: не прибывает и не убывает и все сплошь покрыто пеленой зеленой плесени.

Сойоты с суеверным страхом относятся к этому словно окаменевшему озеру. Никто не ловит в нем рыбы, никто не решится из него воды зачерпнуть. Народная фантазия поместила на страже спокойствия этого озера громадную щуку.

— Этот ручей — это наша судьба, — со вздохом обратился ко мне старик-сойот. — С последней каплей ручья — конец и нам. Умрем — погибнем.

Я посетил это озеро. От него действительно веет жутью, как жутью веяло от плесени, которая, как плесень на этом озере, осела в то время на жизни всего тувинского народа только благодаря тому, что природные богатства их страны влекли туда и китайцев, и монголов, и русских.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

### ХАРАКТЕРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В архиве Усинского пограничного управления и в частном архиве Г. П. Сафьянова я наткнулся на целый ряд документов, имеющих несомненно историческое значение. Начну с вопроса о границе.

В 1899 году усинский пограничный начальник на запрос енисейского губернатора сообщает: «1) По раздельному письму из записи 27 октября 1727 года о разводе по силе Буринского договора между российским и китайским государствами границы, начиная от Кяхты в правую сторону до Шабин-Дабага и до Контапиных владений, значится, что 23-й пограничный знак поставлен на устье р. Кем-Кемчик-Бом. 2) На карте 1727 года значится, что пограничный знак поставлен у самого устья Кем-Кемчик-Бом, при впадении его в р. Енисей, и поэтому вся долина Кемчика, как находящаяся на юг от знака, должна считаться в китайском владении, так как наши владения идут к северу. По карте, составленной в 1893 году комиссией, тоже значится, что 23-й знак находится у устья Кем-Кемчик-Бом, при впадении в р. Енисей. Таким образом, этим устанавливается, что нет никакого сомнения в правильности того толкования, что к нашим владениям прилежит только устье р. Кем-Кемчик-Бом». (Дело Ус. погр. упр. № 44.)

Но несомненное превращается, по употребляемой в документах терминологии, в «спорное», когда это выгодно, а на эту выгоду указывала вся история заселения земли урянхов-сойотов.

В докладной записке министру финансов Витте минусинский купец Г. П. Сафьянов, принимавший все меры к тому, чтобы ему была предоставлена возможность разработки богатых золотых приисков, находящихся на территории сойотов, пишет:

«Засаянский край, состоящий из южной части Енисейской губернии и прилегающей к ней земли урянхов в долине верхнего

Енисей, с давних времен обращал на себя внимание русских предприимчивых людей. Португальский путешественник Пинто уже в XVII столетии нашел на Кемчике, левом притоке Енисея, русских торговцев. В атласе боярского сына Ремизова (1700 г.) мы уже усматриваем довольно обширное знакомство с Верхним Енисеем, его населением и даже с остатками древностей. Этим краем интересовался и наш посланец к китайскому императору грек Спафарий. Гмелину минусинские обыватели сообщали сведения о Засаянском крае, которые вполне подтвердились позднейшими исследованиями. В позднейшее время, с начала 60-х годов прошлого столетия, одновременно с русскими торговцами, утвердившимися на Улу-хэме и Кемчике, двинулась и русская колонизация: сперва русские сектанты, а затем и золотопромышленники.

Только с этой поры начали более или менее обращать внимание на Засаянский край, хотя в приложениях к всеподданнейшим отчетам все еще встречались стереотипные фразы о том, что минусинскими торговцами ведется торговля с урянхами, но она незначительна.

Предпринимались неоднократно пересмотры нашей границы с Китаем, но до сих пор еще удовлетворительных результатов не получено. Единственной крупной плодотворной мерой для пользы Засаянского края до сих пор можно счесть только основание в 1886 году Усинского пограничного округа, по мысли иркутского генерал-губернатора графа Л. П. Игнатьева. Этой мерой водворена была русская власть в этом отрезанном от губернии крае, положено прочное начало русскому влиянию и защите русских интересов, значение которых постепенно увеличивалось. Но этой мерой далеко не исчерпывается задача русского дела в границах Китая (!). Есть целый ряд нужд местных, связанных с решением весьма важных вопросов, подлежащих по своему объему и значению компетенции высших государственных учреждений.

Созданные по мысли вашего высокопревосходительства уездные и губернские комитеты для определения местных нужд, казалось, давали весьма благоприятный случай для выяснения необходимых мероприятий для преуспевания нашего торгово-промышленного и колонизационного дела в Верхнем Енисее. Но Минусинский уездный комитет не нашел возможным входить в рассмотрение нужд отдельного округа».

Ввиду этого Сафьянов приводит фактические данные и свои соображения об «улучшении торгового и промышленного состояния русских подданных в крае, значение которого для нашего отечества (а не для русских торговцев, конечно) недостаточно оценено».

Приведя характеристику естественных богатств края—хлебородные земли, соляные озера, каменная соль (на Терхалике), залежи асбеста («каменного льна»), как его называли местные

русские), медной руды, железа и каменного угля, — Сафьянов переходит к вопросу, из-за которого и составлена им эта записка.

«Золотые россыпи только по двум речкам, Куртучик-хэму и Серлиху, дали более 200 пудов золота. Золотопромышленность за Саянами могла развиваться в больших размерах, но развитие ее было задержано благодаря, главным образом, неопределенности нашей границы с Китаем между 16 и 24 знаками от озера Косогола до Алтая на протяжении более тысячи верст расстояния. Эта неопределенность границы заставила русских поселенцев оставить свою колонию на Уюке в 1867 году и задержала русское движение за Саяны как земледельческое, так и промышленное».

Сафьянов говорит о неопределенности границы, хотя он знаком с Буринским трактатом, но какой это трактат, если он отгораживает русских предпринимателей от золота?! И для того, чтобы разрушить эту преграду, Сафьянов прибегает к следующему рассуждению.

«При разграничении России от Китая в 1727 году по Буринскому трактату, уполномоченными обоих государств было поручено особым комиссарам осмотреть намеченные пограничные пункты, придерживаясь линии монгольских караулов, и поставить на них знаки. Повидимому, следовало бы в сомнительных случаях держаться последнего признака» (то есть не трактата, не карты, а случайного повреждения или исчезновения, не без содействия заинтересованных, пограничного знака), так как, — поясняет Сафьянов, — «положение караульной линии указывает предел той территории, которой интересуется страна, желает и может охранять».

Таковыми аргументами русские торговцы добивались изменения границы с тем, чтобы получить доступ к золотым приискам. А царское правительство шло навстречу этим требованиям предпринимателей, но... не всех и не всегда. Было время, когда нельзя было не соблюдать трактатов.

«Движение русских за Саяны, — повествует далее Сафьянов, — вызвало споры о границе, которые не разрешены еще до сих пор, а частные вопросы, возбуждавшие недоразумения между пограничными властями обоих государств, разрешались крайне однообразно.

В 1867 году, по настоянию китайских властей, был согнан с места русский поселок с р. Уюка, притока Бей-хэма, и дома были преданы сожжению, а через двенадцать лет, в 1879 году, на отведенных площадках русским правительством по р. Серлиху и другим рекам системы Улу-хэма производилась разработка приисков, в то время как эта местность гораздо южнее и ближе к центру урянхайских кочевьев, чем р. Уюк.

С открытием приисков началась колонизация переселенцев в

Урянхайский край, несмотря на все трудности путей сообщения из Минусинского округа за Саяны.

По той же р. Уюк и его притокам поселились заимками многие из усинских крестьян, а новые переселенцы, прибывшие из разных местностей России и Сибири, основали два поселка с церковью, затем третий поселок—еще далее, на устье р. Сиби, где поселились преимущественно колонисты из Уймона на Алтае. Наряду с этим первые открытия золота в Усинском (?) крае в конце 70-х годов сразу привлекли внимание и энергию тогдашних золотопромышленников, и тогда же сформированными партиями была сделана масса заявок. Но к детальным разведкам заявленных площадей золотопромышленники не успели и не могли приступить, так как в 1883 году, по распоряжению г. генерал-губернатора Восточной Сибири Анучина, было произведено исследование граничных знаков, результатом чего явилось решение о приостановке отводов **золотых** приисков, и масса заявок поступила в казну. Более счастливыми оказались первые открыватели приисков К<sup>о</sup> Денисова и Гусева. Им были отведены почти все заявки. И (намекая на данную этой компанией взятку, Сафьянов добавляет), вероятно, тогда же последовало то неожиданное нововведение в нашей золотопромышленности, как запрещение отводов заявленных площадей ниже приисков К<sup>о</sup> Гусева и Денисова и зачисление в казну площадей без права заявок их вновь и продажи и покупки их с торгов. В уставе о частной золотопромышленности нет ни одной статьи, которая бы уполномочивала администрацию на принятие такой меры. Если бы администрация считала эти площади за границей, казна не должна бы их принимать на себя. Она объявила бы и работающие прииски по Серлиху, находящимися на китайской территории, и тогда можно было бы добиться права разработки у законных владельцев территории, получить право на поиски и разведки подобно тому, как подобное же разрешение было дано для производства золотого промысла в Монголии.

В 1885 году, по предложению г. генерал-губернатора Восточной Сибири графа Игнатьева, вопрос об Усинских приисках был вновь рассмотрен в особом совете при министерстве иностранных дел и, по настоянию графа Игнатьева, решено было для упорядочения поступательного движения русской золотопромышленности производить отводы, но с отобранием подписок от золотопромышленников о неимении претензии к русской государственной власти в случае требований китайцев о прекращении работ.

Однако новые открытия и заявки 1900 и 1901 годов нескольких золотопромышленников, а в том числе и мои, с богатым коренным месторождением рудного и рассыпного золота почему-то не подошли и под это распоряжение. Эти заявки не назначены к отводу даже и при условии вышеуказанных подписок от золотопромышленников. Заявки эти все были приняты от нас в

Усинском пограничном управлении, так как все местности заявок находятся или вблизи уюкских поселков, или смежно с приисками К<sup>о</sup> Гусева и Денисова, и мы ожидали отводов, но получили объявление окружного инженера Ачинско-Минусинского горного округа о приостановке отводов в Усинском округе, мотивированное расположением этих заявок в местности, принадлежность коей к России подлежит сомнению.

Итак, снова приостановилось дальнейшее развитие золотопромышленного дела в этой местности на неопределенное время впредь до разрешения вопроса о направлении пограничной линии между знаками 19 и 23 с владениями Китайской империи. Относительно рудных заявок политика нашей администрации не везде однообразна: так, в долине Кемчика заявлены были залежи асбеста в 1900 году и ныне их назначили к отводу».

Подводя итоги, Сафьянов настаивает на... «утверждении границы» и на осуществлении решения согласно уже принятому решению по требованию графа Игнатьева. В заключение, ввиду своего рода «post scriptum», Сафьянов указывает на «некоторые обстоятельства, которые могут повлиять на русскую колонизацию. Китайское правительство выдает концессии на разработку золота и других полезных ископаемых в своих пределах».

«Иностранцы до сих пор не интересовались Засаянским краем (Сафьянов пускает в ход самый убедительный для царской администрации аргумент), поэтому опасности от них не было, но в последнее время китайским правительством разрешена уже разработка золота в окрестностях Улясютау, то есть в пределах Джасақтау-хановского и Соин-нойонского аймаков. Таким образом, по мере ознакомления концессионеров с Монголией, распространяются пределы их монополии и теперь охватывают уже четыре калгасских ханства. При таких условиях иностранцы могут для разработки приисков проникнуть и в Засаянский край, так как китайскому правительству выгодно селить там иностранцев, чуждых нашему государству. Иностранный капитал загородит дорогу русским предприятиям и упрочению русского влияния в этом крае».

Об этом влиянии генеральный консул в Урге в официальном отчете писал:

«Сойоты жили зажиточно, скотоводство их процветало, пушными товарами край изобиловал. С уменьшением скотоводства некоторые из них около границы занимаются хлебопашеством. На прибытие русских торговцев сойоты смотрят далеко не дружелюбно. Ни в одном из пограничных пунктов не относились к русским так дурно, как в Сойотской земле. Поводом к этому послужило более всего захватывание нашими удобных мест, на которых строились заимки и содержался скот, дерзкое обращение купцов и приказчиков, неправильные расчеты, рост на долговой скот и т. д. Больше же всего вооружала туземцев покупка воровского скота, которого признавшие хозяева не могли возвра-

тить, и отобрание русскими взамен потерявшегося у них скота, в случаях покражи у них скота такого же количества у первого встречного жителя, предоставляя ему вестись со своими родичами. Недружелюбие сойотов выражалось дерзостями, начавшимися с того, что они ограбили караван купца Веселкова; и некоторыми другими случаями. Чтобы удержать сойотов от такого поведения, консульство было поставлено в необходимость требовать строгого расследования дела по ограблению, уплаты ограбленного, денежной пени и наказания виновников. Довольно большая денежная плата была взыскана с общества. Мера не совсем справедливая; тем не менее нельзя было не принять ее в видах охранения русской торговли и караванов на будущее время, показав сойотскому обществу, что оно будет нести круговую ответственность. Для облегчения уплата рассрочена на три года. С тех пор грабежи и насилия прекратились. В 1878 году сойоты еще раз выказали враждебность к русским некоторым самоуправством: они отобрали у купцов много скота, как несправедливо приобретенного неправильными расчетами и покупкой краденого».

В январе 1883 года этот же управляющий консульством в Урге доносит в Азиатский департамент министерства иностранных дел:

«Самым великим злом для правильности и миролюбия наших сношений с урянхайцами я всегда считал и считаю допущение с ними долговой торговли, которая, как показали блестящие опыты, ни в Урге в прежнее время, ни в Улясютау, ни в Кобдо, ни на Сагоке не привели ни к чему доброму. В Урге, Улясютау, Кобдо и на Сагоке она уже вышла из трактики без шума, а сагокские долги мы будем считать своими до тех пор, пока не вымрут все должники. Но с мнением моим далеко не соглашались ни сами торговцы в Урянхэе, нашедшие себе адвокатов в печати («Голос» и «Восточное обозрение»), ни лица официальные, имевшие возможность познакомиться с урянхайской путаницей. Печать со слов купцов указала на то, что «у урянхов, как и у всех вообще инородцев, торговля не может быть иной, как только в кредит. Это уже обычай такой у инородцев: хотя у него и есть чем заплатить за покупку, но он ни за что не расплатится. У него есть свои какие-то соображения на это. Ему нравится быть в долгу, нравится тянуть расплату»... Официальные же люди мотивируют дело тем, что в Урянхэе торговля ведется меновая — на скот, который в самый разгар торговли бывает тощий, так гнать его прямо в Россию невыгодно, а когда он оправится, тогда все граничные горы и проходы заносятся снегом, почему торговцам приходится отдавать товар в долг до выправки скота и до возможности выгнать его в русские пределы.»

Отвечать на печатные заявления минусинских купцов подробно не стоит. Они должны знать, что купить в долг и потом

бегать от этого долга свойственно не одним только инородцам, но и всем почти народностям земного шара. Они твердо знают, что главное дело в том, что продать в долг, рассчитывая на правительственную помощь, выгоднее. (Разрядка моя.—Ф. К.) За примером ходить недалеко. С. Бобровников продал в Урянхае в долг аршин бязи почти по рублю, тогда как в остальной Монголии такой же аршин и такого же товара с трудом можно было продать за 20 коп., и это считается неубыточным. Примеру Бобровникова в Урянхае следуют если не все, то весьма многие.

Что касается до мнения людей официальных, то и оно, судя по наличным фактам, не выдерживает критики. Дело в том, что можно было бы и следовало бы гнать в Россию вымененный скот, хотя бы он был и худой, но у нас нет для минусинских торговцев свободных пастбищ, где бы он мог откармливаться, в Урянхае же ширь и обилие кормов позволяет почти свободно и без особых затрат пользоваться чужим кормом, выжидая цены на скот и оставляя его на поруки урянхайцам, тем же своим покупателям. У Сватикова таким образом паслись до первой выгоды в Урянхае целые стада, в которые он вложил все свое состояние. Ужели же только худоба скота и снежные заносы мешали ему выгнать скот в Россию в течение нескольких лет? Кроме этого, в долг продать опять-таки выгоднее потому, что, продав товару на двухлетнего теленка, в уплату уже можно получить по прошествии одной зимы трехлетнего быка. Таким образом, не разум, а погоня за выгодой и удобствами поддерживает в Урянхае долговую торговлю».

Г. Н. Потанин (Очерки З. Монголии, в. III, СПб., стр. 126—127) по этому же вопросу пишет:

«Некоторые минусинские купцы стяжали себе дурную славу своими похождениями за границей; злоупотребления торговлей, которую они превратили в грабеж, вызвали в свою очередь насилие со стороны местного населения; займка одного русского купца на р. Джитане была разрушена, и стада его, приготовленные к оттопу в Иркутск, были расхищены; в другом месте, на Систи-хэме, урянхайцы убили русского приказчика из качинских татар. Эти насилия были вызваны своеволиями русских купцов и их приказчиков. Некоторые приказчики в разговоре с членами экспедиции сами говорили, что здесь не торговля, а грабеж: сначала стараются рассовать товар, потом в сезон сбора долгов приказчики отправляются прямо в стада и забирают скотину, часто не зная, чье стадо, лишь бы оно принадлежало тому поколению (повидимому, Г. Н. Потанин этим термином называет род — «сумо»), к которому принадлежит и должник».

Нет ни одного автора, ни одного путешественника, который, говоря о русских торговцах в Урянхае, не говорил бы о грабеже, разбое и т. д. и т. п.

«Притеснения и взаимное недовольство выражались не раз даже в формах убийства как с той, так и с другой стороны», — пишет А. К. Яковлев<sup>1</sup>, сообщая о сожжении двух приказчиков Сафьянова, об убийстве купца Шамсутдинова и об ограблении Шумихина.

Мною проверен каждый в отдельности из сообщенных фактов. Верно сообщение Яковлева о том, что «начавшееся следствие было прекращено после того, как вину принял на себя один молодой сойот, лет восемнадцати, болезненный и неспособный кормить семейство. Он героически выдержал страшные пытки и был казнен в Улясятау, не выдав никого. Семейство потерпевшего и до сих пор содержится на счет целого «сумо», а сам он, наверное, будет скоро героем будущих сказок».

К этому способу избавления своего клана от последствий убийства кого-либо членом клана прибегали во время моего пребывания в Якутии и якуты. В убийстве здорового русского поселенца «сознался» дряхлый старик.

Об убийстве Шамсутдинова местные русские сообщили мне, что даже среди русских насильников он выделялся. Понравилась ему баба, давай бабу. Не давали добровольно, брал силой и тут же насиловал.

Недалеко от него ушел и здравствовавший еще во время моей экспедиции Садовский. На него в то время была подана жалоба в следующем. У тоджинских сойотов озеро Тоджи-куль считалось священным, и ловля в нем рыбы считалась святотатством. Выписанный за очень дорогую цену «теген» специально приезжал освятить это озеро. Увидев, что Садовский собирается ловить в этом озере рыбу, сойоты умоляли его не осквернять озеро. Издеваясь над ними, Садовский систематически именно в этом озере ловил рыбу.

Неточно сообщение Яковлева о Шумихине, повидимому, сделанное на основании рассказа враждовавшего с Шумихиным Бякова, не клавшего тоже охулки на руку. Шумихина ограбили не за грабеж, и ограбил не кто иной как чиновники. Ночью к его лошадям подкрадывались воровы. Он выбежал и выстрелил. Понесся стон. Оказалось, что к его лошадям подходило трое и что одного он убил, а двое убежали. Убедившись в этом уже утром, когда рассвело, и испугавшись, он, желая спрятать следы, зарыл убитого в землю.

Убежавшие воровы побежали с жалобой к чиновникам, обвиняя Шумихина в убийстве. Явились чиновники.

— Были у вас сойоты?

— Нет!

— Вы не убивали сойота?

---

<sup>1</sup> Этнографический обзор инородческого населения долины Юж. Енисея. Минусинск 1900 г., стр. 71.

— Нет!

Произвели обыск и по следам нашли место, где сойот был похоронен. Разрыли могилу и обнаружили ложь показаний Шумихина.

Избив его тут же, избив также служившего у него рабочего, сойоты по приказанию чиновников связали обоих, причем чиновники объявили, что отправят его не в село Усинское к пограничному начальнику, а в Ургу—к консулу. Зная, что дорога в Ургу будет продолжаться целые месяцы и что все это время конвоирующие его будут издеваться над ним, Шумихин взмолился:

— Берите все, только отпустите!

И чиновники «взяли все» и отпустили, но то ли от побоев, — били по голове, — то ли от пережитого Шумихин сошел с ума.

Так представляется то «русское влияние», об укреплении которого так усердно хлопотал Г. П. Сафьянов.

Наряду с явным грабежом русские торговцы прибегали и к другим приемам. Один из торговцев-качинцев, не добившись уплаты долга от тоджинского сойота, тут же у него в юрте заявил, что повесится, и накинул себе на шею петлю. Испуганный сойот немедленно расплатился с долгами. Известие об этом широко разнеслось по всей Сойотии, и один из приказчиков, видя действительность такого приема, попытался это же проделать с другим сойотом. Но тот был поумнее. Он снял приказчика с петли и тут же высек под град насмешек: «А что? будешь еще вешаться?»

К сказанному надо еще прибавить несколько слов о взимавшихся за долг процентах. Они могли возрастать до бесконечности. Если в уплату следует корова, то к следующему году она уже возвращается с приплодом. Если долг затягивается на несколько лет, то с должника взыскивается не только весь могущий появиться приплод одной коровы, но и приплод ее потомства. Повышение процента измеряется ростом и размножением скота.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

### ДОРОЖНЫЕ ВСТРЕЧИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Во всех предыдущих главах, для сохранения цельности исследования, я из своего дневника извлекал материалы по каждому отделу и объединял. Между тем и дорога в Урянхайский край, тогда совершенно не исследованная, и дорожные встречи, и впечатления представляют большой интерес. К сожалению, когда я после первого года экспедиции зимою на короткое время ехал для возобновления экспедиционных запасов в Минусинск, я чуть не утонул, попав в саях в полынью, буквально еле-еле спасенный мною дневник оказался настолько подмоченным, что десятки страниц — неудобочитаемы. Но это еще не все. Из экспедиции я вернулся в конце августа 1903 года. В 1904 году я получил наконец возможность вернуться на родину.

Это был 1904 год. Не до обработки материала тогда было! Очутившись в 1907 году в эмиграции без копейки денег, я должен был много работать, чтобы просуществовать; для обработки материала оставалось времени немного, и я успел обработать лишь часть материала об Усинском пограничном округе, которая так в неоконченном виде и была напечатана.

Когда вспыхнула война, все, что у меня было, осталось во Львове, в том числе и фотографические негативы. Многие сохранилось, но 168 первых страниц из дневника пропало безвозвратно. В эту часть входила вся дорога от Минусинска до р. Кемчика, и мне приходится поэтому воспроизвести только часть дневника, относящуюся ко второму году экспедиции.

Выехал я из Минусинска 27 марта. В это время езда по Енисею становится опасной, и вынужденные ехать собирают компанию, в одиночку уже никто не решается ехать. Компания, с которой я ехал, состояла из пограничного начальника Александровича, местного торговца, о котором я уже не раз упоминал, Г. П. Сафьянова с женой, молодого торговца Кузнецова и золотопромышленника Пшеничникова. За исключением последне-

то, каждый из перечисленных мною спутников представлял весьма характерный для того времени тип. Александрович, уже когда-то бывший пограничным начальником и вновь назначенный на этот пост, был прямой противоположностью Харченко, который отказался за год до этого выдать мне паспорт. Харченко был неотесан, грубоват, реакционер до мозга костей, до цинизма откровенный в своей реакционности. Александрович внешне был совершенно культурен, предо мной, политическим ссыльным, щеголял своим либерализмом. Сыновья его были студентами Томского университета и принимали участие, по тогдашней терминологии, в «студенческих беспорядках».

«Собрались, студенты, — рассказывал Александрович, — и кричат: «Долой самодержавие!» Подъехал к ним полицмейстер и уговаривает: «Ну, ладно! долой так долой, но разоидитесь!»

Но этот «либерал» у себя в округе был таким самодержцем, что никакой самодержец с ним не мог бы сравниться. Уже в первый день пути жаловался мне на него ямщик. Александрович назначил выезд на 19 марта из Шунер (деревня), а выехал 27-го. Ямщик держал все это время наготове для него семь лошадей, скормил 40 пудов овса; Александрович выгнал его, когда он заикнулся о возмещении ему этого убытка. В дороге Александрович тоже «начальствовал» и, надо ему отдать справедливость, довольно-таки глупо. Оберегая себя и считая, что будет безопаснее обоз с кладью пустить вперед, а самому проехать по следам обоза, он так и сделал, и с обозом уехали все рабочие. Благодаря этому мы в случае провала льда были предоставлены самим себе. Мало того, обоз, проезжая, отдавливал лед, и нам приходилось проезжать либо по воде, выступившей после проезда обоза, либо самим выбирать место для проезда, рискуя по неопытности провалиться.

Своего предшественника Александрович ругал на чем свет стоит, и эта ругань сразу определила его отношение к сойотам. Русские переселенцы на Туране и Уюке захватили у сойотов покосы. При разборе этого дела Харченко признал права сойотов на эти покосные участки. «Этого никогда нельзя делать! — горючился Александрович. — Им всегда надо внушать, что земля наша, а если они уж сильно обижены, то можно их вознаграждать, но исключительно под предлогом, что это вознаграждение за труд по очистке покосов». Такую политику он все время проводил, поддерживаемый в ней всеми влиятельными торговцами, лидером которых в этом вопросе был составитель многих записок по начальству Г. П. Сафьянов, — «сладкопевец», как его называли многие минусинцы. Он действительно «сладко пел», но характерно то, что он при этом не лицемерил. В Минусинске он проявил себя как общественник, поддерживал чем мог Н. М. Мартынова, при организации музея доставлял и материал и денежные средства. Инициативный, деятельный, он многим оказывал немалые услуги, готов был в беде помочь и сойотам, но

помочь как «благодетель», что не мешало ему основательно обирать этих сойотов и бранить сына, Иннокентия Георгиевича, романтически настроенного, за слишком дешевую продажу муки сойотам во время голода.

Третьим нашим спутником, не говоря о жене Георгия Павловича, скуповатой, но набожной до изуверства, был молодой купчик Кузнецов—один из многих, возмущавшихся обиранием сойотов и принимавших активное участие в этом обирании. И хотя он торговал, как тогда выражались, не «от себя», а «от своего тестя Вавилина», он негодовал при одной из первых встреч со мною на то, что бейским купцам возвращалась пошлина, взимаемая за хлопок при вывозе хлопчатобумажных изделий за границу, а усинским нет. Уже в дороге оказалось, что Кузнецов—малоопытный торговец. По дороге из Шуер на «Кордон»,—причем нас из Шуер провожали довольно странной поговоркой: «Жить—не стариться, упасть—не справиться!»—мы встретили в Саянске двух сойотов, приехавших с Ак-хэма за хлебом. Они продали Кузнецову соболя за 20 руб. Впоследствии обнаружилось, что соболя был подкрашен. Это делалось следующим образом: шкурку соболя прикапчивали над костром, отчего она темнела.

— Не умею торговать,—сознался Кузнецов,—не умею и получать с сойотов и долга. Не делать же мне того, что делает Ведерников. Если ему сойоты отказывают в уплате денег, он ложится в юрте на землю ногами к бурханам и, этим оскверняя их святыни, приводит сойотов в такое состояние, что они готовы бывают из-под земли добыть средства, лишь бы расплатиться с ним.

Пшеничников, золотопромышленник-неудачник, не представлял ничего интересного.

До «Крутого поворота», куда мы приехали только 30 марта из-за Александровича, который задержался в Минусинске, дорога сносная. Начиная с «Крутого поворота» ехали то по берегу, то по льду. На этом пути все опасались переезда на «Абдырской шивере» при впадении р. Абдыри в Енисей, но опасения оказались неосновательными. Дорога ухудшилась только после выезда из Сигова. Тащились по гальке, тратя часы на перетаскивание тяжело нагруженных саней, в то время как дорога была буквально каждая минута. Предстояло переезжать и через «Кобылью спину» и через «Федосову яму»,—места, опасные даже и не весной. «Кобылью спину» миновали благополучно, но через «Федосову яму» предстояло проезжать уже вечером. Это было рискованно, и поэтому, разведя на берегу костер, переночевали под открытым небом.

В 5 часов утра 1 апреля двинулись дальше и, миновав благополучно «Федосову яму», добрались до «Камешка». Здесь простояли недолго. Все старались как можно скорее добраться

до «Большого порога», который мог нам совершенно преградить дорогу в село Усинское.

«Большой порог» бурлил, но ямщики нашли по правой стороне более узкое место в стороне от порога, каменистое, покрытое водой, но не глубокое. Лошади шарахались, люди, бродя по воде, вели их под уздцы. Часа четыре провозились здесь, но не застряли. Все вздохнули с облегчением. Ночевали на зимовье, и тут от Кузнецова я узнал, что усинские купцы в посланной по начальству докладной записке указали на необходимость: 1) выбора торгового старшины, через которого должны делаться все заявления сойотским чиновникам по претензиям русских к сойотам, 2) производства расчетов деньгами, а не овцами, как водилось до сих пор, и 3) действительной оценки каждой угнанной лошади, а не расплаты по раз навсегда установленной цене, независимо от того, угнана ли хорошая лошадь или плохая. Из беседы с Кузнецовым и Пшеничниковым я узнал, что торговцы и русские переселенцы остались крайне недовольны действиями заместителя Харченко Барышникова на съезде русских чиновников с сойотскими для разбора дел о взаимных претензиях русских и сойотов. По постановлениям прежних съездов, если доказчик при допросе на съезде отказывался от ранее сделанного заявления, то обязанность уплаты за угнанную лошадь падала на него. Во время туранского съезда доказчики отказывались от сделанного заявления. На этом основании Барышников хотел прекратить дело за недоказанностью. Потерпевшие русские не согласились и предложили двум сойотским чиновникам присягнуть в удостоверение того, что доказчики не несут ответственности. Чиновники, не согласившись на это, предложили русским половину платы за угнанных лошадей. Барышников, обрадовавшись такому выходу из положения, сразу же согласился и этим вызвал недовольство русских обирал.

Дальнейшая дорога до села Усинского уже не представляла ни опасности, ни интереса. 15 апреля утром я выехал по дороге на Туран, 16-го выехал на Уюк, 17-го я переночевал на берегу Баянгола, верстах в двадцати пяти от Салдама, заимки Сафьянова, куда я перебрался еще по льду на другую сторону Енисея.

Хозяином на заимке был Иннокентий Георгиевич Сафьянов, ныне коммунист. В то время это был просто хороший, отзывчивый человек, во время голода в Сойотии скормивший сойотам всю имевшуюся у него на складе муку. С сойотами он сжился, и к нему отношение было более чем дружеским. Это был человек, на которого можно было воздействовать, и я каждую свободную минуту проводил в беседе с ним о той революционной борьбе, которая велась уже десятки лет с такими огромными жертвами. Много было для него тогда откровением. И когда я, закончив работу среди ойнарских сойотов, прощался с ним, у меня не было сомнения в том, что брошенное мною семя упало на подходящую почву и что «Кеша», как его называли в семье,

не останется пассивным свидетелем происходившей революционной борьбы. Так оно и было. Иннокентий Сафьянов принял активное участие в борьбе с колчаковщиной.

Из Салдама я делал экскурсии в самых различных направлениях. 24 апреля я отправился по дороге, идущей через гору Бом. Не доходя до вершины, с левой стороны дороги, выложена из камня ограда с аршин вышины, напоминая укрепленный наблюдательный пункт. За Бомом дорога поворачивает на юго-восток по направлению к речке Шол. Растительность очень скудная. Верстах в четырех от Бомы издали белеет песчаная, оголенная от всякой растительности, верхушка г. Манган-илезын, по верованиям сойотов, местопребывание «албыс» (нечистых духов-соблазнитель). Истоки р. Шол верстах в двадцати от Салдама. Мы были от нее на расстоянии трех-четырёх верст, как поднялся страшный ветер. Тучи песку окутали нас со всех сторон. Пришлось остановиться переждать стихию. 25 апреля в 6 часов утра добрались до истоков реки Шол (анероид 675,  $t^{\circ}$  инструмента 17 при  $t^{\circ}$  внешнего воздуха  $4^{\circ}R$ ). Дорога сворачивает в сторону соляного озера Тус-куль. В долине р. Шол растительность обильнее, но по мере приближения к озеру растительность постепенно исчезает. От Тус-куль дорога сворачивает на юго-восток. В десяти километрах — озеро Кадын (березовое), в которое впадает речка того же названия. На речке еще был лед. Берега Кадына местами высокие, обрывистые. Узнав, что километрах в двух-трех остановился Кузнецов, о котором я уже упоминал, я решил переключать возле его палатки. От Кузнецова узнал, что «амбын-нойон», к которому я направился, уехал на «чещ» (съезд) с монгольскими уванами по вопросу о вторжении сойотов в земли монголов. В связи с этим мне пришлось изменить намеченный маршрут, и я 26 апреля отправился по пути к салдажакскому «огурде». Дорога проходит вдоль озера Джидер. Слово «Джидер» значит по-сойотски «хватит». Название озера соответствует действительности. Кормовые травы здесь в изобилии, и их «хватает» на десятки тысяч голов скота. Тут паслись стада Сафьяновых, Вавиловых, Медведевых и других, отправляемые в Иркутск. Дальше по направлению к северу растительность более тощая. Дорога песчаная. Только вечером добрались до вершины реки Эрте (анероид 672,  $t^{\circ}$  инструмента  $30^{\circ}$ ,  $t^{\circ}$  внешнего воздуха  $+8^{\circ}R$ ), где находится кумирня «огурды». На следующий день утром, как только мы проснулись, к нам явился лама в халате, поверх которого был натянута «кантазын» (китайский камзол) — знай, мол, что я высокий чин. И действительно, он был заведующим кумирни. От него я узнал, что при кумирне живут обслуживающие ее живописцы или, точнее, бурханописцы.

От кумирни до ставки «огурды» двенадцать—пятнадцать километров. Повсюду видны следы настолько старинной дороги, что на колеях уже успели вырасти большие лиственницы.

О визите к этому «огурде» я уже писал выше. От него я узнал, что недалеко от его ставки торчит камень, уже осмотренный русскими путешественниками, с надписью на манчжурском и китайском языках. Сойоты называют этот камень «Шаргаль», а эти путешественники называли «Шара-холь».

Вечером долго нам мешали заснуть табуны лошадей «огурды». На следующий день оказалось, что «огурда» велел их прогнать мимо моей палатки в расчете на то, что я их сниму... ночью! 28 апреля я отправился дальше. Километрах в двух от ставки находится ряд курганов. Один из них больше остальных. От него идут два ряда камней на равном расстоянии один от другого в виде вешенной дороги до пересечения со старинной дорогой.

Перевалив через гору Кызыл-таг, мы вновь подъехали к кумирне, к слову сказать, обставленной очень убого. С наружной стороны на передней стене изображены летающие ламы.

Ночью погода сильно ухудшилась. Шел мелкий осенний дождь при сильном ветре. Перевалив в шести километрах от р. Эртнэ гору Таштых-Каджагар, мы выехали на холмистую степь Балгазын. В юрте, куда мы заехали, я заметил до этих пор не слыханный мною «зрень». Я хотел его приобрести, но наткнулся на отказ или, вернее, на предложение приехать через четыре дня. — тогда мне его продадут. Оказалось, что в этом улусе происходило холощение скота, в связи с чем нельзя ничего выдавать на сторону из юрты в течение трех дней. Оттуда направились к горе Кызыл-Маджалых и, оставляя направо Джеты-Баштых (семь голов — семь холмов), спустились в местность Баянгон. По дороге пересекли две речки, каждая из которых носит название Терги, и остановились в степи, где нас мгновенно окружили сойоты, перекочевавшие из-за хребта. Они были стройнее, чем ойнары. Лица более широкие, губы толстые. Заметна помесь с монголами. Другие, наоборот, с лицами продолговатыми, более похожими на европейские.

Отсюда поехали вверх по течению р. Шормук и, проехав верст десять, остановились на ночлег вблизи Тинек-Кизик — «Дурацкого брода», названного так в честь дурака, который, «не спросившись броду, сунулся в воду» и чуть не утонул. Когда мы утром 30 апреля проснулись, все кругом было на вершок покрыто снегом. Продолжаем путь вверх по р. Шормук, который в этом месте течет почти параллельно хребту Танну-Ола, затем пересекает р. Каскал, за которой находится ряд курганов. Верстах вдесяти на самом берегу Шормука — шаманское дерево «хамняш» со сплетенными в виде гнезда ветвями. Характер дороги резко меняется: из степной с незаметным подъемом она становится гористой. Место пустынное. Переваливаем через высокую гору Байтаг (анеронд 665,  $t^{\circ}$  инструмента  $23^{\circ}$ , внешнего воздуха  $+8$  в 1 час пополудни). Облачно, ветрено, за Байтагом:

километрах в восьми перевал через Танну-Хамео, удобный для верховой езды, и три километра дальше более широкий, носящий название Халдак. Лес на Танну-Ола — по преимуществу лиственница, но встречается и ель, пихта, а местами и кедровник.

Подъем на гору крутой, каменистый. По дороге пересекли ключик Шураштых, затем поднимаемся на горку Тарбаган-шире (дословно — «сурковый стол»), после чего крутой спуск в реку Арага-Тюктюр (дословно — «вино проливается») (анероид 630). Спуск с горы — очень пологий — в долину р. Титтих-хэм («лиственничная река»), усеянную курганами. В этой же долине находится ойнарская кумирня. Здесь же в долине «синела» палатка (из китайской синей материи). Там за водку приобретал за бесценок торгош Григорьев у сойотов пушнину.

Дорога пересекает р. Титтих-хэм, оставляя на западе сопку Бюрт-тей — «шапочную верхушку», а затем километрах в двух речку Хуль-ужю — «конец озера», после чего идет поворот на юг, на старинную дорогу. По левому берегу речки целый ряд курганов. Только 2 мая мы спустились к р. Тес, в местность Тарлакшин-Акса, в двух километрах от горы Хайэрхан, в километре от улуса «амбын-нойона», о посещении которого я уже писал. На этой стоянке нас все время мочил дождь.

— Есть такие корни, которые выкапывают только тогда, когда кому-либо нужен дождь. Должно быть, кто-нибудь их выкопал, — объяснил это явление один из посетивших меня сойотов.

— А как его остановить? — задал я вопрос.

— Ламы это делают, — последовал ответ. — Шейной иконой, а то и просто ножом отводят тучу в желательном направлении.

Выехав из ставки нойона 4 мая, мы к вечеру доехали до Титтиххэма, а на следующий день, проехав два километра по берегу этой же реки, наткнулись на стадо яков. Здесь они очень редки. Як — животное мохнатое; безобразное, гораздо меньше коровы. Помесь яка с коровой дает скот крупный. По наблюдению сойотов, бугаи пренебрегают самками яков в противоположность самцам яков, охотно завязывающим любовную связь с коровами.

Двинувшись дальше, мы вскоре вынуждены были остановиться. По дороге двигались буквально тысячи баранов, овец, верблюдов, быков, коров, жеребцов, лошадей и кобыл. Это перекочевывал на летник богатый сойот Чиж-мерин.

6 мая, отъехав километров тридцать по течению р. Шормук и то-и-дело натываясь на курганы, из коих на некоторых успели вырасти большие деревья, мы повернули на юго-запад по направлению к крутой горе Кызыл-Маджалых, торчащей над речкой Маджалых, берега которой тоже были усеяны курганами. Объехав горку, мы остановились на левом берегу реки, крутом и высоком, постоянно подмываемом водой.

7 мая выехали на юго-запад. В десяти километрах озеро Джатай-куль, около двух километров в диаметре. Водится в нем

щука («шортан») и язь («тозын»), вульгарно — сек («балык») — костистая рыба. В этом озере прежде ловили рыбу и русские, но это им после было запрещено, так как терпение сойотов исчерпалось: поленившись ходить в лес за дровами для костров, русские разбили «ова» на костры.

Отсюда отправились к верховьям Кадына — двадцать пять километров от безводной стены. 8 мая, обогнув с западной стороны озеро Кадын, поехали без дороги на северо-запад по направлению к р. Элегесту, оставив на юго-востоке озеро Тускуль, до озера Как, и оттуда, нигде не останавливаясь, — «к себе», то есть в Салдам, к основному пункту, откуда я делал экскурсию.

21 мая отправились на Мичигей. Первые двенадцать километров та же дорога, по которой ехали из Кадына в Салдам. Холмистая степь.

По мере приближения к Мичигею — травы лучше. Берега Мичигея летом густо населены. Проехав километров десять, мы добрались до горы Норбы, где находится «ова». Празднество в связи с молебном о благополучии скота мною описано выше.

Продолжая стационарно работу на Салдаме, я записал кое-какие данные, заслуживающие внимания.

Таган на костре в дороге ставится в том направлении, куда человек едет.

Коробку, бывшую в употреблении, нельзя никому передавать пустой: дух — «хозяин коробки» — может обидеться.

У тоджинцев в течение двадцати восьми дней не выпускают никого из юрты, в которой находился покойник. Все бывшие в этой юрте считаются «чудек» (нечистыми). Такой же изоляции подвергается и выносивший покойника.

На Тодже, в местности Улу-Танды, на перевале горы существует «ова», охраняющее тоджинцев от воров. Вор, проезжая мимо этого «ова», обязательно нарывается на какое-нибудь приключение. Это же «ова» охраняет скот от болезни и падежа. Наконец, сообщение, что в конце прошлого столетия, когда хоронили умершего тоджинского «отурду», был заколот конь и шкура коня развешена на дереве.

Только 29 мая я выехал из Салдама по направлению к Халхэм — Малому Енисею, на этот раз совместно с караваном Сафьянова с товарами. Эта совместная поездка с караваном представляет много неудобств, — много времени тратится на завьючение лошадей, на остановки: то вьюк валится, то лошадь зацепляет вьюком за дерево, но зато видишь много, чего бы без этого не удалось увидеть, и всю дорогу беседуешь с сопровождающими караван сойотами.

Уже на следующий день утром пришлось испытать неудобство такого совместного передвижения. Утром начали плавить багаж на правую сторону Малого Енисея на утлой лодочке сальджакского «джянги». В десяти метрах от берега лодка на-

кренилась. При этом один из гребцов сделал неловкое движение, и стоявший сверху ящик с порохом бухнулся в воду. Проштрафившийся сойот — благо было не глубоко — прыгнул в воду, вытащил ящик и потащил его на себе на берег. Поднялась суматоха. Лодку вновь оттащили на берег, весь груз выложили и начали сушить. (Оказалось, что лодка, накренившись, зачерпнула воду.) Только через час хватились, что пока подмоченный товар сушится, остальной можно переправлять. Но только-только успели переправить на другой берег два раза лодку с товарами, как поднялся очень сильный ветер, а затем пошел дождь. Вышло еще хуже: часть товара оказалась на одном берегу, а остальной на другом. Правда, на правом берегу оставался в качестве караульщика один сойот, но ему не оставили ни чаю, ни сухарей, и он, голодный, мок под дождем. Оставшиеся на левом берегу сойоты сильно волновались по этому поводу, и двое из них, несмотря на бушевавший ветер, решились переплыть на другой берег с провизией. Вал по реке шел огромный, но им все же удалось благополучно доставить караульному еду и вернуться обратно.

К вечеру ветер стих. Переплавили вещи, переправился и я на другой берег, но лошадей переправить не успели. А Енисей готовил новый сюрприз. Вода в нем начала усиленно прибывать и заполнила протоку, до этого сухую, отделявшую островок, на который складывались перевезенные товары. Волей-неволей пришлось плавить двух лошадей, чтобы перевезти товары на другую сторону протоки.

Только на следующий день рано утром переплавили остальных лошадей и перед дальнейшей дорогой принялись чаевать. Чаевал с нами и брат невесты Саин-Белека, той, о которой я уже писал. На этот раз невеста проявила к своему будущему мужу немалое внимание: она прислала ему бутылку молока к чаю. Он отнесся к этому как к должному и передал молоко артели, варившей чай. Уехавший на тот берег брат невесты забыл взять с собой пустую бутылку из-под молока. И поднялась суета! С того берега кричали, ветер относил слова, продолжительное время нельзя было понять, по какому случаю шум. Успокоились только тогда, когда с того берега им показали, где прячут бутылку.

Завьючили лошадей и начали собираться.

Саин-Белек подошел к самому берегу реки и прокричал своей невесте-жене наставления, как ей вести себя. Она выслушала молча.

Дорога шла на северо-восток. Перевалив гору Тос-Шанджик, спустились в долину р. Теректых-хэм, а затем в долину р. Папсы. Речка быстрая, довольно глубокая. Переводили с правого берега на левый, сплошь занятый пашнями. Почва глинистая. То-и-дело натыкаемся на арыки (оросительные канавки). Справа на горе «ова». Это — «тара-ова» («хлебное ова»). Оно

ставится землевладельцами на месте, где начинаются арыки.

За «ова» — густой лес, примыкающий к р. Талсе, слева — горы.

Едем по тропинке, вьющейся по уклону горы, то-и-дело переходя с одного берега речки на другой. Руслó реки узкое. Вода с шумом несется, разбиваясь на мелкие брызги. Броды неглубокие.

Остановились на ночлег на полянке, сплошь изрытой круглыми ямами около метра глубины и полметра в диаметре. Это хлебные амбары сойотов. Когда мы проснулись утром 1 июня, вся поляна была покрыта инеем.

Оставив р. Талсе с правой стороны, поехали на север. Здесь я впервые увидел берестяные юрты («алачих»). Остов такой юрты состоит из одинаковых шестов в  $2\frac{2}{3}$ — $4\frac{2}{3}$  метра длины, верхние концы которых расставлены таким образом, что один шест упирается в другой, в то время как нижние концы образуют круг. Эти шесты покрываются полосами бересты.

Возле юрт «кажя» — помещения для коз и козлов, тут же пасущихся. Дорога однообразная: с горки на горку. Часа в два пополудни спустились в долину, на которой виднелись юрты. Мясо у нас вышло, и мы у подъехавших к нам тапсачидинских сойотов, говоривших между собой по-монгольски, спросили, не продадут ли они нам овцу или козу. Сойоты решительно отказались. По их исчислению было 19-е число, а в этот день нельзя ничего продавать. Этот запретный день носит название «Шерлих».

Попытались купить овцу у местного «джейсана», но наткнулись на такой же отказ. Но в результате поисков нашли сойота, который решился нарушить запрет. Он запросил за козу три кирпичика монгольского чаю. Эта цена была вдвое выше обычной. После торга продали за два. Обреченной на заклание козе связали ноги, голову наклонили над котелком, перерезали шею и дали стечь крови в котелок. Коза хрипела. Кровь стекала медленно. Пока свеживали тушу, уже кровь варилась на огне в котелке. Готовилось любимое кушанье сойотов «кхан» (кровь), к которому неравнодушны и русские, прожившие несколько лет в Сойотии.

Утром 2 июня двинулись дальше. Предстоял самый трудный переход — перевал через Атчиных-тайга. Едем сначала долиной р. Атчиных, затем лиственным лесом. Все прелести таежной тропинки — впереди. Вязкая грязь, в которую лошади проваливались по брюхо. Дорогу пересекала речка. Берега были еще покрыты ледяной коркой, нависшей над водой. Как только лошадь ступала на эту корку, корка проваливалась, и испуганная лошадь пятилась назад.

Речка, глубиной выше колена, сплошь покрыта кочкарником. Дно вязкое. Для вьючных лошадей пришлось обивать лед и проводить их по одной. Провозились с этим часа три, а затем на-

чали подниматься. Подъем крутой. Растительность — лиственница и изредка кедр — становится все мельче и мельче. Недалеко от вершины горы лес выгорел и угрюмо торчат голые, обугленные стволы деревьев.

Еще выше — и растительность совершенно исчезает. Под ногами хрустит галька. Еще несколько метров — и мы на «гольце». Вершина Атчиных-тайга (анероид 586) местами покрыта глубоким снегом. На ней «ова».

Дав передышку лошадям, мы начали спускаться пешком, ведя лошадей под уздцы. Лошади то-и-дело проваливались. Я измерил глубину снега. Оказалась глубина более двух метров. Выючных лошадей пришлось вести стороной.

Медленно двигались вперед, то увязая в снегу, то бродя через горные ключи. Весь спуск — не длиннее двух-трех километров — мы спускались более полутора часов.

Постепенно вновь начали появляться лиственницы. Толстые, жалкие. Еще несколько десятков метров, и растительность становится более обильной, деревья крупнее, толще, ручьи — шире и с все большей и большей стремительностью скатываются с горы. Ниже на полянках масса «пес» — кандыку и полевой лилии.

В десяти километрах от перевала брод через речку Малая О, берега которой очень живописны. Над горами, покрытыми лиственницей, нависают покрытые шапками снега «таскылы». В 7½ часов вечера остановились на ночлег на левом берегу речки (анероид 626).

Утром 3 июня двинулись дальше по замерзшей дороге. Даже в лесочке лужи были покрыты льдом. Характер дороги — такой же, как и накануне: то брели по тундре, и лошади вязли в грязи; то взбирались на горки, где грязь не меньше.

Систему р. Малой О отделяет от бассейна Большой О гора Пах-Пестых (анероид 601). И на этой горе горелый лес. На спуске — болото. Берега Большой О столь же живописны, как берега Малой.

На левом берегу Большой О я впервые встретил сойотов, ехавших на оленях. Из беседы с ними узнал, что они «маральничают» (охотятся на маралов) уже более месяца.

Рога убитых маралов продают, мясо едят, шкуру употребляют на зимнюю покрывку юрт. Промышляют они не для себя, а для тоджинского «томут-джянги». Сами они тоже тоджинцы. Один из них особенно резко отличался от ранее виденных мною сойотов других «хошунов» и «сумо». Маленький, щуплый, с шарообразной головой, с высоким лбом, низко посаженными глазами, с маленьким, слегка сплюснутым вверху и слегка же приподнятым влизу носом. Средняя часть лица значительно меньше верхней и нижней, благодаря чему лицо напоминает обезьянью морду.

По развиту эти встреченные мною сойоты тоже ниже ойнаров. Мое предложение снять с них фотографическую карточку

вызвало в описанном мною обезьяноподобном сойте такой испуг, что он подбежал к оленям и живо стал собираться, чтобы удрать.

Дорога носит прежний характер. Едем вдоль р. Большая О. После трех часов езды оставляем справа дорожку, ведущую к Дархатам, и останавливаемся километрах в трех дальше, на опушке тайги.

Из разговоров узнаю, что тоджинцам нельзя произносить имени старшего родственника, будь это даже женщина. В других «хошунах» нельзя произносить только имени высших чиновников.

На стоянке одни сойоты занимались стряпней, другие жгли лопатку убитой овцы, чтобы определить, благополучно ли поедем. Гадали по той стороне лопатки, на которой торчал гребешок. Продольная трещина, по их объяснению, изображала нашу дорогу. Ее под углом пересекала другая трещина. Это должно было обозначать, что дорога будет благополучна. Поперечные трещины с другой стороны гребешка предвещают счастье («альджа»).

Подъехал еще один сойот-тоджинец. Он, внимательно присмотревшись, заметил с правой стороны еще две трещины. По этим трещинам он определил, что предстоит встреча и ссора.

Я спросил, есть ли средство это предотвратить и не надо ли шаманить? Сойот заявил, что лопатка больше шамана и раз по лопатке так вышло, то никакой шаман изменить этого не может.

Эту же лопатку бросали, как шаман бросает колотушку, каждому в отдельности. У тоджинцев, если лопатка упадет гребешком вверх, то это к благополучию, если вниз — к неблагополучию. Это вызвало недоумение у сопровождавших меня ойнарков. У них как раз наоборот.

4 июня по крутому подъему поднялись на гору Чаламатых (анероид 606). Спуск с этой горы, крутой, неудобный, болотистый, тянется на протяжении пяти километров. Дальше дорога сухая, хорошая до речки Талын, где находилась ставка тоджинского «огурды». Местами с дороги виден в этой местности очень живописный Енисей.

Не доезжая этой речки, мои спутники остановили лошадей и, сняв шапки, склонив головы, повесили на росшей тут березке «джеламу» (несколько лент из бязи). На мои вопросы я получил ответ: «хам-хадын» (шаманская березка).

Обыкновенно ойнарские сойоты, даже в то время, как сами принимали участие в шаманских обрядах, подтрунивали и подсмеивались над ними. В данном случае не только этого не было, но, наоборот, в каждом их движении, даже тогда, когда давали объяснения, в каждом произнесенном ими слове звучала огромная почтительность.

Оказалось, что это не человеческий «хам» (шаман), обслуживающий людей, а таежный. Тайга так же, как и люди, без своего шамана обойтись не может. Этот таежный шаман носит название Оран-Танды-хам и приравнивается к богам.

По мере того как мы глубже проникали в землю тоджинцев, приходилось отмечать явления, не виденные мною ни у ойнарков, ни у кемчиктеров. В лесочке, отделявшем р. Талын от местности Толкун, на пнях срубленных деревьев лежали щепки. Это дань «хозяину лесочка», чтобы он не сердился, что деревья срубили, а ему ничего не оставили. Подъехали к р. Бай-хэм и, переплыв на лодке с левого берега на правый, остановились на ночлег в двухстах километрах от торгового заведения Галинджана Насырова. Местность сырая, болотистая. Как только мы начали чаевать, в дом Насырова, где мы остановились, ввалился пьяный «джянга», гремя каблуками русской обуви. Он носил ее, так как русская обувь более, чем китайская и сойотская, предохраняет от сырости. В этой обуви он когда-то явился на «чеш» (суд, собрание). Собравшиеся чиновники набросились на него за такое неуважение к «чешу». Но, когда он объяснил, что это вызвано болезнью, споры прекратились. Причина признана уважительной.

Появление пьяного «джянги» меня неприятно поразило. Грязный, обезьяноподобный, пьяный. На Салдаме, хотя и редко, тоже появлялись пьяные, но они вели себя сдержанно, прилично. О «томут-джянге» этого сказать нельзя. Он вел себя развязно.

Известие о прибытии «орус-имджи» (русского врача-ученого) быстро разнеслось, и сойоты повалили. Тип местных сойотов несомненно другой, чем ойнарков: щуплые, глаза посажены низко, волосы у них чернее. Встречаются бородатые. Женщины, даже бедные, одеваются лучше ойнарков, мужчины грязнее.

В числе других явился и местный шаман, субъект нервный, с мигающими глазами, худощавый, болезненный. По моему заказу он вечером совершил камлание, уже описанное мною в отделе о шаманстве.

По приглашению «огурды» я присутствовал на их «ова-тагыр» (молении и празднестве), ничем не отличавшемся от виденного у ойнарков и уже описанного мною.

Когда я подъехал к «ова», где должен был совершиться молебн, я застал несколько лам. «Тагыр» еще не начался. Эти ламы внимательно следили за ползущей ядовитой змеей, не трогая ее. Убивать змей — нельзя. «Ова» другого устройства, чем у ойнарков и кемчиктеров. Оно состоит из домика, крытого берестой, поверх которой навалены ветки. Внутри домика — принадлежности ламаизма.

Народ на «тагыр» стекается постепенно. Вскоре явился и глава местного духовенства — «хамбо». Репутацией он пользуется незавидной. Пьяница, хвостун, непрочь при случае надуть.

Я предупредил «огурду», что предполагаю во время «тагыра» делать снимки. Он разрешил. Но как только я начал налаживать аппарат, «хамбо» взъерепенился.

— Я тут начальник, почему меня не спросили?

— Ладно! Я не буду снимать, — сухо ответил я ему и велел своему переводчику доложить об этом «огурде».

— Танык-кыжи (дурак), — заявил «огурда». — Снимайте.

Тогда и «хамбо» заявил:

— Пусть снимает! Разрешаю!

Амбиция его была удовлетворена.

Народу приезжало все больше и больше. Приезжали и женщины. Здесь нет запрещения женщинам присутствовать на «тагыре». Приехал и «огурда» со свитой. Я подошел и поздоровался. Ему подали «олбук», на котором он сел. Он распорядился подать «олбук» и мне.

После обычного приветствия: «Ики хондува»? (хорошо ли поживает) — он сказал, что, вероятно, мне пить хочется, раз я здесь уже давно, и предупредительно распорядился, чтобы мне приготовили чай.

К нему то-и-делю подходили сойоты, отвешивая земные поклоны. Он здоровался со всеми, подавая им табакерку. Подошел к нему здороваться и Саин Белек и, как здоровающийся первый раз с ним, поднес «тотазын» (ленту шелковой материи). Таков обычай.

Вместо шелковой материи бедняки часто подносят для выражения почтения небольшой ремешок.

От молебна, а потом и от состязаний всех отвлекали нависшие над «ова» грозовые тучи. Вдали гремел гром. Кое-кто из сойотов обратился ко мне с просьбой прогнать дождь. В голосе их звучала глубокая вера в то, что «имджи» может это сделать. Ламы отгоняли тучи шапками и платками.

Перед отъездом «огурда» и «джянга» пригласили меня заехать после торжества к ним в гости, пояснив, что по обычаю все едут после праздника к ним. Я принял приглашение.

Сойоты перед отъездом несколько раз проезжали вокруг «ова» и только после этого уезжали. Пока я собирался и при моем умении ездить верхом пока спускался с горы, «огурда» со всеми чиновниками были уже давно в юрте «огурды». Когда я вошел в юрту, все места с левой стороны были заняты. Впереди других сидел «хамбо». «Огурда» пригласил меня сесть на правой стороне, между ним и женой. Началось обычное табачение. Я поднес папироску «огурде» и его жене. «Хамбо» сидел от меня на таком расстоянии, что для того, чтобы ему поднести папироску, мне пришлось бы встать. «Хамбо» обиделся:

— Не знаю, что за человек?! Со мной не хочет знаться. Карточки снимает...

— Молчи! Молчи, хамбо! — возразил «огурда». — Он и амбын-нойона снимал.

И в подтверждение своих слов он показал ему подаренную мною карточку «амбын-нойона».

— А есть ли у него бумага, чтобы в нашей стране снимал? — не унимался «хамбо».

— Молчи, молчи, дурак! — оборвал его «огурда».

«Хамбо» замолчал.

В юрте было тесно и темно. На дворе прояснилось. Хозяева решили устроить торжество под открытым небом. Все вышли и опять сели вокруг. Угощали кумысом, водкой молочной («арага»), бараниной, «быштахом» (сыром) и пресным печением.

Было много пьяных. Особенно выделялась сестра «джянги», которая отличалась еще на «ова», куда приехала пьяная, еле-еле держась на коне и громко распевая. Пили. Ели. Никаких развлечений не было. Только под конец вышли певцы величать «огурду» и «хамбо». Пьяные сойоты пели плохо. «Кугера» (кожаные бутылки) с водкой быстро опорожнялись. Вперед протолкалась какая-то старуха и дряхлым пьяным голосом начала по-монгольски величать «нойона». Оставаться дольше не имело смысла. «Потабачились» с «нойоном», «мерином» и «джянгой», и, не прощаясь с «хамбо», я уехал, оставив пожилую публику навеселе и парней, заигрывающих с девицами и замужними.

Замужество здесь мало предохраняет женщин от вожделений мужчин. Они пристают к ним не менее, чем к девицам, и редко-редко когда получают отказ.

На следующий день я вновь попал на камлание шамана, который уже раз шаманил по моему заказу.

Он на этот раз совершал обычное шаманское ежемесячное моление, при этом он сводил свои личные счета с чертями. Они рассердились на него. Он давно обещал им обновить костюм, но откладывал это с месяца на месяц. Они в этот раз напустились на него.

— Зарой плащ и бубен! Так являться нельзя! Сколько времени мы тебя уже прощали!

Он и на этот раз заговорил им зубы.

Обещал на горе омыться молоком.

В объяснениях с чертями шаман все время ссылаясь на свою бедность. Во время камлания «хам» наставлял свою семью жить в мире и согласии.

Один момент в его камлании заслуживает внимания. Шаман сильно забарабанил в бубен. Оказалось, что незадолго до этого другой шаман шаманил в его костюме и черти того шамана будто бы осели на бубне. С ними он повел борьбу и, как всегда, победил.

На следующий день, 10 июня, я присутствовал при присяге сойота. Во время присяги на нем была шапка, одетая задом наперед.

При посещении одного ламы я увидел в его юрте «эрени» (Яковлев употребляет название «ирень», но я у всех сойотов

явно слышал «эрень») рядом с «бурханами». На мой вопрос, допустимо ли это, он ответил, что вполне допустимо, что так и в «ном» (священных ламайских книгах) сказано.

При выходе из этой юрты я вновь наткнулся на «хамбо». Он пригласил меня к себе. Я отговорился недосугом.

— Совсем знаться со мной не хочет, — пробурчал он.

На следующий день, 13 июня, я, бродя по улусу, попал на молебен («бурхан-тагыр») к одному совершенно осойоченному монголу. Весь перемониап был для меня совершенно непонятен. Ни ранее, ни позже я такого не видел и значения его не мог выяснить.

Перед «бурхан-шире» (столиком с «бурханами») сидели молившиеся ламы. Несколько человек из них бьют в инструменты «кэнгырге», «тамбри», «сан», звонят в колокольчики. Все иконы «бурханов» развешены. На «бурхан-шире» зажжены лампадки. Перед юртой и перед «бурхан-шире» курился «артыш» (вереск).

Принесли в зыбке внука хозяйна юрты.

Дед взял зыбку, стал на колени перед очагом, а затем с зыбкой с внуком подошел к главному ламе — «бакша». Тот его благословил.

Для точности отмечаю, что этот внук — сын дочери, а не сына, следовательно, он не принадлежал к роду деда.

По выходе из этой юрты я опять наткнулся на пьяного «хамбо».

— Зайди ко мне. Я тебе что-то покажу, — позвал он меня.

Делать было нечего. Я зашел. Он пододвинул мне ковровый «олбук», повидимому, остаток прежнего величия. Обыкновенно «олбуки» бывают из войлока. После этого он показал мне карту Сойотской земли с монгольскими надписями. Карта настолько точная, что я сразу в ней ориентировался.

Судя по печати на ней, карта казенная.

Я спросил, не продаст ли он ее мне.

Он ответил, что не продаст, но подарит. Я спросил, не нужно ли ему чего, так как я хотел бы его одарить...

— Только ты об этом никому не говори! — предупредил он меня.

В это время вошла какая-то женщина, и он незаметно отшвырнул карту в сторону.

Я ушел.

Полтора часа спустя он зашел ко мне.

— Я к тебе в гости, угости меня чаем!

Опять заговорили о карте. Он не продавал ее, а дарил; я не покупал, а, отдавая, предложил ему восемь квадратных метров молескина и два квадратных метра плису.

На этом сошлись.

Он взял подарок и поехал за картой. Но не прошло и четверти часа, как он явился и заявил:

— Не дам карты! Подрался с томут-джангой! Нельзя карты отдавать!

— Не дашь, так и не надо, — ответил я холодно.

— На! Бери! — Он вынул из-за пазухи карту и передал ее мне. — Но добавь еще немного табаку!

Я дал. Он взял, но, посидев спокойно некоторое время, совершенно неожиданно заявил:

— Нет! Не отдам! Давай назад!

Я отдал. Он ушел и через четверть часа прислал мне обратно мои подарки.

Сделка не состоялась.

Все время в Тоджинской земле продолжалось ненастье. Одна сойотка объяснила это тем, что лошадь одного ламы сломала ногу и для излечения ее копают какое-то растение. Как только выкопают, ненастье прекратится.

Впервые здесь увидел шаманский жезл. На этом жезле зарубки. Палка-жезл «изображает» все тело человека: голову, грудь, бедра и голени. Зарубка отделяет одну часть тела от другой.

Здесь же услышал не особенно лестный для русских отзыв. Когда русский приходит к тоджинцу, тот делится с другими этой новостью, говоря:

— Я думал, что пришел человек, а это русский.

Среди тоджинцев много монголов и дархатов. Качинцев тоджинцы считают беглыми сойотами.

Дождь не прекращался. 15 июня некоторые сойоты уже давали другое объяснение. Дождь вызван приозерными сойотами. Загорелась тайга, и они, опасаясь, чтобы не сгорела... белка, вызвали дождь. Как — это знают только сами приозерные.

16 июня «хамбо» опять явился с картой. Я отказался ее взять. Он настаивал.

— Смотри! Упакую, тогда уже не получишь обратно.

— Ладно! Возьми! Прибавь только немного табаку.

Я прибавил и уже на следующий день увез карту, а впоследствии сдал ее в Иркутский музей.

Наконец-то дождь прекратился, и я двинулся по дороге к оленным сойотам. Дорога неудобная: горы, лес, болота. Лес по преимуществу лиственный. Изредка попадаются кедр и тощая береза. После нескольких часов езды добрались до р. Тора-хэм, берущей начало из озера Тоджи-куль. Когда мы подъезжали к берегу, мимо нас промчалась дикая коза, отпрыгнула метров на 50, остановилась и беспечно глядела на нас.

«Почвенная вода пошла!» — сообщил нам на Тора-хэме великий торговлю Скобелев. Благодаря половодью перед самым его домом р. Тора-хэм слилась с Енисеем. Вода этой речки по цвету отличается от воды Енисея. Она имеет какой-то красноватый оттенок и даже на довольно далеком расстоянии в одном русле видны две струи: стальная и красноватая.

Утром 18 июня выехали по направлению к Тоджи-куль. Ехали то степью, то редколесьем, по преимуществу березовым, с вкрапленной местами лиственницей. По сообщению местных русских купцов, которого мне проверить не удалось, прибыль и убыль воды в р. Тора-хэм происходит вне зависимости от прибыли и убыли воды в других реках. В Енисее вода может прибывать, а в Тора-хэме убывать. В Тора-хэме вода прибывает позднее, чем в других реках. Это происходит в зависимости от прибыли воды в Тоджи-куль. В двенадцати километрах от Тора-хэм — «хораш», как здесь называют курганы. От кургана дорога тянется холмистой степью, а затем поднимается на горку, составляющую берега Тоджи-куль. Гора покрыта лиственницей. На открытых местах масса клубники в цвету. На самой высокой горе (анероид 660) «куль-овазе» — озерные «ова». Их пять. В каждой модели: деревянные модели ружей, мечей, ножей и стрел без наконечников. Ничего подобного я не встречал у степных сойотов. На развешенном куске какой-то материи — изображения всевозможных действительных и мифических животных. Тут же расставлены сделанные из дерева фигурки коней, соболей, белок, рысей, куниц, медведей и тетеревов. Сверху — «бурханы».

— Теперь соболя много будет! — уверенно заявил один из сойотов.

— Почему?

— Эти ова поставлены в этом году для того, чтобы скот размножился и зверь в лесу не переводился.

Этот же сойот сообщил, что в земле под «ова» в бутылке закопано «сай-момба» — чистое начало, снимающее всякую скверну с человека, предмета и всякой твари.

Тут же на полянке масса земляники. С этой поляны как на ладони видно озеро Тоджи-куль, вода которого громадными, причудливой формы разноцветными пятнами отсвечивала на солнце, отражая в себе десятки островов, заросших березой, и крутые обрывистые берега со спускающимися по ним к самому уровню воды величественными лиственницами.

В озере Тоджи-куль масса сига, язей, тайменей, хейрюзов, окуней. Но так как озеро освящено, ловля в нем рыбы воспрещена.

Осмотрев озеро, отправились дальше. В шести километрах увидели треснувшую скалу, в расщелинах которой росли две лиственницы. Эти деревья сойоты считают священными и поклоняются им.

При выезде из леса свернули на северо-запад, затем повернули на юго-запад и, проехав километра четыре, остановились на горе. Здесь опять неожиданность. Не «ова», а «тагылган». Не ламайская, а шаманская святыня.

Этот «тагылган» представлял из себя домик, с передней стенкой в виде заборчика. Внутри домика большой камень, покры-

тый «ходаками». По словам сойотов, в этом камне — дыра. Я приподнял «ходак» с одного краешка, но мог заметить только то, что он внизу скреплен полосками железа. Через камень развешена «джелама» и всевозможные «эрани». По сообщению сойотов, перед этим камнем устраивались шаманские мистерии зимой и весной, но... камень (!) потребовал, чтобы устраивали их и летом.

— Придется уступить,— со вздохом заявил старик сойот.— Он уже, рассердившись, начал вредить. Если кто хочет сделать другому зло, то достаточно ему перед этим камнем развесить джеламу, и тагылган ему поможет в этом.

Дальше мне предстояло плыть на плоту, и я, нигде не задерживаясь, вернулся на Тора-хэм, при впадении этой речки в Енисей.

19 июня на «салике» (плоту) поплыли по Енисею. Течение быстрое, десять—двенадцать километров в час. Выехали в 9 часов утра. В 10 часов 25 минут доплыли до устья реки И, впадающей в Енисей с правой стороны; в 1 час 50 минут — до устья Хамсары, а в 6 часов — до устья р. Систи-хэм.

Узнав, что в пятнадцати—двадцати километрах на другой стороне Енисея живет почитаемый шаман Хабакшан-хам — двоеженец, о котором я уже выше говорил, я решил поехать к нему. Этот шаман резко отличался от всех тех, с которыми я до сих пор встречался. На вид — здоровый, не юродивый, не нервничает. Тон разговора — уверенный. Виден человек, знающий себе цену и не допускающий того слегка насмешливого отношения, какое установилось по отношению к другим шаманам, в особенности среди ойнаров.

Когда мы оттолкнулись от берега, на горизонте виднелись густые свинцовые тучи. Мы надеялись успеть до грозы добраться до места. Но это нам не удалось. Поднялся ветер, и наша лодчонка, и до этого накрывавшаяся то в одну, то в другую сторону, начала страдать пляской св. Витта. Пришлось пристать к берегу, но и это далось не легко. На берег мы вытащили вещи, натянули палатку. Гроза почти без перерыва раздавалась над нашими головами. Сойоты, поднимая руки вверх, тревожно шептали: «Урше! урше, хайэрхан!» (Помилуй, помилуй, страшный!)

Дождя не было. Гроза продолжалась не более получаса. Когда ветер стих, мы отправились дальше. Из-за этой задержки только около 6 часов пополудни мы пристали к берегу и прошли пешком полтора-два километра по тундре и болотистой степи до левого берега быстрой речки Хелесхелых, где белели берестяные юрты шамана и его одноулусников. Комаров здесь видимо-невидимо, но комары обыкновенные. Нет рыжих и мокрых, которые одолевают в болотистых местах в Якутке.

Как только шаман узнал, что мы приехали, он прислал нам «олбуки» и кошмы, а затем явился и сам.

Этого, повидимому, требовал этикет.

Посидев немного, шаман ушел. Тогда уж я отправился к нему

с ответным визитом в юрту его жены, заведующей скотоводческим хозяйством и считавшейся главной женой. В этой юрте живет и он, и здесь же он шаманил. Из этой юрты уже вместе с шаманом я прошел в юрту другой жены — оленеводки, моложе и красивее первой. Антагонизма и вражды между женами не было. На поставленный им прямо вопрос об отношениях друг с другом каждая порознь отвечала так, словно самый вопрос казался им странным. Обстановка обеих юрт такая же, как у всех тоджинцев. Больше только оленьего шкурья. Посетил я и другие юрты. Грязь, грязь и грязь, а у людей какая-то пугливость при встрече с забравшимся к ним чуть не заморским чортом.

Перед каждой юртой воткнута в землю березка, у одних украшенная «джеламой», у других без всяких украшений.

Эта березка является как бы амулетом, предохраняющим домашний скот и зверя в лесу от гибели. Перед ней совершаются молебствия Оран-Телегейю и Оран-Тандью о благополучии скота и зверей.

Обойдя все юрты, я, попросив шамана позвать нас до того, как он начнет одевать костюм, пошел в свою палатку, находящуюся на расстоянии не более «половины крика» от юрты шамана. Эта мера расстояния была для меня совершенно новой, и я только впервые в этот день узнал о ней.

«Бир кышкы» (один крик) — расстояние, на котором крик может быть услышан. Из расспросов узнал, что такой же принцип положен в основу измерения времени.

Время измеряется количеством трубок, которые можно выкурить в данный промежуток времени, времени, необходимого для того, чтобы закипела чаша с водой (как у якутов), и т. д.

Увидев во время осмотра юрт на ружьях меховые чехлы, я попытался их приобрести, но наткнулся на отказ, мотивированный тем, что без чехлов ружья могут отсыреть.

Эти чехлы («бо-хаб») делались из шкурок барсука.

В 8½ часов вечера шаман, согласно уговору, прислал за мной, и я присутствовал при описанном уже мною камлании.

На следующий день, 21 июня, все жители улуса мужского и женского пола явились в мою палатку с ответными визитами. Самый почетный из них пришел с «арага»: без водки не подобиет являться к «почетным людям».

Пришел и шаман. На мой вопрос, как он себя чувствует, он заявил, что очень хорошо и что с ним часто бывает, что он чувствует себя худо, а пошаманил — и становится лучше. От него же узнал, что в этой местности очень много диких коз, что коза составляет повседневную пищу, что ее вялят, но, тем не менее, в ней часто заводятся черви, но мясо, очистив от червей, можно употреблять в пищу.

На расспросы о местах, где он накануне во время камлания витал, шаман сообщил лишь, что он «ездил» высоко-высоко, — «беш кулаш» — пять саженей над самой высокой горой.

Покончив с расспросами, я начал собираться в обратный путь. При этом я обратил внимание, что, после того как лошадь была навьючена, к узде привязали с обеих сторон колодки длиной в  $\frac{1}{6}$  метра. Оказалось, что это делается в качестве предохранительной меры, мешающей жеребцу, на которого навьючена кладь, закусить удила и понести. Как только он начинает нести, колодки бьют его по лбу, и он останавливается. Тут же узнал, что, если конь спотыкается, для предохранения его от падения к узде прикрепляется кисть («мунджик»). Как только лошадь споткнется, кисть ударяет ее по ноздрям, лошадь поднимает голову, и это помогает ей удержаться на ногах. По возвращении на р. Систи-хэм мы привялись за приготовления к дальнейшей дороге.

Утром 22 июня после посещения рыболовов Гортополовых, добывающих рыбу в больших размерах, солящих ее и коптящих на специально для этого выстроенной коптилке и сбывающих продукты рыболовства на Амыльские прински, я пошел осмотреть плот, на котором предстояло плыть.

Экипаж плота состоял из лоцмана Щегонина и четырех гребцов, не раз уже пливших по этому пути, раза четыре спускавшихся по Утинскому порогу.

Как только мы расположились на плоту, лоцман командовал: «На молитву!», после которой отвязали снасть. Плот повернулся носом вперед, и мы поплыли. Пока плыли по протокам, а затем по Систи-хэму, плот подвигался вперед довольно медленно, но, как только выбрались на Енисей, нас понесло. Гребцам основательно досталось. Енисей—река очень капризная, и местами, там, где раньше был материк, теперь появилась мель, торчат наносы. В других местах течение несет плот прямо на берег, откуда прозным врагом глядят подмытые в корнях, упавшие и торчащие над самой водой деревья. Одним из таких деревьев снесло, как перышко, чурбан, вбитый в плот, и чуть не сдернуло в воду одного коня.

Несмотря на это, на плоту испытываешь чувство полной безопасности. Плот широкий, длинный, бревна толстые; лоцман и гребцы—опытные.

Выехали на «тихое плесо». Лоцман и один из гребцов запели дуэтом:

Между гор Енисеев раздается тонкий глас...  
Тут ходил-гулял несчастный мальчик  
С заунывной своей душой,  
Белы рученьки свои ломал,  
Проклинал судьбу свою:  
«Ты, судьба моя несчастна,  
Ты за что, судьба, сразишь меня?»  
«Я за то тебя, мальчик, сразила,  
За неправду за твою...»  
«Распроклятая моя фантазия,  
Что не служишь для меня?»

Все товарищи мои пьют-гуляют,  
Забавляются с друзьями,  
Только я один, горький,  
Заливаюся слезами.  
Волга стонет, леса клонит.  
Лес, дубравушка в лесу шумит...  
Звери люты растерзать меня хотят.

Только-только успели левцы допеть эту песню, как на плоту поднялся содом. Плот несю прямо на нанос. Восемь человек стало у гребней, потом прибежал к ним на помощь и лоцман. Енисей тащит плот, как перышко, и толкает на верную гибель. Еще три-четыре секунды и... конец. Но в этот критический момент лоцман распоряжается «отурить»<sup>1</sup> плот. Гребцы на носу перестали грести, а в то же время на корме гребцы усиленно налегли на гребни. Благодаря этому маневру плот ударился в берег не носом, а кормой. Это ослабило удар. Грозная опасность миновала.

Ругань, настоящая русская ругань, была послана по адресу Енисея, подготовившего такой сюрприз.

И вновь попрежнему плот плывет, сплывая диких птиц: гусей, уток, в одном месте—на берегу—глухаря.

На правом берегу Енисея то-и-дело мелькают избушки крайних пионеров русского переселения: 1) Карагашинский поселок, в пятнадцати километрах от устья р. Систи-хэма вниз по течению Енисея, 2) Балгаш-Кижикский, 3) Тонгурпашинский — на шесть километров ниже Карагаша и, наконец, 4) Сибинский.

Карагашинскому поселку начало было положено в 1900 году. В 1903 году там уже жило семь семейств. Новоселы пробовали было сеять хлеб, продолжали посев еще в 1903 году, но хлеба погибали от мороза. В связи с этим главное и основное их занятие: охота и рыбная ловля.

Балгаш-Кижикский поселок основан только в 1903 году выходцами из Уймона. Когда я проплывал мимо этого поселка, в нем уже не было жителей. Отчасти под сильным давлением администрации, отчасти вследствие того, что эта местность далеко не подходит под понятие обетованной земли, изобилующей млеком и медом, все девять семейств уймонских переселенцев вернулись на родину, и лишь жалкие хибарки напоминали о массе сил, средств, энергии и здоровья, затраченных совершенно понапрасну, лишь к вящему обездолению и разорению и без того обнищавших выходцев из Уймона.

В Тонгурпашинском поселке жила всего одна семья Савелия Горбунова. Но и эта семья собиралась ехать обратно. Мороз убивал хлеба. Более населен и в лучших условиях находился Сибинский поселок, но, к сожалению, весь материал, относящийся-

<sup>1</sup> Везде в кавычках мною употребляются выражения местных русских.

ся к этому поселку и записанный отдельно, затерялся и ничего больше об этом поселке я сообщить не в состоянии.

В 7 часов утра 23 июня мы двинулись дальше. Команда «на молитву» была произнесена на этот раз как-то торжественно, все молились более сосредоточенно, многие отбивали земные поклоны. Предстояло плыть через Утинский порог. Это чувствовалось во всем. Даже сойоты стали как-то серьезнее, и видя, как русские к чему-то готовятся и молятся, и они молились.

— Урше! урше! (Помилуй, помилуй!)

— Ну, благословляйте!—обратился лоцман к стоявшим на берегу сибинцам.

— Благослови, господи!

— Отдай снасть!

Кто-то на берегу отвязал канат, гребни шлепнулись в воду, плот «отурил» и тихо понесся, оставляя позади жалкие лачуги сибинцев и их обитателей, забравшихся на край земли и не уверенных в том, не придется ли завтра же бросить все и возвращаться туда, откуда сюда их забросила нужда.

Этот Сибинский поселок совсем как-то оторван от всего русского. На Туране и Уюке постоянное сообщение с селом Усинским. Сюда же кто когда-либо заглянет? Даже сорока на хвосте вестей не принесет, да и нет сорок ни здесь, ни на Систи-хэме.

Пока плывем, весь экипаж готовится к встрече порога. Вещи укутываются в шкуры и в брезент. Все находящееся на плоту крепко привязывается.

Этот порог в оное время уже поглотил три человеческие жизни.

Из рассказов оказалось, что хотя порог и опасен, но погибшие сделались жертвой собственной неосторожности. Плавил лес и, не связав его ничем, положили поперек плота «сутунки». Когда вал хлынул на плот, «сутунки» подняло и ими смело находившихся на плоту.

Течение с каждым километром становится быстрее. Деревья на берегу только мелькают. Плывем как бы по коридору. С обеих сторон Енисей—высокие скалы.

Время тянулось бесконечно долго. Все в ожидании порога.

Прошел час, другой, третий...

— Далеко еще?

— Да, километров пять будет...

Лоцман, осмотрев все на плоту, влез на вышку из вешей, пригласив меня сесть рядом с ним.

На этой же вышке он отвел место для сойотов. Их, как не привычных к этому, освободили от гребли.

Делаются последние приготовления.

Лошадей привязывают коротко к столбам, а сзади их за хвосты крепко привязывают к плоту. Лошади терпеливо поддаются этой мало приятной для них операции.

Но вот издали уже доносится глухой рев порога.

— Ну, братцы, еще раз помолимся!—сняв шапку, командует лоцман.

Все молятся. Молятся и сойоты.

Жутко. Порог ревет все громче и громче. Впереди мелкие рызги воды, словно туман, поднимаются вверх. Это и есть тот страшный порог. Волны, разбиваясь о камни в виде миллирдов капель, стоят над порогом. Еще секунда—и видна гневная лена порога.

— А хлеб-соль где? — в последнюю минуту тревожно спросил лоцман.

Поспешно на борт плота была положена коврига хлеба и соль.

— Господи помилуй!—в последний раз взмолился лоцман.

— Держись! — послышалась последняя команда.

Плот накренился, нос погрузился в воду, корма поднялась.

Гребцы крепко держались за гребь, но и их повалило. С одного сорвало шапку, а затем все они погрузились в воду.

— Урше!—молились пожелтевшие сойоты.

Вал воды продолжал наступать. Еще секунда — и гребцы на ясу вынырнули.

Плот трещал, того и гляди, разлетится вдребезги.

— Нос налево!—спокойно скомандовал лоцман.

Гребцы схватились за гребь, корма погрузилась в воду. Еще секунда — вынырнула и корма.

Опять «отурили» плот и опять погрузились в воду.

Это предпорожье. Еще три секунды и мы вне опасности. Плот покачивается, волны его захлестывают, но это уже никого не тревожит. Порог уже позади.

Все снимают шапки и опять молятся.

Лоцман достает флягу с водкой и потчует гребцов.

— А вы почему джеламы не повесили? — спросил я одного з сойотов.

— Вы же тагырили, а это все равно...

Он прав... Какая разница между русским «водяным», которого ублажали хлебом-солью, и сойотским «хозяином места».

Как бы в подтверждение того, что русские недалеко ушли от ойотов, лоцман прикрикнул на засвистевшего сойота:

— Не свисти! Ветер накликаш!

Но ветер поднялся, несмотря на то, что сойот перестал свистать. Благодаря этому нам пришлось остановиться на берегу Энисея на ночлег, не добравшись, как мы рассчитывали, заветло до Булука. В связи с этим мы своей кровью досыта накормили комаров, всю ночь не дававших уснуть.

Как только рассвело, мы отправились в путь и к 5 часам утра добрались до Булука. До Салдама оставалось полтора часа езды верхом, и я, оставив плот на попечение своих спутников, верхом поехал в Салдам.

С 24 июня по 6 июля я приводил в порядок и отправлял кол-

лекции и 6-го отправился в последний рейс, по направлению к Косоголу с тем, чтобы оттуда на почтовых добраться до Иркутска.

Уже в первый же день наткнулся на русского, резко отличавшегося от всех тех, которых я до сих пор встречал в Сойотии,— Н. М. Черневича.

Когда я подъехал, он вышел ко мне навстречу из своей палатки. Фигура типичная. По внешнему виду он напоминал сановника в отставке, состоящего в «оппозиции» и проживающего за границей. Глядя на него, так и ждешь, что вот-вот он брякнет какое-нибудь дешевенькое и сильно потертое либеральное словечко и взглянет на тебя пытливо, поняли ли вы всю глубину и премудрость сказанного им.

Я отрекомендовался. Черневич засуетился, приказал взять у меня коня.

С рабочими он на «вы», но это «вы» звучит жестко, повелительно.

Не успел я сесть на предложенную мне скамейку, как замер, оглушенный каскадом слов, проектов и жалоб на то, в каком положении ему приходится жить. Первой тирады слов было достаточно, чтобы определить этого пустого болтуна, а может быть, и психически больного человека, страдающего манией величия.

— Вы понимаете, конечно, мою цель, — бросил он мне вопрос, — цель, так сказать, моего поселения здесь?

Я, «конечно», совершенно ничего не понимал.

— Это я веду войну с кабинетом его величества. Рано или поздно Урянхайская земля перейдет в русское владение. Пусть-ка тогда кабинет попытается завладеть землей, которой я к тому времени буду владеть.

Ларчик сразу и довольно широко открылся.

Тут и психоз, тут и если не сановник, то чиновник, которого заслуг не оценили. И под влиянием этого психоза он сорил деньгами, работал, суетился, волновался. Со всем этим можно было бы еще примириться, если бы не хвастовство богатством, под личиной некоторой застенчивости, и не огромнейшая бестактность. Деньгами он буквально сорил, а рабочие уходили от него, потому что в день не могли выработать и одного рубля.

— Что за народ! — возмущался Черневич.

— Что за человек! — возмущались рабочие.

Я вынес впечатление, что он не выдержит в Сойотии и года, несмотря на то, что он строил большое поместье, скупал скот, сеял пшеницу, ярицу, ячмень, овес, лен и планировал орошение чуть ли не на протяжении пятнадцати километров.

Из разговоров с ним я узнал лишь, что вода в протоке, возле которой находился его стан, настолько прозрачна, что кажется совершенно мелкой, дно протоки видно как на ладони, в действительности же она настолько глубока, что лошадь не достает дна и всплывает. В этом я на месте убедился.

7 июля я отправился дальше по берегу Хуа-хэма вверх по течению. Дорога удобная, несмотря на то, что приходится то подниматься в гору, то вновь спускаться в ложбины. Первый перевал — самый высокий, но на нем почему-то нет обычного «ова», которое поставлено на другом перевале, который ниже первого. С этого другого перевала чудный вид на Енисей.

Со второго перевала спустились в долину р. Джидер, которая в этом месте пересыхает. По обеим сторонам Джидера, а в особенности по правому берегу, курганы обычного в Урянхайской земле типа — круглые, заваленные камнями. На одном из них два камня в два метра высоты, лицевой стороной обращенные на юг.

Тут же в долине я обратил внимание на воткнутую в землю жердь с навешенной на ней травой. Оказалось, что этим путем охотник указывает товарищу по охоте направление, куда он пошел. В долине Джидера много волков. Сойоты, с которыми я сталкивался, спрашивали, нет ли у меня стрихнина.

Перед отъездом, на следующий день, осматривая курганы, я обратил внимание на груды как бы недавно положенных камней, еще не занесенных землей. При ближайшем осмотре оказалось, что под ними небольшой сруб, в котором был похоронен ребенок. Это второй случай за всю мою экспедицию такого рода похорон.

Тип дороги такой же, как и накануне. Поднимались вверх по Малому Енисею. Кое-где горы близко подходили к берегу; тогда приходилось отходить в сторону от Енисея, в зависимости от того, где находился перевал.

В степи корм для скота — роскошный, местами — «кипец».

От встречных лам-монголов узнали, что впереди тропа, под которой мы проезжали, суживается. На Енисей нависает скала Сарыгол-Акса, под которой приходилось проезжать... В этом пункте даже едущие верхом спешиваются, а с вьюками проехать нельзя.

Пришлось проехать сверху скалы.

Перед следующим подъемом на скалу в местности Байтых-асха я увидел камень с надписью. Время сгладило насечку, и надпись производит впечатление не насеченной, как обыкновенно, а написанной.

Встреченные ламы-монголы оказались очень разговорчивыми. Рассказывали про Ургу, про консула, у которого служит человек, также обо всем расспрашивающий, как я, про то, что в Урге замечательно красивая кумирня и две тысячи лам. Все ламы — не женатые. Если кто-нибудь из лам заведет шуры-муры с женщинами, то его гонят из кумирни.

Ламы-монголы сильно напоминают католических ксендзов. Такая же бритая физиономия, такие же заученные жесты и мимика.

При рассказе о каком-то самоубийце «бакша» (лама-священник) поднял руку вверх, зажмурил глаза и сотворил молитву.

В дальнейшем пути в двух улусах увидел русские дома — «бажины», в которых жили зажиточные сойоты. Убранство домов ничем не отличалось от убранства юрт.

Остановки в улусах заняли много времени, и я только 10 июля двинулся дальше. Дорога гористая. Подъем на гору Тэмый крутой (анероид 668). Такой же спуск. На горе масса клубники. Спуск привел в долину р. Брен, по которой предстояло перebroдить на другую сторону. Брен — бурливая горная река. Бродить было трудно, тем более, что пришлось бродить против течения, и лошади спотыкались и скользили.

Перебравшись на другую сторону этой речки, начали взбираться на гору Джедалых, отделяющую р. Брен от р. Бильбей. Подъем крутой. Едем то по самому уклону горы, то углубляемся в лес. Дорога тяжелая: справа быстрая горная речка Джойганак, слева — нависающие над дорогой скалы. Лошади то спотыкаются по осыпи горы, то задевают выюком о деревья. Едем шагом, то-и-дело останавливаясь, чтобы поправить выюк. Около четырех часов длился подъем, и уже начало темнеть, когда мы добрались до р. Бильбей. Вдали на берегу виднелась юрта, по строению такая же, как обыкновенные войлочные юрты, но крытая берестой.

На следующий день явившиеся в мою палатку сойоты подвергли меня допросу: продолжает ли Амыр-Сана жить у русского царя, думает ли возвратиться, когда и т. д. Вслед за этим задан был мне вопрос, почему в село Усинское пришло триста солдат.

— Видно, опять война будет?

Мой отрицательный ответ был встречен недоверчиво.

— Ты не скажешь.

Когда мы собирали разбросанные вещи, чтобы двинуться дальше, не оказалось одного топорика.

Мои спутники заволновались, настаивая на необходимости сообщить о пропаже местному «тарга» (местному чиновнику, выполняющему в числе других и полицейские обязанности). Я не разрешил.

— Для нас нехорошо! — убеждали они меня. — Позволь хоть в юртах сказать. Может быть, найдется.

В юртах сказать я позволил.

Явилось несколько местных сойотов и выразили свое негодование по адресу вора.

Один из них посоветовал еще поискать: где-нибудь тут же топор должен быть спрятан.

Поискали и... нашли на дне речки Бильбей.

Из-за этой кражи выехали поздно, перебрадили Бильбей, неглубокую и не особенно бурливую речку, и два часа спустя ввиду того, что начало темнеть, пришлось остановиться на ночлег, проделав по сравнительно удобной дороге всего пятнадцать — восемнадцать километров, на берегу р. Сизин. На этой оста-

новке сойоты категорически отказались ночью караулить лошадей, объяснив это тем, что «здесь воров нет».

Воров действительно не было, но лошади куда-то забрались, и их долго пришлось искать. Прошел час, прежде чем отправившиеся на поиски сойоты вернулись на пойманных лошадях. Но сойот, на попечении которого были в дороге лошади, преспокойно доложил: «Ини аттар чок» (нет двух лошадей).

Доложив, он так же спокойно принялся чаевать, курить. Только когда другие сойоты начали его торопить, он вновь отправился на поиски. Кончилось все благополучно. Лошадей он нашел и привел. Когда я сделал замечание, сказав, что так относиться к делу нельзя, он так же спокойно заявил: «Андых!» (Верно!)

Но все хорошо, что хорошо кончается. Завьючив лошадей, мы начали взбираться на гору. Дорога вела лесом. Местами — таежная грязь. Подъем на расстоянии первых шести — восьми километров едва заметный, но затем становится очень крут. На подъеме одна лошадь окончательно «расписалась», и пришлось, сняв с нее вьюк, оставить ее с одним из сойотов, с тем чтобы он привел ее, когда она отдохнет. Но мне вместо сойота пришлось вести двух навьюченных лошадей. Делать нечего. Я сел на коня и... странно измучился. Когда сойот ведет за собой вьючных лошадей, это кажется очень простым, а когда я повел, это оказалось очень сложным: лошадь, на которой едешь, рвется вперед, вьючная тянет назад.

Обыкновенно мы двигались не особенно быстро, но на этот раз плелись так, что вряд ли делали более двух-трех километров в час. Как назло где-то вдали бушевала гроза, того и гляди, разразится и над нами.

Напряженно я вглядывался вдаль, не увижу ли наконец «джеламы» на «ова» на вершине горы Кожют, по которой ехали, но ее нет и нет! Недаром перевал через гору Кожют называют тридцатью тремя перевалами. То спускаемся, то вновь поднимаемся. Сопровождающий меня ойнарский сойот Сагых-бай, повидимому, переживает то же, что и я. На каждом бугре он уныло восклицает: «Джелама чок» (нет «джеламы»).

Но вот он остановил коня и радостно воскликнул: «Бар, бап» (есть, есть).

Перед нами торчало небольшое кедровое дерево, сплошь увешанное конским волосом, лоскутами разноцветной бязи, «ходаками». По внешнему виду это деревцо напоминало украшенную рождественскую елку.

Но непродолжительна была наша радость в связи с окончанием подъема.

Мы изнывали от жажды. А где найти воду? Сойоты утверждали, что она должна тут где-нибудь быть, и разбрелись по тайге ее искать. Но прошло полчаса, а они не возвращались.

Полил дождь. Где-то в лесу что-то затрещало. Мне сообще-

ли, что в этом лесу водятся медведи, волки, кабаны, козы, маралы.

Положение не из приятных: один в лесу под дождем, а в перспективе — возможность встречи с «Мишкой» которому я в случае встречи мог притрогивать только пальцем, так как при мне не только не было ружья или револьвера, но даже перочинного ножа. А треск слышался все ближе и ближе и с противоположной стороны той, куда пошли сойоты. Но это были они. В поисках воды они объехали всю горку.

— Сук чок! (Воды нет!) — сообщили они по возвращении... Худшего не могло быть ничего. Лошади выбились из сил. Одна совсем пристала. А воды — нет! Я все-таки велел развьючить лошадей. Дождь выпал. Трава мокрая. Лошади кое-как утолят жажду, а люди перебыются.

Так и сделали. Я проверил aneroid: 628 — в полдень. Все небо затянуто облаками. Час спустя доплелся на вершину сойот, оставленный в дороге с уставшей лошастью.

— Есть хочу, — взмолился он.

— Ешь, но воды нет!

(Сойоты поглотали сухари и, воспользовавшись тем, что дождь прекратился, вновь отправились на поиски воды. Поплелся и я с ними. Не легки были эти поиски. То загоразживает дорогу обвалившееся дерево с торчащими вверх высохшими ветками, то грязь по колена, то шлепаешься на землю, запнувшись за скрытые в траве корни.

Но вот один из сойотов крикнул: «Сук бар!» (Есть вода!)

Мы подбежали к нему. Он сидел верхом на обвалившейся колоде, под которой в яме виднелась покрытая сверху ржавым налетом вода.

Несмотря на приближавшуюся грозу, настроение всех сразу улучшилось.

— Ходак керек (нужен «ходак»), — лукаво улыбаясь, обратился ко мне Сарых-бай.

За всю дорогу он не исполнял никаких обрядов.

И на этот раз его предложение носило шуточный характер. Я достал «ходак», и он с напускной торжественностью повесил его на дереве.

Усталые, измученные, мы решили здесь заночевать, но бушевавшая гроза долго не давала нам уснуть.

К утру, 13 июля, прояснилось. Спуск с горы Кожют вначале, на протяжении двух километров, крутой, остальные восемь километров до долины р. Большой Шивей пологий. Долина этой реки — болотистая. Лошади вязнут по брюхо в местах, где встречался кочкарник, и того глубже, и их приходилось развьючивать и вытаскивать из болота. Дорога — вверх по реке. Местами приходилось огибать реку и двигаться по уклону крутых каменистых гор, местами бродили на правый берег. За весь день проехали шестнадцать километров.

С утра 14 июля вновь подъем на небольшую, но довольно крутую гору. Плелись тихо. Дорога такая же, как накануне. То проваливались в трясину, то скользили по мокрой каменной тропе, проходившей по самому обрыву горы, то пробирались сквозь такую чащу, что ветки то-и-дело царапали лицо и угрожали глазам.

Проехав по такой прямой дороге десять километров, мы и лошади были по уши в грязи. А тучи на небе вновь начали сгущаться. Мы поставили палатку, чего обыкновенно не делали на привалах днем, и едва успели это сделать, как началась гроза и полил крупный дождь. От этого дождя уже не спасала и палатка. Мы накинули на нее брезент и, согнувшись в три погибели, ждали конца ливня. А дождь лил и лил. Только в 5½ часов пополудни мы смогли двинуться дальше. Оказалось, что дорога, по которой мы до сих пор передвигались, была великолепной по сравнению с той, по которой нам пришлось ехать после выпавшего дождя. Все лога были наполнены водой. Ручьи вышли из берегов. По горной тропе скатывалась вниз вода, и тропы этой нельзя было отличить от русла ключиков... А сверху каждая задетая во время езды ветка, каждый кустик обдавал нас водой. На проезд шести километров до долины р. Тужют потратили два часа. В этой долине, совершенно не ожидая этого, мы увидели пасшихся лошадей. До ближайшего жилья было шестнадцать километров, и эти лошади не могли нас не удивить. Но вскоре показались и люди, и тогда дело выяснилось. Местный мелкий чиновник («шагда») выехал с семьей копать «ай» (сарану) и промыслять молодых маралов, рога которых в это время не считаются еще переросшими.

Здесь же оказались другой сойот и молодая сойотка. Он возвращался с дочерью от оленеводов. Эта дочь была выдана замуж за оленевода, но не ужилась. По объяснению сойотов, это довольно частое явление. Дочери скотоводов не уживаются у оленеводов. Их гложет тоска по... коровам.

За чаем я просил «шагду» рассказать, в чем собственно состоят его функции и, в частности, имеет ли он право уезжать с места службы на далекое расстояние не по служебным делам. Он ответил, что он не один, что есть еще один «шагда», но в данный момент им обоим нечего делать, так как они нужны только во время сбора «албана» (налога). Тогда им приходится наблюдать, чтобы не появлялись в это время в этой местности хозуты, приезжающие специально для того, чтобы за бесценнок скупить у сойотов пушнину.

Дождь и слякоть... Слякоть и дождь... Из-за дождя приходилось делать остановки, которых раньше я и не предполагал делать. Все счастье, что, как только мы располагались чаевать, это чаевание немедленно привлекало к нам сойотов, пребывания которых поблизости мы и не подозревали. Так было и 15 июля. Не успели мы проехать по обрыву скалы и пяти километров, как

хлынул ливень. Свернув с дороги, мы на первой полянке поставили палатку и только принялись за чай, как послышался топот приближавшихся лошадей. К нам подъехали два охотника, как оказалось из расспросов — с озера Тери-куль. Ввиду того, что Д. А. Клеменц упоминает о том, что живущие на этом озере сойоты называют себя «уйгурами», я их спрашивал о том, что им известно об «уйгурах». Они даже слова такого не слышали. Слыхали они только, что есть дархаты — не сойоты и не монголы.

— Почему вы думаете, что дархаты не монголы? — задал я им вопрос.

— Говор у них не настоящий, и живут они не по ту, а по сию сторону караула.

Эти два сойота тоже выехали на охоту за маралами. Охотились успешно.

— Зачем вы сказали об этом? — пошутил я над ними. — Я скажу вам «уджа», и придется вам поделиться со мною.

— Нет! — последовал ответ. — Часть мяса и часть кожи можешь получить, но рога не подлежат уджа.

«Великодушно» отказавшись от могущей мне причитаться доли их добычи, я поинтересовался, как они, охотясь вдвоем, делят между собой добычу. Оказалось, что хотя они странствуют вместе, но каждый промышляет для себя и добытое каждым в отдельности не подлежит разделу. Другое дело, если бы последовал одновременный выстрел в зверя — «таштап-одар», тогда добыча делится поровну.

Охотники торопились. На прощанье я им дал тарелку сухарей. Они ссыпали их в «талын» (сумы) и вернули тарелку, оставив в ней один кусок сухаря.

На мой вопрос, почему они не взяли этого куска, последовал ответ, совершенно такой же, какой был мне дан одним из ойнаров, у которого я купил коробку и который дал мне ее, вложив в нее кусок тряпья.

— Чтобы посуда (дух, «хозяин посуды») не обиделась. Столько у нее было — и ничего ей не оставили.

Этот оставленный на тарелке кусок сухаря напомнил мне оставляемый у культурных народов так называемый «стыдливый кусочек».

Перед отъездом охотники спросили, есть ли у нас мясо, и, получив ответ, что свежего нет, отрезали довольно большой кусок и дали его нам. Получив в виде ответного подарка две чашки соли, сойоты, довольные, уехали, а мы, поджарив мясо, впервые после недели еды всухомятку поели досыта.

Дождь прекратился. Мы двинулись в путь и... не то поехали, не то поплыли.

Было так скользко и так опасно (ехали по скату горы), что, поскользнувшись, можно было провалиться в пропасть. Местами я не решался оставаться в седле и вел коня за повод. Местами

и этого нельзя было делать. Хотя двигались по суше, но вода была выше колена, и я, не без риска провалиться в пропасть вместе с конем, оставался в седле. К счастью, шлепание по воде и по грязи скоро кончилось. Издали показались покрытые снегом гольцы, с которых берут начало те самые речки (Большой и Малый Шивей), которые мы в течение дня пересекали несколько раз. Проехали еще один километр и увидели табун лошадей, который поплелся за нашими лошадьми до находившегося в километре улуса на берегу р. Оилл.

И сразу людно стало. Из юрт высыпали сойоты — мужчины, женщины и кормящие ребят... девушки. Совершенно голые светлорусые детишки с любопытством уставились на нас. Я дал каждому по куску сахара.

Словно опасаясь, что его у них отнимут, они тотчас же дали стрекача. На следующий день сопровождавшие меня сойоты купили в улусе овцу, зарезали ее, вырезали грудину и вместе с шерстью поставили, как шашлык, на огонь. Как только шерсть сгорела, они признали грудину готовой и принялись за еду.

Утром 17 июля, взяв из этого улуса проводника, мы отправились к оленеводам, по направлению на юго-восток, а затем прямо на восток. Поражало обилие грибов («моюгу»). Сойоты их не употребляют.

Перебрадили речку Оим, затем побрели по тундре, по густой тайге и вновь начали подниматься на крутой «таскыл». Сбоку не шумит, а прямо-таки рычит речка Онджан, вверх по течению которой мы все время подвигались и через которую бродили, перебродив ранее через речку Шивей. Дорога страшно утомительная. Спуски крутые, обрывистые. Лошади утомились. Пришлось сделать привал. Развели костер, и развели его на огнеце, кем-то уже ранее разведенном и потухшем.

— А не будет пахай чюме? (Плохо.)

— Нет! — ответил проводник. — Для этого я три раза ткнул ножом в пепелище.

В разговоре с ним на эту тему я узнал, что тоджинцы не дают на сторону огня со своего очага, в то время как сальджакские сойоты дают.

Отдохнув, начали седлать и выючить лошадей. Перед тем как оседлать лошадь, проводник плевал ей на спину: «от этого бывает хорошо».

Продолжали подниматься на вершину горы Онджан-бажитайга еще в течение часа (анероид 571). На перевале нет «ова», нет «джеламы», вообще нет никаких следов поклонения «хозяину места». Дальше ехали по гольцу, кое-где покрытому мохом. Следов дороги нет, и продвигались по откосу горы, то-и-дело бродя через речки, здесь же берущие начало или с более высоких гор, на которых масса снега, или из озер, образовавшихся от таяния снега. Местность дикая, угрюмая. Под мохом между камнями струилась вода, и этот мох скрывал ловушки лошадям.

Тащились шагом. Проехали пять километров до горы Уязыр-уя. Возле этой горы лошадь, на которой я ехал, испуганно шагнула в сторону. Я оглянулся. Нас обгоняли ехавшие верхом на оленях сойоты. Там, где мы плелись шагом, они неслись, как ураган. С горы Уязыр-уя спустились в ущелье, на другой стороне которого белели юрты («алачих»), такие же, как на Толбуле. В стороне от юрт паслись олени.

Минут через пять подъехали к месту, где мы остановились, четыре молодых сойота и, подойдя ко мне и приседая, начали по очереди здороваться, после чего, по собственной инициативе, принялись нам помогать. Один побежал с чайником за водой, другой принялся разводиться огонь. Я дал каждому из них по горсти сухарей. Оказалось, что они в первый раз в жизни увидели хлеб. Они недоумевали, что с полученным добром делать. Им сказали. Один из них отважился вложить сухарь в рот, но тотчас же выплюнул, уверенный, что над ним подшутили. Опасаясь, что они обидятся, я предложил им по куску сахара и, для того чтобы рассеять их сомнения, сам первый у них на виду съел кусок. Тогда и они решились проделать этот опыт. Рожи их просияли.

— А это вкусно? — задал я вопрос.

— Это можно всю жизнь есть, — ответил один из них.

Еще минут через пять явился «тарга», следом за ним три сойотки, а затем и сам «ашак-кунду», старший в этом улусе.

Начались обычные расспросы: кто? зачем? откуда?

Дольше других просидел «кунду». Показанные мною фотографические карточки тоджинских чиновников произвели на сойотов огромное впечатление. Я тут же заявил, что буду снимать и их, их страну и оленей, на что последовало согласие.

Согласно обычаю, в знак дружбы я подарил «кунду» два топорика и привезенную специально для этой цели бутылку водки. Он был поражен и с недоверием глядел то на меня, то на бутылку. Уверившись в том, что все это я дарю ему, он высказал мнение, что если зараз выпить всю бутылку, то может быть худо. Поддержав его в этом мнении, я ему предложил попробовать полчашки.

Он, предварительно помолвившись, обмакнул пальцы в водку, брызнул во все стороны, выпил, крикнул, помоошился.

— А вы из оленьего молока гоните арага?

— Нет! Раньше гнали, но старики запретили. От оленухи получается не более одной китайской чашки молока. Если гнать водку, народ перепьется и будет голодать. Только «быштах» готовим из оленьего молока. Больше ничего.

На соответственные вопросы он ответил:

— К осени оленуха перестает доиться. На зиму сохраняют молоко в кишках и пузырях. Оно сохнет в юрте и превращается в крутинки вроде творожинок. Ими-то зимой и забеливают чай.

Давая объяснения, «кунду» не выпускал бутылки с водкой из

рук жадно поглядывал на нее, и как только ответил на мои вопросы, поднялся с места и, не прощаясь, ушел.

Утомленный дорогой, улегся и я и мгновенно заснул.

Проснулся я ночью оттого, что какие-то животные, хрюкающие почти так, как свиньи, терлись о нашу палатку. Это «солонцовали» олени в том месте, где кто-то помочился. Солонцов в этой местности мало, олени спокойно не дают помочиться, не будучи в состоянии дожидаться этой «лакомой пищи».

Оленей тут много. Около сотни. Самец ценится в три соболя, самка в два, молодой олень — немного старше года — в один.

На следующее утро, только мы успели отпить чай, как явился «кунду». Он за ночь покончил со всей бутылкой водки и нашел, что она хороша.

Вернулись к прерванному вечером разговору. «Быштах» и сохраняемое впрок молоко сушатся непременно в тени: молоко — потому что иначе портится, «быштах» же потому, что так завещано стариками. Оленей теперь стало больше, чем в старину, народ стал богаче, но «албан» и «ундюк» тоже все увеличивались и увеличивались. Распределения «албана» по зажиточности плательщиков нет: каждый платит одинаково. Маралов теперь меньше убивали. Много народу стало. Зверь напуган. Не выходит из чащи, а там его не убьешь.

Меня интересовал вопрос, не существует ли у них эндогамии в виду отдаленности их стойбищ от других. Оказалось, что они берут жен у сальджаков и калым уплачивают оленями, а сальджаки берут жен у них и уплачивают калым лошадьми.

Интересовал меня еще другой весьма важный вопрос: что делают с немощными, престарелыми родителями. Мне приходилось слышать у ойнарлов, что оленные сойоты откочевывают, оставляя немощных на произвол судьбы. Я сказал об этом «кунду». Он возмутился:

— Мы даже кочевку приостанавливаем, если кто заболет. Это разве ак-чадинцы так поступают.

Не перестававший лить дождь побудил меня предложить «кунду» перейти в его юрту. Он охотно согласился. Жил он в «алачих». В юрте одни шаманские «эзрени». Принадлежностей буддизма — ни следа. Сам «кунду» — шаман.

— Правда ли, — спросил меня «кунду», — что у вас есть такие бумажки, за которые можно десять и даже двадцать белок купить?

— Правда.

— А ты не смеешься над нами? Мы народ темный.

— Нет, не смеюсь. Есть такие бумажки.

— А у тебя они есть?

— Есть!

Я показал двадцатипятирублевую бумажку.

Он осмотрел ее внимательно со всех сторон, а затем, удивленно и пытливо поглядывая на меня и все еще подозревая,

что над ним потешаются, передал эту диковинную бумажку другому, тот — третьему.

— Правду говорили старики,— сказал он, возвращая бумажку, после того как все ее осмотрели,— что в каждой стране свои обычаи. У нас бы за такую бумажку и одной белки не дали.

Вечером «кунду» шаманил по моему заказу. И на этот раз повторилось то же, что и при камлании других тоджинских шаманов. Никто из окружающих не понимал произносимых им слов, мне пришлось довольствоваться только внешней стороной. «Кунду» во время камлания немилосердно рычал. Шаманил он мучительно долго и мучительно однообразно. В результате предсказание: все пройдет вполне благополучно.

Возвращались мы от шамана в такую темень, что хоть глаз выколи, а между тем приходилось все время идти по уклону горы, по крутому обрыву. Расстояние в полкилометра мы шли более получаса.

На следующий день, 19 июля, мы двинулись обратно. На остановке нас догнал вернувшийся со сбора ясака «шагда» и сообщил, что после нашего отъезда к его стану ночью подходил медведь и что за нами, судя по оставленному следу, гналась на протяжении пяти километров медведица с медвежатами.

Посетили нас в этот день хазуты, но разговориться с ними было невозможно. Они считали себя сойотами, но по-сойотски не говорили. Другие сойоты к ним относились с большим предубеждением, считая, что они к ним являются только с целью наживы. На меня в особенности один из них произвел неблагоприятное впечатление. Я встречал очень много бедняков-сойотов, но никто из них не приbedнялся, не нищенствовал. Встреченный же тогда хазут в буквальном смысле этого слова просил милостыню.

Только 21 июля мы смогли двинуться дальше. Если раньше главным нашим врагом был дождь, то теперь — стали туманы. По утрам нас окружала настолько густая молочная пелена, что на расстоянии двух шагов ничего не было видно. И пока не рассеется туман, нельзя найти пасущихся в течение ночи лошадей. В этот день три сойота их искали, а они, как оказалось впоследствии, спокойно паслись в двухстах шагах от палатки.

Другим все чаще и чаще встечавшимся врагом были медведи.

Как только мы вновь перебрали р. Шивей и поехали по густому кустарнику, поднявшись на горку, а затем спустившись с нее, один из сойотов не без испуга крикнул: «Хайэрхан!» (Страшный!) Так медведя величают сойоты во время охоты и в пути. На земле был свежий след. По определению сойотов, медведь проходил по этому месту за полчаса до этого. По времени исчисления сойотов: не успели бы трех трубок выкурить.

Я удивился тому, что медведь решается так близко подходить к жилью. Но мои спутники, не только сойоты, но и русский переводчик, категорически заявили, что это явление довольно

частое. По объяснению сойотов, медведи особенно опасны каждые три года, когда они делаются шатунами и не знают никакой опасности, выходят из тайги в степь и бросаются на людей.

— Это что?! — перебил их мой переводчик. — Стоим мы станом, разложили костер. Вдруг... медведь. А ружей с собой не захватили. Но ничего, думаем, медведь, как всякий зверь, боится огня. Но «Михайло» тоже не дурак. Подбежал к реке, окунулся в ней, прибегает к костру и трясется над ним. Вода с шерсти падает на огонь, того и гляди, огонь потухнет. Тем только и спаслись, что все время подбрасывали в огонь сухую щепу.

«Relata refero» — передаю то, что слышал, отнюдь не беря ответственности за достоверность рассказа. Охотники не только в цивилизованных странах рассказывают небылицы о своих приключениях. Они этим отличаются и в Сибири и в Сойотии. Один из крестьян-золотоискателей рассказал мне, что однажды в тайге, когда он менее всего этого ожидал, он наткнулся нос к носу на медведя. И топор и ружье в палатке.

— Испугался я, — рассказывал он, — досмерти. Как я это надумал, сам не знаю, но, должно, с испугу я хватил его кулаком между глаз. Он испугался и... тягу.

Я посмотрел на его руки и... поверил. От такого кулачища и медведь удерет.

Дождь прервал интересную беседу о медведе. Вопреки предсказаниям сойотов, утверждавших, что если туман по утрам, то день бывает светлый, вновь хлынул дождь.

— Это русские виноваты, — уверенно заявил сойот. — Они косят траву и скашивают растения, которые вызывают дождь.

Русские, видно, много этой травы скосили, так как всю ночь дождь лил как из ведра. Утром 22 июля один из сойотов по обыкновению отправился за лошадью, но полчаса спустя вернулся, ругая медведя на чем свет стоит. Он шел все время по измятой траве, считая, что измяли ее лошади, но наткнулся на неоспоримые доказательства того, что ее измял медведь. Продолжительная прогулка, повидимому, послабляющим образом подействовала на желудок медведя. Сообщив об этом, сойот отправился на новые розыски, но прошел час, другой, а сойот не возвращался. Между тем лошади были спутаны и далеко уйти не могли. Оказалось, что, судя по оставленным им следам, медведь гнался за лошадьми, и сойот их нашел на самой вершине горы, куда они, убегая от него, взобрались.

О дороге дальше улусные сойоты говорят, что «болгаш чок» (нет болот, нет трясин), а мы влезли в такое болото, что лошади вязли по стремяна. Оказалось, что есть объездная дорога, о которой мы не знали. Все время ехали по течению реки Хабдыгайты, впадающей в реку Тарбагатай, а затем по крутому откосу горы, между огромных камней. Эта часть дороги

небольшая, но очень опасная. Здесь, по рассказам, лошади с кладью провалились в пропасть. С утеса дорога свернула в лес, где мы встретили возвращающегося с «горячих вод» сойота с женой и с маленьким сыном.

Весь день 23 июля ехали по такой же дороге. Бродили несколько раз через речки Хабдыгайты и Тарбагатай, обе широкие, глубокие и быстрые, а на следующий день, проехав небольшое расстояние по откосу горы, спустились в обильную кормами степь. Проехав по этой степи пять-шесть километров, поднялись на гору Чаар (анероид 612), с которой спустились в огромную степь, густо заселенную. Два километра дальше — озеро Тери-куль, на берегу которого приютилась небольшая кумирня. Проливной дождь заставил меня принять приглашение подъехавшего к нам ламы — остановиться у него в «бажине» (домике). Этот «бажин» сложен из тонких бревен, не проконопачен, имеет вид крупного помещичьего курятника. К счастью, потолок этого курятника был покрыт берестой, на которой с внешней стороны был густой слой земли. Это предохраняло от дождя. И этот лама настойчиво расспрашивал об Амыр-Сана: видел ли я его, правда ли, что он собирается приехать в Сойотию.

Среди лам много монголов. В юрте одного из них развешаны для сушки белые грибы. Жившие в этом улусе монголы употребляли их в пищу. Узнав, что на одном из островков на озере Тери-куль сохранились развалины какой-то крепости, я решил осмотреть их. Перевозчик должен был соорудить «сал» (плот). Когда я явился на берег, он пригласительным жестом предложил мне сесть на плотик, состоявший из пяти тоненьких бревешек, погружившихся в воду под его тяжестью. По моему настоянию связали два таких «салика», и я отправился. Дно озера вязкое. Учитывая это, сойоты к шестам, которыми отталкивались, прикрепили набалдашники. Из расспросов сойотов я узнал об этом озере следующее. Подземным ходом оно соединяется с двумя другими озерами, находящимися гораздо выше, с западной стороны. Еще в старину сойоты убедились в этом. Однажды в одном из этих озер утонуло двое жеребят. Они потом оказались в озере Тери-куль. На Тери-куль обыкновенно не бывает никакого течения, а когда оно бывает, оно исходит из тех озер. В Тери-куль много рыбы: язь, щука. По временам на озере бывают такие ветры, что «салики» опрокидываются. По рассказам сойотов, Тери-куль недавнего происхождения. В старину близ того места, где находятся развалины крепости, существовал колодец. Из него брали глину для постройки крепости. А когда уже крепость была выстроена, в колодце оказалась рыба. Это так напугало строителей, что они не достроили ее.

На мой вопрос, кто строил эту крепость, и сойоты и монголы (к слову сказать, называющие это озеро «Тери-нор») ответили: китайцы.

Уцелевшая стена крепости невысокая: метра четыре — не

больше. Она сложена из глины. При постройке клялись поперек бревна. Во многих местах сделаны искусственные холмики, местами провалившиеся. В стене масса ласточкиных гнезд. В нижней части стены — нора. По наблюдениям сойотов — это лисья нора. Часть стены уже обвалилась. Внутри крепости — холмики вроде высоких гряд, на которых лежат обломки какой-то глиняной посуды с орнаментом. Снаружи и внутри крепости по одному прямоугольному камню с выдолбленным в них в виде прямоугольника углублением. Сойоты предполагают, что это были подставки для наковальни.

На Тери-куль кончилось возложенное на меня задание. Чем дальше ехали, тем менее встречалось сойотов, тем более они были монголизированы. Начинаясь местность, заселенная дархатами.

Из озера Тери-куль вытекает р. Салдам, в которую впадает речка Балыхтых, изобилующая рыбой. Выехав оттуда и проехав километра четыре по степи, перебродили через р. Салдам, не глубокую, но очень быструю, въехали в лес и поднялись на вершину горы Мот (анероид 607). С горы ехали по ее гребню, то опускаясь в ложбину, то опять поднимаясь. Ехали по сгоревшему лесу, благодаря чему тропинка, по которой мы двигались, была совершенно сухая. Местами громадные скалы нависали над тропой.

Только на другой день, 30 июля, к вечеру по такой же сухой и удобной дороге доехали мы до «Горячих вод» — Арджан. Местность поражала своей дикой красотой. Издали блестела белизной огромная известковая скала, только на вершине покрытая зеленой шапкой леса. По середине отвесной скалы кто-то ухитрился прикрепить не то «джеламу», не то флаг. У подножия скалы небольшие сложенные из бревен срубы, скрывающие купающихся от нескромных взоров посторонних. Жилых построек нет. «Курортные больные» ютятся в ими же привезенных разноцветных палатках. Между палатками снуют сойоты, дархаты, монголы в разноцветных халатах, среди которых преобладает красный цвет халатов лам. Немного поодаль разной масти лошади, а на горке обреченные на заклание, пригнанные сюда самими же больными овцы.

«Курортные больные», главным образом монголы, не забыли о наживе. Один из них явился с предложением купить у него крупчатку, другой — нож, третий — чашку. Мой переводчик, желая их выпроводить, объяснял им, что я не купец, а «имджи» (ученый, вполне отвечает слову «доктор», как оно употребляется за границей). Этим он, можно сказать, толкнул меня из огня да в полымя. Монголы повалили как на богомолье, протягивая обе руки и требуя, чтобы я прощупал пульс и определил, чем каждый из них болен. Как я проверил, такие требования они предъявляют врачам-ламам, приученные к этому ими же. Ламы щупают пульс на обеих руках, делают это че-

тырью пальцами, двигая ими, словно играя на рояли. По пульсу определяют «место болезни».

В моей палатке не было ни одной вещи, ни одного предмета, которого бы они не потрогали.

С большим трудом избавившись от посетителей, я отправился осмотреть лечебные ключи. Их несколько, но все — горячие, теплые и холодные — одинаково издают сильный запах серы. Температура горячего ключа  $45^{\circ}$  R. Возле горячего ключа — «ова», тут же, немного поодаль, неизвестно для чего — колокол и более десятка овечьих лопаток с надписями на них на монгольском и тибетском языках.

В стороне, в ущельи — еще один ключ, с не столь сильным запахом серы. Вода очень холодная, на вкус неприятная, жесткая и, как мне показалось, с большой примесью извести. Больные пьют воду из этого ключа. Все больные в один голос восхваляли чудодейственную силу «арджана», но когда я расспрашивал каждого в отдельности, заметил ли он улучшение в болезни, я не получил ни одного положительного ответа. И неудивительно. Никто свойств воды не изучал, а ламы, и в этом отношении похожие на католических священников, творящих чудеса при помощи чудодейственной воды в Лувре, сгоняют сюда и сифилитиков, и ревматиков, и желудочных больных и всем прописывают одинаковый курс лечения. Сами «врачи»-ламы мало верят в свое искусство, и несколько человек из них явилось ко мне с просьбой дать им лекарство от сифилиса. Оказалось, что они сами больны, пускали себе кровь, купаются в «арджане», пьют его, но ничего не помогает...

Отношение к сойотам монголов — не только одних лам, но всех — насмешливо-презрительное. Один из них спросил одного из моих спутников, сойота, кормит ли его русский досыта. Получив утвердительный ответ, удивился: «А разве возможно накормить сойота досыта?»

Это было уже слишком для многотерпеливых сойотов, и они по первое число разделили своего оскорбителя. Это подействовало. Из-за очереди на купание дело здесь часто доходит до драки, причем сойотов оттесняют. Моих спутников после этого столкновения с монголом не посмели оттеснить.

На следующий день, 1 августа, когда мы уже собирались в дорогу, подъехал к «арджану» весьма зажиточный монгол, пожитки которого были навьючены на верблюдах. Освобожденные от вьюков верблюды паслись возле моей палатки, и когда пригнали наших лошадей, они, испугавшись верблюдов, дали стрекача. Три человека на лошадях гнались за ними, но всякий раз, как их пригоняли, лошади, увидев верблюдов, ударялись в бегство.

Увидев это, я обратился к монголу с просьбой на время, пока мы не управимся с лошадьми, отвести верблюдов в сторону.

— Я не твой албаный, чтобы исполнять твои приказы! —

юследовал грубый ответ, но тут же, не знаю почему, он все-таки увел верблюдов.

Делать больше на «горячих водах» было нечего, и мы двинулись дальше, уже по земле дархатов, но наткнулись на улус, котором жили сойоты «Мады-хошуна»: живое опровержение теории: *lingua ultimum moriens* («язык последний умирает»).

Их сойотский язык давно умер. Ни один из них не понимал и слова по-сойотски. Главой улуса был шаман. Я попросил его показать свой костюм. Он оказался роскошнее всех виденных мною. На шапке жилами вышито изображение лица человека. На нарукавниках («манджик»), ранее мною совершенно не виданных, жилами же вышиты изображения животных. У него же я увидел специальный «эрень» благополучия, представляющий из себя связку лент на витом железном шестике с ремя мешочками: в одном «небесный» камень, в другом — «земной», в третьем — деревянные стружки — пища этих камней.

Поспоровшись с жителями этого улуса, мы снова отправились в путь. Через несколько километров начался подъем на высокую гору Бурельгэ (анероид 551), а затем спустились в долину. Ишкит — место стоянки скотогонов, направлявшихся со котом в Иркутск. С этого момента уже пахло... Усинским елом. Доверенные усинских скототорговцев — Вавилиных, Медведевых, Сафьяновых, Бяковых, Артамоновых — жалуются на притеснения со стороны дархатов. По их словам, у одного из них отобрали лошадь в возмещение за убытки, происшедшие оттого, что лошади дархатов, приехавших на «чеш», стоявшие на привязи, испугавшись перегоняемого мимо них скота, оторвались, убежали, и дархатам пришлось потерять много времени на поимку их. У другого забрали бычка в возмещение за яка, потерявшегося у дархатов за год до этого и, по их предположению, угнанного русскими в Иркутск. У третьего ушло 3 лошадей, и он подозревает, что их угнали.

И, слушая их жалобы и зная их методы действия, невольно жалелось: «Кто тебя, Кит Китыч, обидит!»

У главного скотогона-сойота, прекрасно знавшего условия пастбища, не раз уже гнавшего скот в Иркутск, знавшего, где лучше всего остановиться для пастбы скота, я спросил, сколько получает за свой действительно очень тяжелый и ответственный труд.

— Четыре овцы в месяц.

Кто их (купцов) обидит?

Когда мы утром 3 августа проснулись, вся долина была покрыта инеем, а на речке Шишкит были ледяные забереги. По мере того как мы ехали дальше сравнительно быстро, так как рога здесь хорошая, местность становилась все более и более населенной. Вверх по р. Шишкит много улусов, масса шадей, по преимуществу белой масти, много яков. Дороги ветвились: одна шла в Чогодинский курень, другая — в Дар-

хатский. Свернули на юг, по направлению к Дархатскому креню. На следующий день проехали в брод через Малый Енисей. По мере приближения к дархатской кумирне чувствовалась ее близость. Навстречу попадались много проезжих, преимущественно лам. Они так же неприветливы, как и монголы. Я, приехав в дархатскую кумирню и сделав визит «сарджи» (главе лам), помчался дальше, назад в Сибирь, и как только добрался до первой русской почтовой станции, на почтовый помчался в Иркутск.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

### В ИРКУТСКЕ

Ехал я все еще в качестве «начальника Засаянской экспедиции», и всю дорогу до самого Иркутска у меня не было ни малейшей задержки с лошадьми. Дышалось свободно. Исчезли заботы, не стерли ли лошади спины, не завязнем ли в болоте. Но усталость от утомительного путешествия верхом давала себя чувствовать, и я решил отдохнуть в Иркутске, забыв совершенно о том, что с приездом в столицу Восточной Сибири, из которой семь лет тому назад меня изгнали, я вновь из «начальника экспедиции» превращаюсь в «политического ссыльного».

Остановился я в «Коммерческой гостинице», и меня все еще, по моим документам, отметили в книгах как «начальника». Мало того, на следующий день в «Иркутских губернских ведомостях» появилось сообщение, что «начальник Засаянской экспедиции Ф. Я Кон» прибыл в Иркутск и остановился в этой гостинице.

На следующий день я зашел к Станиславу Лянды, к Фаддею Рехневскому и его жене Витольде, в редакцию «Восточного обозрения». Зашел и в отдел Географического общества. Председатель Маковецкий был в отпуску. Заменявший его А. И. Лушников, когда я вкратце ознакомил его с ходом экспедиции, настаивал на том, чтобы я сделал обстоятельный доклад на заседании общества, с тем, что на этот доклад будет допускаться публика. Я не возражал, но предупредил Лушникова, что генерал-губернатор Кутайсов вряд ли даст на это разрешение. Лушников был убежден, что отказа в разрешении быть не может, и на следующий день отправился к генерал-губернатору.

— Ни под каким видом!— свирепо заявил граф, повидимому вспомнив, в какое положение он попал, не отдавая себе отчета в том, что разрешил политическому ссыльному выезд за границу.— Ему нельзя оставаться в Иркутске. Пусть поскорее уезжает...

Этим он не ограничился. Уже на следующий день полицеймейстер явился в редакцию «Восточного обозрения» и расспрашивал, где я остановился, пояснив, что мне нужно немедленно оставить Иркутск. Ему было невдомек, что разыскиваемый им «политический ссыльный Кон» — тождествен с «начальником Засаянской экспедиции Коном», о котором «Губернские ведомости» сообщили, где он остановился.

Я не торопился. Выдворят, так выдворят!

20 августа я сделал доклад на закрытом заседании комитета Географического общества.

В протоколе этого заседания в № 2 «Известий Восточно-Сибирского отдела» за 1903 год значит:

«20 августа 1903 года.

Председательствовал А. И. Лушников, присутствовали: о. И. Н. Дроздов, А. М. Станиславский, И. С. Иконников, Н. Н. Козьмин и Ф. Я. Кон.

Ф. Я. Кон познакомил присутствующих с результатами исследований среди сойотов («тува»<sup>1</sup>, как они себя называют). При организации исследований он держался следующей системы. Сначала расспрашивалось соседнее русское население. Такие предварительные расспросы дают грубое, часто неточное представление, но указывают, как вести дальнейшее исследование среди изучаемой народности. При работах среди сойотов Ф. Я. Кон в первую экспедицию применил стационарную систему, а во вторую — разъездную. Первый способ позволял внимательно изучать типические стороны быта, завязать близкие сношения и заручиться широким содействием местного населения. Результатом таких связей было то, что впоследствии г. Кон едва успевал пользоваться приглашениями на разные празднества или поездками в интересные местности.

Вторая половина была посвящена изучению вариаций. Последние имеют большое значение. Хотя сойоты представляют одну народность и административно подчинены одному «амбыну», но в то время как восточные (по Енисеям) сохранили массу первобытных черт, западные подверглись сильному влиянию монголов и ламаизма. У восточных сойотов исследователь нашел остатки архаической коммуны, следы матриархата; шаманизм также сохранился только у восточных, у западных он поглощен ламаизмом (у ойнарлов, например, сохранились только идолы, охраняющие детей от смерти). Слабой стороной второй половины исследований является отсутствие измерений. Последние пришлось бросить вследствие появления на границе солдат (производилась поверка пограничных знаков) и вызванного им

---

<sup>1</sup> «Урьяха» — термин, аналогичный классическому «варвар», и означает собственно «нищий», «оборванец», наименование, данное более культурными соседями. «Сойоты» — из названия одного из племен «сойон» ед. ч., множ. ч. «сойартар» (pars pro toto).

недоверчивого настроения в окрестном населении. Этот недостаток был возмещен обильным сбором черепов. Кроме того, имеются измерения других исследователей. При поездках исследователь пользовался содействием переводчика, к сожалению, оказавшегося пьяницей. Сильно помогло знание якутского языка. Исследователя, между прочим, интересовал вопрос о родстве двух народностей: сойоты (тува) и якутов (сах).

Затем присутствующие занялись вопросом об объеме и характере издания трудов экспедиции».

Этот доклад был последним аккордом моей жизни в качестве «ученого». С этого момента я вновь делался ссыльным и только ссыльным.

Я решил: Кутайсов желает меня выдворить из Иркутска, — пусть раньше поищет и найдет. На этот раз я непрочь был уже прогуляться по этапу, оценивая это политически. Целый ряд ученых обществ не только в России, но и за границей интересовался экспедицией, а посаженный на генерал-губернаторский престол самодур этапом отправляет «ученого» по месту жительства... Я ничего не имел бы против этого. Но иркутская полиция еще не прошла необходимой школы, и, несмотря на то, что я побывал тогда у всех живших в Иркутске ссыльных—Лянда, Рехневского, Чуйко, Давиденко и др.,—она не могла напасть на мой след.

Пять дней я еще прожил в Иркутске и почти все эти дни провел в беседах с Фаддеем Рехневским и его женой Витольдой.

Иркутск был в то время гораздо больше связан с «волей», чем находившийся на расстоянии 400 верст от линии железной дороги Минусинск. У Рехневского я нашел целый ряд польских подпольных и заграничных изданий: ППС, с.-д. и «Пролетариата». Более всего попадалось изданий ППС. И для меня и для Рехневского эта партия представляла наибольший интерес. Мы были и оставались интернационалистами, но прошло почти двадцать лет после того, как мы выбыли из строя, и мы уже не могли ни игнорировать, ни так прямолинейно, как в оное время «Пролетариат», решать национальный вопрос. Но решать этот вопрос так, как решала его ППС—утопить социализм в национализме, мы, конечно, тоже не могли.

У Рехневского оказались и статьи пресловутого «Мазура» — Владислава Грабского, вскоре превратившегося из члена ЦК ППС в отъявленного социалистоеда — национал-демократа, уже тогда проповедывавшего необходимость для партии ППС для целей восстания обзаводиться пушками небольшого калибра. Но были у него и статьи левейшего из тогдашних лепезовцев Келлер-Крауза, брошюра которого — «Классовость нашей программы» была по приказанию диктаторствовавшего тогда в ППС Иосифа Пилсудского предана сожжению. Крауз тогда же отмечал, что, когда рабочий класс пришел к заключению, что

не сможет добиться социализма, не добившись предварительно национального освобождения, а господствующие классы, мечтавшие о борьбе за независимость Польши, осознали, что эта борьба неосуществима без активнейшего участия в ней рабочих масс,—в социалистическую партию влились буржуазные и мелкобуржуазные элементы и пытаются проводить свою линию. Крауз в одном был не прав: они уже не «пытались», они ее проводили. В высшей степени интересные замечания были по этому поводу сделаны Рехневским. Он, сопоставив некоторые издания ППС, выходившие за границей, с подпольными изданиями, указал, что националистическое течение в партии формируется из-за границы эмигрантами и что целый ряд подпольных изданий свидетельствует о том, что в самой Польше перед рабочим классом лидеры ППС не решаются открыто выступать под национальным знаменем.

Долго мы беседовали на эту тему, отдавая себе отчет в том, что в связи с ростом революционного движения во всем государстве и нам удастся наконец включиться активно в движение.

Мне хотелось знать мнение других о происходившем в Польше, но Рехневский уклонился от характеристики взглядов других ссыльных поляков, согласившись лишь созвать их у себя специально для беседы по этому вопросу. Кроме Рехневского, его жены и меня, предполагалось участие в этой беседе Станислава Лянды, его жены Феликсы Николаевны (ур. Левандовской) и... Татарова, хотя и русского, но ориентировавшегося в польских вопросах, жившего продолжительное время в Польше и связанного с верхами ППС.

Феликса Николаевна не пришла. Татаров сильно запоздал. Отношение к нему было настолько хорошее, что его ждали с началом беседы. Он пользовался всеобщим уважением. Поляки ценили его как блестящего переводчика Жеромского.

Не много дала наша беседа. Татаров горячо отстаивал линию руководства ППС. Он ссылался на Маркса, на его отношение к борьбе Польши за независимость, указывал на брошюру Вильгельма Либкнехта: «Должна ли Европа сделаться казацкой». Тогда я впервые натолкнулся на приемы, постоянно пускавшиеся в ход лидерами ППС: не анализируя, когда, что и при каких условиях было указано, вытаскивать из гроба великих учителей для того, чтобы упробить не формальных, а действительных их последователей. Повидимому, Татаров перенял это искусство от Пилсудских, Иодков-Вронских, Плохоцких и всего пепеэсовского Олимпа. Но как оратор он выделялся из всех нас, но оратор особенный: блестящая форма и отсутствие продуманного содержания. Пафос в стиле пафоса Вандервельде, но искренности в этом пафосе не чувствовалось. Тогда я объяснил это тем, что он выступал по чуждому ему делу — по делу, с которым не споднился. И только впоследствии, узнав, что «князь» (это была кличка Татарова) — агент охранки, я иначе

отнесся к замеченному тогда отсутствию искренности в его речах.

Судьба Татарова известна. Изобличенный как провокатор, он был убит в Варшаве, в квартире своего отца—протоиерея—членами партии социалистов-революционеров, к которой принадлежал.

В этой беседе Станислав Лянды защищал программу ППС, отмежевываясь все же от загибов «Мазура».

В общем беседа дала очень мало. На меня она произвела весьма тягостное впечатление. Рехневский, повидимому, уже не раз до этого вел такие беседы, отнесся к этому совершенно спокойно, заметив, когда Татаров и Лянды ушли:

— Чепуха все это! Для меня несомненно, что в ППС под одной партийной крышей существуют две партии: социалистическая и националистическая. В этом отношении Крауз прав. Долгое время это продолжаться не может. Раскол в партии неизбежен...

Меня он тогда убедил, но, всегда очень осторожный в делаемых выводах, он не соглашался с моим предположением, что после раскола неизбежно объединение социалистической части ППС с «Социал-демократией Царства Польского и Литвы». Я же в этом был настолько убежден, что в беседе с первым встреченным мною после возвращения в Варшаву социал-демократом Ротштадтом—«Красным»—еще до раскола в ППС говорил об этом.

В Иркутске я вошел в курс и русского революционного движения. Многие тогда для меня, как мне по крайней мере казалось, выяснилось. Единственное, что меня продолжало тревожить, было опасение, что мне, сравнительно удачно справившемуся когда-то с кружковой работой, массовая работа может оказаться не под силу. Рехневский этим не тревожился. Он уже тогда решил посвятить себя литературно-редакторской работе, которой впоследствии всецело себя посвятил. По возвращении в Польшу он издавал журнал: «Wiedza» («Знание»).

Остаться дольше в Иркутске не было смысла, и я уехал в Минусинск.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

### ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ В ССЫЛКЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

В сентябре я вернулся в Минусинск. Описание и отправка коллекций во все учреждения, а затем краткие отчеты об экспедиции заняли много времени. В промежутках я еще выезжал в улусы качинцев и заметки о них помещал в «Русском антропологическом журнале». Немного времени приходилось посвящать и Минусинскому музею в связи с болезнью Н. М. Мартьянова, который поехал, по указанию врачей, в Крым. Эта работа в музее дала мне возможность щелкнуть по графскому носу генерал-губернатора Кутайсова.

Он «пожаловал» в Минусинск и, как все знатные путешественники, пожелал осмотреть коллекции Минусинского музея. Сообщение о том, что Николай Михайлович в Крыму, вызвало с его стороны вопрос: «Кто же мне будет давать объяснения?» Его успокоила жена Мартьянова—Елена Константиновна.

— Попросим Феликса Яковлевича. Он часто теперь заменяет Николая Михайловича.

Кутайсов, конечно, не знал, кто этот Феликс Яковлевич, и узнал только тогда, когда смущенная Елена Константиновна была вынуждена ему сообщить, что Феликс Яковлевич отказался давать объяснения.

Ему сообщили, кто этот дерзкий.

Так он и уехал, ограничившись тем, что прошелся по комнатам музея.

Еще раз ему пришлось вспомнить обо мне, когда антропологический отдел Общества любителей естествознания переслал мне через все инстанции золотую медаль за эту экспедицию и половину расцветовской премии.

Месяца два спустя меня известили, что срок мне сокращен и что я могу возвратиться на родину. Была распутица. Приходилось ждать.

Это было самое мучительное время. И влекло обратно на родину, на работу, и оторопь брала. Со времени моего ареста прошло двадцать лет. Невольно вспомнился Державин:

Река времен в своем теченьи  
Уносит все дела людей  
И губит в пропасти забвенья  
Народы, царства и царей.

За истекшие двадцать лет рухнули партии, когда-то своей деятельностью привлекавшие внимание всего мира. Возникли новые. Каждое революционное поколение было представлено в Сибири. Одни приезжали, другие уезжали... Приезжали храбрые, смелые, уезжали после нескольких лет поблекшие. И только разве один из десяти уезжал таким, каким прибывал в ссылку,— уезжал, чтобы продолжать борьбу, уезжал, недавно насильственно вырванный из рядов борцов, уверенный, что по возвращении он вновь найдет себе место в прежних рядах.

Далеко не в таком положении были «старики», к числу которых принадлежал и я. Рядов, в которых мы боролись двадцать лет тому назад, уже не существовало. Борцы рассеялись по всему миру. Одни погибли на виселицах, в Шлиссельбурге, на каторге, на Сахалине, другие «окумнели» и вернулись в тот «старый мир», от которого «отрезались» в дни юности, еще иные изменили знамени интернационализма, знамени партии «Пролетариат», и заполнили ряды пугриотов, выкинувших знамя социализма лишь для привлечения рабочих масс.

Вновь ссылаемые в Сибирь деятели рабочего движения, как это ни покажется странным, своими рассказами не омолаживали нас, стариков, а, пожалуй, сами этого не желая, еще более старили. В наше время считалось большим достижением привлечение в партию одного-двух человек рабочих. Вся наша работа была по преимуществу кружковая, а в 1904 году движение уже приняло массовый характер.

Вначале мы относились весьма скептически к этой «массовости». Но, когда в Сибирь хлынули волны стачечников, когда до нас докатилось известие о выступлении Обуховского завода, когда мы узнали о женщинах-работницах, бок о бок с братьями и мужьями отражавших в течение целых часов натиск полиции и войска, наш скептицизм рассеялся. Становилось ясно, что семена, брошенные десятки лет до этого в пролетарскую почву, дали обильные всходы, что сменившие нас революционные поколения успели развить и углубить классовое сознание пролетарских масс, что наши мечты приблизились к осуществлению.

Но тут возникал новый, уже чисто субъективного характера вопрос,—вопрос о годности каждого из нас для этого движения.

Вспоминались встречи с польскими повстанцами 1863 года. Многие из них воспользовались амнистией 1883 года, вернулись

на родину и несколько месяцев спустя, разорившись до гла, возвратились обратно в Сибирь.

— Нет там места для нас! — скорбно жаловались они мне.

И для них, романтиков-националистов, в тогдашней Польше действительно не было места. Буржуазия «трезво» смотрела на дело. Русские рынки были для нее дороже независимости родины, за которую боролись повстанцы, а пролетарское движение, к которому примкнули рабочие, вместе с ними участвовавшие в восстании, им, националистам, было чуждо.

Мы, социалисты, были в другом положении. Но и мы, «пролетариатцы», в оное время ухитрявшиеся сочетать марксизм с террором, по мере того как революционный марксизм вытеснял единоличные героические выступления, с некоторой тревогой следили за этой переменной.

Когда мне было объявлено, что ввиду моих «заслуг» по изучению края срок мне сокращается (на несколько месяцев) и мне разрешается вернуться на родину, вопрос о моей годности или негодности к революционной работе, который раньше был только абстракцией, теперь встал предо мной во всей его остроте.

Дождавшись навигации, я с первым пароходом отправился из Минусинска в Красноярск, а оттуда поездом дальше.

Поезд уносил меня из страны изгнания. В час мы проезжали больше километров, чем во время шествия по этапу мы проходили в течение дня. На ногах не звенели кандалы. Уже вольный, я ехал на волю. И, тем не менее, лет двадцать до этого я бодрее и увереннее глядел в будущее.

Славься, свобода и честный наш труд.  
Пусть нас за правду в темницу запрут,  
Пусть нас пытаются и жгут нас огнем,  
Мы песню свободы и в тюрьмах споем!

С такой песней мы шли на каторгу.

Когда я возвращался, терзала горшая пытка — внутренняя, мучительный вопрос, понял ли я развернувшееся в течение двадцати лет движение, сумею ли итти в ногу с молодым, выросшим за эти годы поколением, влиться в это движение и слиться с ним или, как те повстанцы, как собака, привыкшая к цепи, вернусь обратно в Сибирь на цепь, которой был прикован к месту.

Поезд мчался на запад, мчался вдоль знаменитой «Владимирской дальней сибирской дороги», по которой, гремя цепями, мы когда-то шли на каторгу... Мог ли я тогда подозревать, что, возвращаясь на родину, я не буду чувствовать радости? А вот пробил час освобождения — и чувства радости я не испытывал. Мозг сверлили слова одного сибиряка:

— Не торопитесь с отъездом. Еще пожалеете о Сибири.

Но я торопился. Надо было поскорее решить роковой во-

прос: быть или не быть; вновь жить, действовать, с головой окунуться в революционную работу или не жить, а убивать время, оставшееся до конца жизни.

Поезд мчался. Мы перевалили через Урал, очутились в Европейской России. Всего четыре дня отделяло нас от Польши. Но от этого не становилось легче. Одолевала жуть. Становилось страшно. Хотелось отдалить роковой момент.

Миновали и эти четыре дня.

Варшава. По дороге на квартиру мне указывали на дома-небоскребы, выросшие за это время. Жители столицы Польши гордились ею. «Вполне европейский город». Да! Вполне! Более, чем вполне! Окрепшая за эти годы польская буржуазия наложила свое клеймо на Варшаву. Старые кварталы разрушались, строились новые, «вполне европейские» дома-гиганты, поражающие блеском, вытеснявшие старые трехконные дома, уцелевшие еще от средних веков.

Не понравилась мне эта новая Варшава. Чужой она мне казалась, напоминая разбогатевшего буржуа, кичащегося своим богатством.

Не видел я и прежних людей. Исчезли студенческие пледы и широкополые студенческие шляпы. Люди, как и дома, были чистенькие, блистали накрахмаленными манишками, хорошо сшитыми костюмами.

Холодно стало. На родине я почувствовал себя чужим.

А тех, которых я хотел видеть, к которым стремился, которые должны были произнести роковой приговор надо мной, решить: жить ли мне или только прозябать, тех не было, к тем в первые дни по возвращении я не мог проникнуть.

Видел я других...

«Каторжанин», «мученик», я привлекал к себе, как «жертва москалей», совсем других...

Видел я Вацлава Серошевского, недавно вернувшегося из ссылки и уже успевшего преобразиться в «прогрессивного демократа», видел Александра Свентоховского, одного из крупнейших польских публицистов, тогда воевавшего с национал-демократами, а ныне их вернейшего сторонника. Посетили меня Стефан Жеромский и Даниловский, писатели-пепеэсовцы.

Но ни подлинных партийцев, ни рабочих в первые недели по возвращении мне не удалось увидеть.

А окружавшие и посещавшие меня были всецело поглощены японской войной, торжествовали по поводу всякого поражения «москалей». До того, что меня интересовало, им, в сущности, не было никакого дела. Время шло. Мучившие меня сомнения усилились. Я искал прежних людей, людей, боровшихся под знаменем «Пролетариата», подлинных социалистов, а не тех, которые только называли себя социалистами. Искал, но долго не находил. Одного в конце концов, как мне тогда казалось, я нашел. Это был пепеэсвец Квятек, известный тогда в партийных

рядах под псевдонимом: «Тадеуш». Я заговорил с ним о рабочих, о движении, о тех массах, о которых нам столько говорили прибывшие в Сибирь ссыльные. Он, как я узнал, был одним из активнейших партийных работников, имел связи с рабочими и мог ответить на мои вопросы и свести меня с рабочими.

Но он не удовлетворил меня своими ответами.

Правда, беседа наша велась шопотом. Было много «чуждого элемента», и нельзя было свободно и громко говорить о таких вопросах. Это я учитывал, и все же меня поразило отсутствие того энтузиазма в его ответах, которого я ожидал.

— Зайдите завтра в «Удзяловую» (кондитерская) в час. Там поговорим подробнее.

В назначенный час я ждал в «Удзяловой». Но прошло полчаса, а «Тадеуша» не было. Я уже собирался уходить, как вдруг в кондитерской поднялась суета и все прильнуло к окнам.

А там, по середине улицы, стройными рядами шли рабочие с красными знаменами, с пением революционных песен. На одних знаменах надписи на польском, на других — на еврейском языках... На одном из знамен фамилии казненных по делу «Пролетариата»: Куницкого, Бардовского, Петрусинского и Оссовского.

Еще минута — и в песню демонстрантов резким диссонансом влились звуки полицейских свистков, топот жандармских лошадей, крики избиваемых.

Я увидел воочию то, о чем только слышал, чему не смел верить.

Оказалось, что «Тадеуш» нарочно назначил мне свидание в этой кондитерской, зная, что мимо ее окон пройдет демонстрация.

В этот же день я встретился с «Тадеушем», а два дня спустя я уже был на собрании рабочих, присутствовал при выступлении и сам выступал.

После стольких лет я вновь приобщился к движению, ожил, помолодел, нашел цель и смысл жизни...

# КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### ППС В 1904 ГОДУ

Оторванный в течение двадцати лет от жизни, я с головой окунулся в работу.

Прежние правила конспирации: встречи с отдельными рабочими где-нибудь на окраине в пивной, одевание таких костюмов, которые делали тебя похожим на обычных посетителей этих пивных, строгое наблюдение за тем, тащится ли за тобой хвост в лице шпиона и т. д., — все это было сдано и не могло не быть сдано в архив. Движение принимало массовый характер. Если двадцать лет назад перед нами стоял вопрос, как связать одного распропагандированного рабочего с другим, то теперь в порядок дня был поставлен вопрос о связи фабрики или завода не только с фабриками и заводами Варшавы, но и других промышленных центров. Говоря современным языком: непосредственно революционной ситуации еще не было, но она приближалась. Атмосфера все более и более накалялась и в ней растворялись все правила конспирации. Было не до них, да и они были излишни. В рабочие районы ни один шпик не смел показаться. К этому приспособилась уже полиция и наблюдение извне заменила системой провокации, наймом на агентурную службу рабочих или служащих на каждой фабрике. От них обычными способами заметания следов нельзя было уберечься и надо было только умно законспирировать и свою фамилию и свой адрес. Это не всегда удавалось. Уже в 1905 году, узнав, что в Марках, под Варшавой, вспыхнула стихийная забастовка, я отправился туда на собрание рабочих, которое должно было состояться в лесу. В своем выступлении на этом собрании я назвал фамилии первых казненных рабочих. Когда я кончил, ко мне подошел один из рабочих и начал расспрашивать, как вел себя перед казнь Ян Петрусинский.

— Я — его родной брат, — пояснил он.  
Я рассказал.

В ответ на это он заявил:

— Я вас узнал по карточке, товарищ, Вы — Кон.

Другой случай, когда меня узнали опять-таки по карточке, снятой в 1886 году, был в Петербурге. «Любич» (т. Саммер) в беседе заявил мне: «Я знаю, кто вы. Я узнал вас по карточке».

Большого значения эта не изменившаяся в течение двадцати лет физиономия не могла иметь. Мне вскоре пришлось перейти на нелегальное положение и выступать в качестве двуликого Януса: перед знавшими меня — под своей фамилией, перед не знавшими — под кличкой: «Лолеславский», но перед теми и другими тщательно скрывать свою нелегальную фамилию, которую я для безопасности менял каждые два месяца, переезжая при этом из одного конца города в другой. Только благодаря этому мне удалось продержаться с июня 1904 года по ноябрь 1906 года.

Чем более я знакомился с рабочей массой, тем более я убеждался, что мы оба с Рехневоким, на собрании в Иркутске, о котором я упоминал во втором томе, правильно определили положение в Польской социалистической партии (ППС). Когда появлялся на собрании чистокровный пепезовец и разводил рацею о «москалях», ему поддакивали, но и только: увлечения патристизмом и грядущим восстанием не было. Но зато лозунг «Долой самодержавие!» и сообщения о том, как борется пролетариат России, вызывали в польских рабочих массах горячий отклик.

Совершенно другую картину можно было наблюдать в партийных верхах ППС. Здесь были гораздо более заняты борьбой с «Социал-демократией Царства Польского и Литвы» (С-Д ЦП и Л.), среди русских известной как ПСД, чем тем, что творилось в массах.

С этими верхами мне пришлось резко столкнуться вскоре после возвращения из Сибири.

Лидеры ППС — чего мы в Сибири не знали — ввели чуть ли не в систему политического опорачивания своих противников. Так они пытались бороться с Юлианом Мархлевским и Розой Люксембург на международных конгрессах, такой метод они применяли и в Польше. В Сибири мы узнали о том, что пепезовцы обвинили старого заслуженного революционера Каспржак в провокации. В связи с этим из многих городов Сибири ссыльные поляки отправляли в Варшаву письма с протестом и требованием пересмотра дела и реабилитации Каспржака. Такое письмо отправил и я и только по возвращении узнал, что все эти письма были положены под сукно.

Я возмутился, узнав об этом, и резко поставил в разговоре с «Тадеушом» (Иосифом Квятеком) этот вопрос.

В это время Каспржак был арестован и ему угрожала смертная казнь...

Ответ «Тадеуша» меня поразил.

— Теперь, когда он может быть казнен, это можно сделать

Каспржака пепеэсовцы хотели не реабилитировать, а «помиловать».

Я вспылил и набросился на собеседника так яростно, что он опешил:

— А они (эсдеки) нас не смешивают с грязью?

Тут уж я окончательно не выдержал и, употребив самые крепкие слова, припрозил:

— Дело не в Каспржаке, а в вас... Я сам выступлю в печати в защиту Каспржака...

Не будь я бывшим каторжником, это, вероятно, не подействовало бы, но «Тадеуш», повидимому, понял по всему ходу разговора, что я выполняю эту угрозу, и струсил:

— Я немедленно сообщу о вашем требовании в ЦКР (Центральный рабочий комитет).

Я понял, что он под этим подразумевает Краков, где проживала головка ППС во главе с Иосифом Пилсудским.

Каспржака приговорили к смерти. Рабочая масса заволновалась и готовилась к демонстрации. Тогда и ППС разразилась каким-то воззванием. В это время мне показалось, что за мной следят, я на время улетучился из Варшавы в Краков и здесь вновь поднял этот вопрос. В архиве пепеэсовцев, по их заявлению, моего письма не оказалось, но нашлось письмо Стружецкого из Колымска с таким же протестом. Припертые к стене, Ендржеевский и Плохоцкий (Пилсудского не было) решили создать специальную комиссию под председательством Игнатия Данинского для пересмотра дела Каспржака. Я вскоре вернулся в Варшаву, и это дело, пожалуй, заглохло бы, но после меня приехал в Краков Стружецкий и он настоял на выполнении этого обещания. Решение, реабилитирующее Каспржака, а этим самым обвиняющее лидеров ППС, было впоследствии напечатано в «Przedswit» («Заря»).

По возвращении в Варшаву у меня было новое столкновение с «Тадеушом» по поводу упомянутого выше воззвания.

Только впоследствии я узнал, что «Тадеуш» в этом вопросе был жертвой партийной дисциплины и что сам он в своих ответах мне был только рупором чужих взглядов. Как оказалась — не только в этом вопросе.

Чем больше я знакомился с внутривнутрипартийными отношениями, тем больше мне приходилось вступать в столкновение с ним, как с человеком, через посредство которого я был связан с партией.

На одном из таких столкновений необходимо остановиться, так как оно было вызвано явлением, вряд ли возможным в какой-либо другой, не только социалистической, но и буржуазной партии. Не только с ведома, но и с благословения руководящего центрального органа партии часть членов партии — интеллигентов — принадлежала одновременно и к ППС и к ПД — партии прогрессивных демократов, возглавляемой известным в то время прогрессивным, ныне национал-демократическим публицистом

Александром Свентоховским. К таким «двоedanцам» принадлежал и известный Вацлав Серошевский, выступавший даже русской прессе от имени прогрессистов.

Толком «Гадеуш» не сумел объяснить мне этого явления, а может, потому, что и сам его не понимал, и давал мне объяснения, лишь подчиняясь партийной дисциплине. Его объяснения были не менее «оригинальны», чем само явление. Из них следовало, что в Польше развитие рабочего движения тормозится за отсутствия буржуазной радикальной партии, существующей в других странах. Такую партию необходимо было создать, и, организации и укрепления такой партии были командирован в стан буржуазии Серошевский, Сигизмунд Геринг и другие.

— И рабочие мирятся с этим? Миритесь и вы? Таким путем «укрепляет» классовую сознательность?

На эти мои вопросы последовал уже граничивший с цинизмом ответ:

— Рабочие не знают об этом!

Рабочие, конечно, не знали, не знали об этом и многие члены партии и узнали лишь тогда, когда так называемые «левы» после VII съезда партии, ребром поставили вопрос о таком удивительном сочетании «службы» рабочему классу с одной менной службой капиталу. «И богу — свечка и чорту — кога»! Отстоять своей позиции правым не удалось и «откомандированные» в другую партию получили директиву вернуться ратно в лоно ППС. Одни сделали это охотно, другие необходимые остались навсегда у прогрессивных демократов и вздысь с притворной скорбью, жалуясь на узость «левых» выскочек ведущих партию к гибели.

Вознегодовали и прогрессивные демократы со своим лидером Александром Свентоховским во главе. Он просил меня зайти к нему по этому вопросу. Я зашел... Свентоховский, ранее приветливый, на этот раз встретил меня вежливо, но сухо. Я взглянул на него... Олицетворение громовержца.

С ироническим смирением Свентоховский спрашивал, чем провинились, что вызвана обрушившаяся на них кара...

Я успокоил его на этот счет. Вины за ними никакой — так как нельзя вменять им в вину, что «прогрессивные демократы» отстаивают классовые интересы буржуазии.

— По Марксу, значит... — пытался уязвить меня Свентоховский.

— Да! Конечно! Мы же — социалисты...

— А ваши предшественники не были социалистами? Они тоже не были доктринарами...

Непогрешимый, — а таким Свентоховский себя считал, — прогрессивной церкви в Польше, не дожидаясь моей реплики добавил:

— Они учитывали условия... Понимали, что для борьбы...

средства, что этих средств рабочие из своих скудных заработков не в состоянии доставить партии.

Такая постановка вопроса была для меня полной неожиданностью, а Свентоховский еще добавил:

— А учли ли вы, как этот разрыв с нами отразится на материальном положении ППС?

С меня было довольно...

— Я вам, пан Александр, отвечу цитатой из какого-то русского стихотворения, которое я вспомнил: «Синьор, я — бедна, но душой не торгую».

Я встал, не подавая руки, издали поклонился Свентоховскому и вышел, услышав брошенное мне вдогонку восклицание:

— Типичные сектанты!

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### ПОЛЬСКАЯ БУРЖУАЗИЯ В НАЧАЛЕ XX СТОЛЕТИЯ

\*Частенько мне приходилось слышать упреки то в сектанстве, то в доктринерстве. Вацлав Серошевский прямо, как ему казалось, «толкал меня сарказмом в бок»: считаете Костюшко сумасшедшим, так как он не признавал пролетариата.

Из этого не следует, что и верхушка ППС, и прогрессивные демократы, и руководящая верхушка создававшейся тогда спясть-таки при содействии пепезовцев, крестьянской партии, и все другие партии включительно до «угодовцев», о которых я буду говорить ниже, «не признавали пролетариата». Его мудрено было не признавать. Но они все «признавали» его только как пушечное мясо в борьбе за те цели, к осуществлению которых они стремились. Это была в буквальном смысле этого слова погоня за пролетарскими душами, соревнование между партиями, из которых каждая свойственными ей приемами пыталась поймать рабочих в свои сети. Одни — как известный писатель Александр Гловацкий («Болеслав Прус») — при посредстве рабочих касс типа Шульцо-Делич, другие — при посредстве ксендзов, орудуя аргументами от бога, третьи — радикальными фразами, противопоставляя варварский рабский режим, которому принадлежала к России, подвергнута страна, создавшая в прошлом «конституцию 3 мая», странам Запада, где царит свобода, равенство и братство, еще иные — жонглируя патриотическими лозунгами, суля рай на земле, как только Польша выберется из-под ярма «москалей».

Во всем этом меня поражали три явления. Первое — основное: обусловленный развитием капитализма гигантский количественный рост пролетариата и то огромное политическое влияние, какое за истекшие двадцать лет завоевал рабочий класс в Польше. Об этом свидетельствовала та борьба, какую вели все партии за привлечение рабочих в свои ряды. Второе — это происшедшая за двадцать лет дифференциация населения Польши,

на почве которой и создались эти партии, развившие в связи с русско-японской войной оживленную деятельность. И, наконец, третье — это ранее незаметный, а в то время бросавшийся на каждом шагу в глаза антисемитизм, с одной стороны, и еврейский национализм, с другой. Игравшие в дни моей юности в рядах еврейской буржуазии главенствующую роль ассимилированные евреи — так называемые «поляки моисеевого вероисповедания», как они в свое время не без гордости себя называли, — почти совершенно стусеивались. На авансцену выдвинулись сионисты, а среди мелкой еврейской буржуазии — «Бунд».

Борьба за «пролетарские души» не мешала верхушкам всех этих партий, за исключением еврейских, дружески обращаться друг с другом, устраивать совместные заседания, пытаться договориться относительно общей платформы в расчете на то, чтобы при этом надуть друг друга и свою партийную платформу выдать за общенациональную. Особенной ретивостью и «ловкостью рук» отличалась национал-демократия. Она сгоняла на такие совещания побольше своих сторонников, чтобы иметь возможность после этого опубликовать, что на собрании таких-то и таких-то партий значительным большинством была принята резолюция, предложенная национал-демократами. «Большинства» эта партия неоднократно добивалась не только на собраниях. Русские товарищи знают эту партию по ее политике во всех четырех Думах. В первой ее представители следовали в припрыжку за русскими кадетами, но с определенной осмотрительностью: «как бы чего не вышло». Но когда эта первая Дума была разогнана, и кадетские депутаты поехали в Выборг и оттуда написали, по остроумному чьему-то выражению, «письмо на родину» — пресловутое «Выборгское воззвание», — национал-демократы уклонились от участия в таком протесте. После разгона второй Думы, как известно, был изменен избирательный закон, и это изменение отразилось на польском представительстве в Думе: количественно оно уменьшилось. Национал-демократия сразу учла, откуда ветер дует, порвала с кадетами и сблизилась с октябристами. Когда вспыхнула империалистическая война, лидер национал-демократии в Думе, Роман Дмовский, почти дословно повторил формулу галицийских консерваторов, когда-то высказавших свое отношение к Францу-Иосифу словами: «Стоим за тебя, государь, и будем стоять!» Дмовский поспешил встать за Николая II и всецело солидаризовался с российскими империалистами. Это была не просто лойяльность. Польская буржуазия была не менее русской заинтересована в экспансии русского государства, в колониях, в рынках.

Из этого отнюдь не следует, что национал-демократы — это политические хамелеоны. Нет! Они прежде всего буржуазные националисты. Я уже в первом томе своих воспоминаний говорил о том, как польская буржуазия принесла в жертву наживе «мечты отцов и дедов», неоднократно поднимавших борьбу за неза-

висимость Польши. В отказе от этой борьбы национал-демократия никогда не сознавалась, она обходила этот вопрос, разжигая шовинизм в массах не против русского самодержавия, а против евреев и немцев, конкурентов польской буржуазии в самой Польше, борясь, как метко сформулировала Роза Люксембург, «не за упразднение русской власти, а лишь за то, чтобы выгодно устроиться при этой власти», борясь «против руссификации и ограничения участия поляков в государственной службе». Стремясь стать партией, представляющей якобы интересы всего народа, она не могла на первых порах не считаться с интересами и вытекающими из них отношениями к русской гегемонии шляхты, лишавшейся своего прежнего господствующего положения, католического духовенства, переставшего представлять привилегированную религию в стране мелкой буржуазии, не извлекавшей выгод из восточных рынков, а в «своем отечестве» отгесненной на задний план. Все эти элементы, не проявляя активности, все же грезили о том, что настанет время, «прийдут братья с берегов Сены», и опять они начнут «боевую пляску с врагом».

Рост внутреннего польского рынка, завоевание польскими торговцами русских и восточных рынков постепенно освободили от пылкого патриотизма и эти элементы. Шляхта, разоренная после восстания, мечтала уже не о свержении царского ига, а о достижении такого положения, каким пользовалась под скипетром Романовых русское дворянство. Католическое духовенство, не находя поддержки в Риме, с которым русское самодержавие сумело договориться, присмирело. Мелкая буржуазия, прельщаемая перспективой приобщиться к общественному пирогу в виде автономии, надеялась добиться ее политикой лояльности и покорности. Все эти элементы пошли за буржуазией, цеплявшейся за порфиру русского самодержца.

Менее всего хлопот в этом отношении было у буржуазии с зажиточным крестьянством, наделенным русским правительством землей в 1864 году. Все эти элементы и объединяла национал-демократия, суля каждому отстаивание его классовых интересов. Бросая в настоящее время ретроспективный взгляд на всю ее деятельность до восстановления независимости Польши, нельзя не отметить, что эта классовая партия буржуазии ни перед чем не останавливалась для того, чтобы сломить сопротивление враждебного ей класса. Понятно, что она не оставила своим вниманием и рабочий класс. Суля рабочему классу всевозможные блага в момент революции, она организовала национальный рабочий союз и членов этого союза использовала для кровавой расправы с рабочими-социалистами. Характерно, что глава национал-демократии — Роман Дмовский — увидел в лице главы тогдашних пепеэсовцев — Иосифе Пилсудском — своего поля ягодку. В статье, посвященной Пилсудскому, Дмовский говорит о нем с огромной симпатией: рыбацк рыбака видит издалека.

Двадцать лет я был оторван от Польши, и после моего воскресения из мертвых мне буквально пришлось ее заново изучать.

То, что было двадцать лет до этого только в зародыше, теперь не только расцвело, но уже дало вполне определенные плоды. Для Польши, завоеванной Россией, эта Россия стала богатейшим рынком сбыта... Крупнопромышленная и все более растущая финансовая буржуазия успела окончательно сменить помещичье дворянство старого типа как господствующий класс. Мало того, самим процессом своего развития она вынудила определенные помещичьи силы вести свое хозяйство на капиталистических началах, связала и заинтересовала его в развитии промышленности, а тем самым заставила изменить и политическую ориентацию. Идеология борьбы за независимость сменилась идеологией борьбы за уравнивание в правах польской шляхты с русским дворянством, польской буржуазии с российской буржуазией. Русское самодержавие уже перестало быть заклятым врагом, от него ждали лишь, чтобы оно переложило гнев на милость, забыло прежние прегрешения против него. Это привело к переоценке прежних отношений к власти. Если двадцать лет назад польская буржуазия в борьбе с рабочим классом и польские помещики в борьбе с крестьянством еще стеснялись прибегать к содействию и помощи царского правительства, то в 1904 году и в следующих годах обращение за помощью к полиции уже стало обыденным явлением и не считалось предосудительным. При всякой забастовке рабочих, при всяком волнении крестьян, — а в эти годы они происходили очень часто, — при любом столкновении труда с капиталом по требованию предпринимателей являлись полиция, казаки для защиты польских фабрикантов и помещиков от польских же рабочих и крестьян.

Польша в начале XX века уже не была той Польшей, какую я оставил в 1884 году. Русское правительство эту новую буржуазную Польшу переименовало в «Привислинский край». Это еще коробило польское общество. Вызывало недовольство и то, что Польша была лишена и земского и городского самоуправления, и суда присяжных, и многого того, чем пользовалась Россия. Царское правительство этим все еще выражало недоверие своим польским подданным, а это недоверие не давало польской аристократии возможности занять наравне с русской аристократией главенствующую роль в государстве, не давало польской шляхте пользоваться благами, предоставленными русскому дворянству, не давало буржуазии играть как в стране, так и во всей империи роль, какую играли ее русские братья по классу, не давало мелкой буржуазии получить службу в автономных учреждениях. Этим вызывались стремления к децентрализации.

Земельные магнаты и финансовые тузы действовали прямо. Им нечего было стесняться. Достойные сыны «поляков, падших за верность своему монарху», как значилось на воздвигнутом в Варшаве царским правительством памятнике полякам, отстаи-

вавшим в 1830—1831 годах царскую власть против повстанцев, они в своей низости дошли до того, что манифестировали верность Романовым своим участием в открытии памятника Екатерине II — поработительнице Польши. Они считали и называли себя «реалистами», партией «реальной политики» — партией «соглашеницев» («угодовцы») с царизмом. Эта партия не пользовалась популярностью, чего нельзя сказать о национал-демократии. Эта партия сумела объединить вокруг себя самые разношерстные элементы и не без основания порой издевалась над горсточкой «паралитиков» (прогрессивных демократов), пытавшихся залезть в щель между нею и рабочими партиями и простиравших одну руку буржуазии, а другую рабочему классу. Конечно, национал-демократия и сама это делала, как вообще она делала все, что могло расширить ее влияние. «Принципы» никогда не могли ей ни в чем помешать, но в то время как прогрессисты, по чьему-то образному выражению, напоминали редиску, сверху красную, а внутри белую, национал-демократы никогда не выдавали себя за красных, а искали опоры в наиболее отсталых католических, отуманенных поповским дурманом элементах рабочего класса.

Я дольше остановился на этой партии, так как из польских партий это была единственная, с которой рабочим партиям приходилось серьезно считаться и бороться.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### ПОЛЬСКИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

Заранее оговариваюсь, что менее всего я имел соприкосновение с «Бундом», опиравшимся, главным образом, на еврейских ремесленников — подмастерьев, мечтавших превратиться в самостоятельных мастеров, на приказчиков, еврейских учителей и насчитывающим в своих рядах очень немного подлинных пролетариев. На «Еврейской улице» «Бунд» пользовался большой популярностью, но сама-то эта «улица» была мелкобуржуазной, а не рабочей.

Весьма мало я могу сказать, и о партии «Пролетариат»<sup>1</sup>, если эти жалкие группки, возглавляемые Людовиком Кульницким, можно назвать «партией». Вождь этой «партии» менял постепенно убеждения, превращаясь во вполне дойяльного демократа, сначала австро-венгерского, «императорско-королевского», а затем после 1918 года — польского. Линяла и партия: то возвращаясь к индивидуальному террору, то ведя переговоры о самоликвидации и переходе в ППС, то выкидывая такие штуки, как нашествия на квартиры проституток и разгром этих квартир, всерьез полагая, что такими средствами можно ликвидировать проституцию. Говоря о социалистических партиях, я имею в виду только две партии: Польскую социалистическую партию (ППС) и «Социал-демократию Царства Польского и Литвы».

Выше, говоря о национал-демократии, я пытался обрисовать отношение отдельных прослоек буржуазии и дворянства к русскому самодержавию. Но в то же время польская буржуазия не могла не чувствовать стесняющей ее опеки царской бюрократии, и образ правления в России не мог не вызывать ее недоволь-

---

<sup>1</sup> Речь идет о партии, возникшей в 90-х годах и ничего общего, кроме названия с широко известной революционной партией Людвиг-га Варынского не имевшей.

ства. Если бы Николай II перестал быть «божьей милостью самодержцем» и превратился в конституционного, «по воле народа», монарха, она превратилась бы в верноподданнейшую из верноподданных. Вспоминаю сатирическое стихотворение Вацлава Свенцицкого (автора «Варшавянки»), написанное им в десятом павильоне Варшавской цитадели в 1879 году и напечатанное в 1883 году в одном из номеров «Пролетариата».

О, сын великого отца Николая<sup>1</sup>,  
И несомненно столь же великой матери.  
О, властелин от Носа<sup>2</sup> до подножья Алтая,  
О, император от Лап<sup>3</sup> до Лопатки<sup>4</sup>,  
К твоему престолу возносим моление:  
Дай, государь, конституцию!

Но конституция была лишь мечтой, а руссификация, гнет, самодурство бюрократии и вмешательство во все дела — было реальной действительностью.

Жестко проводя руссификацию, царское правительство очищало средние и высшие учебные заведения от польских учителей и заменяло их русскими, поляки в правительственных учреждениях были допускаемы только на самые низкие должности. Эта интеллигентская прослойка сознавала, что, будь Польша независимой, она была бы в таком же привилегированном положении, в каком находятся русские учителя и чиновники, и с ненавистью относилась не только к царскому правительству, но ко всему русскому. Этим слоем каждая победа японцев над русскими воспринималась как предвестник гибели и распада России и этим самым как предвестник воскресения Польши и занятия ими того положения, которое им принадлежало «по праву». В этой среде все еще жила старая песня:

Вон в Азию, ступай, Москва!  
Европа — это не дикая орда!  
В ее руках — меч народов,  
В твоих руках — кнут и бич!

Это были идеологи борьбы за независимость Польши. И работа их в массах чрезвычайно облегчалась жестокой руссификацией, гнетом, проводившимися наиболее отвратительными элементами русской бюрократии, посылавшимися царским правительством в Польшу. На какие слои в массах они могли рассчитывать? Прежде всего на кулаков и часть среднего крестьянства. Во всех областях жизни этого слоя русская бюрократия была помехой, на каждом шагу сильно ощущимой. Важнейший вопрос — покупка

<sup>1</sup> Сын Николая — Александр II.

<sup>2</sup> Нос — Чукотский нос.

<sup>3</sup> Лапы — мыс Лапы.

<sup>4</sup> Лопатка — мыс Лопатка. «От лап, т.-е. от ног, до лопатки» — т.-е. без головы. Намек на отсутствие головы у царя.

земли — был связан с такими формальностями, устранимыми только при помощи взяток, что нередко бывали случаи, когда даже кулак вынужден был отказываться от такой покупки. Я уже не говорю об отсутствии кредитных учреждений, которые бы ее облегчали крестьянству. Мечта этого слоя дать образование детям, помочь им подняться на следующую ступень общественной лестницы, сделаться ксендзами, «профессорами», как звали каждого учителя, и т. п. наталкивалась на препятствие в виде руссифицированных школ. В первом томе я говорил о том, как трудно давалось образование в этих школах городским детям. Еще гораздо труднее это давалось крестьянскому мальчику.

Вся масса крестьянства, в высшей степени подозрительно относившаяся ко всяким «панам», а к таким ею причислялась и интеллигенция, испытывала такой же гнет и произвол, но, вынужденная плыть между панской Сциллой и царской Харибдой, она оставалась глухой на призыв идеологов национального восстания.

Другое дело те, которые сами лезли в «паны», которые сознавали, что, будь в Польше самоуправление, они бы в нем орудовали, которые мечтали — не мешай «москали», они бы и сами сумели оседлать крестьянство помаломощней. Они так же, как мелкая шляхта, ни на что не могли рассчитывать при сохранении подчинения России и хотя и не активно, но сочувствовали идеологам восстания. К ним примыкала и часть ксендзов, недовольных уступками папства русскому самодержавию. В городах, в особенности в промышленных центрах провинции, идеологи национального восстания были популярны среди ремесленников.

Угнетение и руссификация, безнаказанный произвол, наглая ничинная поддержка фабриканта во всех столкновениях труда с капиталом, расправа с рабочими при помощи нагаек и расстрелов, проводимые царской бюрократией, создавали почву для восприятия повстанческой идеологии и некоторой частью рабочих.

Я перечислил все социальные группы, на которые могла бы опереться буржуазная патриотическая партия в Польше... Могла бы, если бы существовала, если бы вообще могла существовать. Но впрямь кулацкого и ксендзовского коня в одну телегу с «третней» пролетарской ланью было нельзя, и глашатаем борьбы за независимость сделалась в Польше не буржуазная партия, а партия, при своем основании, может быть, искренне считавшая себя социалистической, ныне пользующаяся громкой, но вместе с тем весьма печальной известностью — Польская социалистическая партия — ППС. •

Когда я вернулся из ссылки, эта партия уже существовала более десяти лет. За это время в ней произошло многое вполне естественное и неизбежное, но совершенно не предвиденное ее

творцами. Идеологи и руководители, игнорируя классовые интересы пролетариата, направляли партийную ладью в одну сторону, а рабочие, входящие в состав организации, плыли в другую.

Несколько лет спустя, выступая против группы, возглавляемой Иосифом Пилсудским, я заявил: «Нам с вами не по дороге. Вам нужен пролетариат для независимости, нам независимость для пролетариата». Но это было в момент раскола. В 1904 году, когда по возвращении из ссылки предо мною стоял вопрос, к какой партии присоединиться: к ППС или ПСД, многое еще для меня было неясно и в той и в другой партии. Как бывший «пролетариатец», еще тогда бороздившийся с националистами, контрабандой под флагом социализма проводившими в массах свои националистические идеи, я, казалось, должен был не колеблясь вступить в ряды ПСД. Но за двадцать лет пребывания в ссылке на многие вопросы я уже смотрел иначе, на многое не смотрел так прямолинейно как раньше, но зато, надо откровенно сказать, нажил много новых и уже не детских заблуждений.

Прежде всего — и этого я не думаю скрывать — в Сибири я болел так называемой «тоской по родине». Я тосковал по Польше, не по польским эксплуататорам, не по ксендзам и торгашам, конечно, но по польскому языку, по польской культуре по польскому театру, по польскому крестьянину, забитому, но более отзывчивому, не такому черствому, как сибиряк, не по польскому рабочему, быстро воспламеняющемуся и готовому на жертвы.

Это было чувство, для которого я еще в Сибири подыскивал идеологическое обоснование и так же, как чистокровные идеологи ППС, находил его в Марксе, не учитывая, когда и при каких условиях Маркс требовал «независимости Польши» и настаивал на том, чтобы Германия вела войну с Россией за свободу Польши».

Но, позоря, под Польшей я менее всего разумел польскую шляхту, буржуазию и духовенство. Я видел, во что превратилась эта шляхта за истекшие сорок с лишним лет, и не питал относительно ее, как и относительно буржуазии, никаких иллюзий. Но одновременно с этим для меня в то время не подлежал сомнению, что независимость страны нужна для пролетариата для его борьбы за освобождение, что эта борьба тормозится тем, что Польша входит в состав русского государства.

Время моего пребывания в каторге и в ссылке, за исключением последних нескольких лет, было временем самой жестокой реакции в России и вместе с тем временем огромного роста пролетарского движения на Западе. И мне тогда казалось, что оторвать Польшу от России и присоединить ее к Западу — это первейшая задача социалистической партии.

По возвращении в Польшу я изучал всю программную литературу. Читал и призывы «Мазура» (Габского), — тогда член ЦК ППС, а в 1904 году уже одного из руководителей национал

демократии, — запастись заблаговременно маленькими орудиями («агтазки») для борьбы с «москалем». Это был один из тех оголтелых националистов, которые (как и Пилсудский) сделались социалистами для того, чтобы направить деятельность ППС в русло классовых интересов буржуазии. Лозунг борьбы за независимость, призывы к борьбе с «москалями» переносили центр внимания рабочего класса с классовой борьбы на национальную, а это было нужно буржуазии, и поэтому, хотя она сама, как я уже говорил, отнюдь не желала отделения от России, однако не только терпимо, но и весьма благосклонно относилась к этому лозунгу в рядах пролетариата. Это было, так сказать, «крайняя правая» ППС. Ее возглавляли Пилсудский Иосиф, брат осужденного на каторгу по делу Александра Ульянова — Бронислава, Иодко, Енджеевский, Плохоцкий («Осарж») и другие, вплоть до Гумпловича, сына известного социолога, который обосновывал эти взгляды тем, что «и Ирландия грезит о независимости». Других аргументов у него не нашлось.

Иначе ставил вопрос лидер тогдашних «левых» пепеэсовцев, профессор Брюссельского университета Келлер-Крауз, печатавший свои статьи под псевдонимом «Михаил Люсня», брошюра которого — «Классовость нашей программы» была по постановлению возглавлявшего ЦК ППС «Зюка» (Пилсудского) предана сожжению. В своей брошюре «Независимость Польши в социалистической программе» он подчеркивал следующие моменты:

«...Традицией европейской реакции является обращение за помощью к царизму; традицией царизма — оказывание ей помощи против революции; традиция польской демократии ложится как символический Рейтан на пороге демократизирующейся Европы и говорит царизму: не пройдешь. Почему европейская демократия всегда требовала восстановления Польши как средостения, отделяющего Европу от царизма? Почему социал-демократы — Маркс, Энгельс, Либкнехт и столько других, переняв из ослабевших рук мещанской буржуазии руководство дальнейшим движением европейской цивилизации, унаследовали от нее это принципиальное требование?

Оно все еще остается жизненным. Вполне очевидно, что развитие социалистической деятельности в европейских государствах в определенный момент наталкивается на решительное сопротивление господствующих классов и правительств. Надежда на то, что во Франции, в Италии, а в особенности в Германии или Австрии можно будет, я уже не говорю, обобществить землю и средства производства, но хотя бы значительно приблизиться к этой цели и установить политическую власть пролетариата легальным путем, — одна из вреднейших иллюзий для социалистов. Имущие классы и династии, в особенности последние, все более и более чувствуя надвигающуюся опасность, уже везде обсуждают вопрос об отмене политических форм и для достижения

этого или сами сойдут с пути законности, или, покушаясь на драгоценнейшие свободы, на неотъемлемые условия для развития демократии и социализма, вынудят пролетариат начать революционный бой.

Это может случиться через год (брошюра написана в 1904 году), через два, а может быть, и через десять и позже. Сроки предусмотреть нельзя, но надо быть готовыми. Это в особенности возможно именно в Германии и в Австрии...

И вот если германское или австрийское правительство не сможет быстро подавить у себя революции, если она ему будет сильно угрожать, то не подлежит сомнению, что оно обратится за помощью к русскому правительству, а последнее, что также не подлежит ни малейшему сомнению, поторопится оказать ему эту помощь, так как тогда революции в соседних странах могли бы угрожать и ему. Тогда-то Польше предстоит выполнить ее традиционную функцию, тогда наступит момент для действия социалистов и демократов, искренно желающих независимости Польши». Короче говоря, Люсня, отстаивая идею независимости Польши, считал, что борьба за независимость лишит русское самодержавие возможности оказать помощь другим правительствам в подавлении революции, как это было проделано в 1848 году, когда Николай I послал свои войска на подавление венгерского восстания.

Но с этого момента прошло полстолетия. Россия уже была не та. Эту новую пролетарскую, уже тогда поднимавшуюся борьбу России Люсня недооценивал. «Правда, — пишет он дальше, — польская революция не будет уже единственной защитницей Европы от царизма: у нее будет соратник в борьбе в лице русской революции. Но всякий, трезво глядящий на вещи и знающий отношения, понимает, что русское движение и в настоящее время и безусловно долго еще будет слишком слабым, чтобы парализовать русское правительство и сделать невозможным отправку войска на запад».

Так смотрела на вопрос о борьбе за независимость Польши «левая» ППС. Неверие в русскую революцию наряду с убеждением, что на Западе революция назревает и может в ближайшее время вспыхнуть, — эти два момента были решающими в стремлении к независимости, с одной стороны, приобщающей Польшу к общеевропейской революции, с другой — ослабляющей царизм как опору реакции.

У меня этого неверия в русское революционное движение не было, не было и преувеличенной оценки сил революции на Западе. У меня было другое. Роза Люксембург считала, что буржуазия особенно выпячивает национальный вопрос для того, чтобы отвлечь пролетариат от классовой борьбы и вести его за собой. Это я тогда полностью признавал. Но именно из этого делал вывод, что достижение независимости лишит буржуазию этой возможности и что в независимой Польше классовая борьба

ба ничем не будет затушевана. Традиции, резко подчеркнутые Люсней, на меня не действовали. Но... действовало другое.

В постановке вопроса Розой Люксембург я находил тогда два изъяна. Первый — как это ни странно — это неверие в силы и растущую сознательность польского пролетариата. Чего опасалась Роза Люксембург, а за ней и ПСД? Того, чтобы выдвижением национальных лозунгов буржуазия не воздействовала так на рабочий класс, что он пойдет за ней. В этом я усматривал неверие. Для меня не подлежало ни малейшему сомнению, что, какие бы национальные лозунги ни выдвигались, классовые противоречия заставят рабочий класс противопоставить себя буржуазии и наметить свои пути для освобождения от национального гнета. Но еще в другом я не мог согласиться с Розой Люксембург. Мне казалось, что она противоречит самой себе. В статье «Шаг за шагом» Роза Люксембург отметила в высшей степени характерное для тогдашней Польши явление: «Переход всей польской буржуазии к активной русской политике как бы переносит самодержавное правительство в Польшу. До сих пор благодаря воздержанию от участия в политической жизни и пассивности польского общества абсолютизм мог считаться лишь случайным явлением, обусловленным аннексией. Однако же, когда буржуазная Польша в политическом отношении становится русской и польское общество вырастает, так сказать, в абсолютизм, последний перестает быть только русским, а становится также и польским абсолютизмом».

Для меня было непонятно, как же при таких условиях, когда буржуазия за связь с Россией, а пролетарская партия будет проводить идею отторжения Польши от России, может угрожать опасность, что буржуазия поведет за собой пролетариат.

Я в то время, признавая и отстаивая «право нации на самоопределение», не осознал ленинской позиции в этом вопросе, весьма далек был и от осознания того, на что впоследствии указал товарищ Сталин, — что национальный вопрос, по сути дела, это крестьянский вопрос, хотя он и шире крестьянского. Но, говорю откровенно, это «право нации на самоопределение» гармонировало с тогдашними моими чувствами, оно давало идейное обоснование чувству, которое я хотел во что бы то ни стало обосновать. Пресмыкательство буржуазии перед царизмом, ее заискивание у него было для меня настолько гадко и противно, что в душе — ни в печати, ни на собраниях я об этом не упоминал — я ставил в упрек ПСД, что и она при этих условиях за «органическую» связь с Россией.

Еще одно. ПСД считала, что лозунг борьбы за независимость Польши отвлекает польский пролетариат от совместной борьбы с русским рабочим классом за свержение самодержавия. Основания для этого у ПСД были. Лидеры ППС, разжигая в массах национальную ненависть ко всему русскому и стремясь сохранить силы пролетарских масс для национального восстания, мог-

ли преследовать эту цель. Но я не сомневался, что заправилам ППС не удастся разорвать связь между польским и русским революционным движением, которой мы, «пролетариатцы», еще в то время придавали огромное значение, и осуществили ее, заключив союз с «Народной Волей».

Я дольше остановился на этом вопросе, так как мне не раз приходилось отвечать на вопрос бывших пезсдеков, почему я, бывший «пролетариатец», в 1904 году примкнул к ППС, а не к ПСД.

С момента, когда предо мною встал вопрос, в какую партию вступить, прошло тридцать лет... В течение этих лет и на воле, и в тюрьме, и в эмиграции, и после революции мне не раз приходилось обдумывать этот вопрос и проверять, был ли правилен сделанный тогда выбор партии, а если неправилен, то почему?

Этот вопрос сложнее, чем он может на первый взгляд казаться. Я искренно, честно и последовательно вел линию на раскол в ППС и на объединение левой ППС с ПСД на революционной интернационалистской почве и не сомневался в том, что это объединение рано или поздно должно произойти. И все же я не считал, что безразлично, буду ли я содействовать этому объединению, находясь в той или другой партии. Нет. Я тогда считал, что выбор сделан правильно. И это было заблуждением и несчастьем, довольно обычным в революционной среде. Из одной крайности я попал в другую. Во времена «Пролетариата» мы в национальном вопросе перегибали палку в одну сторону; по возвращении я, пытаясь выпрямить линию, перегибал ее в другую, вступил в партию, которая выдвигала националистские лозунги, и считал, что смогу ее очистить от мелкобуржуазного налета. Это одно. Но был и другой момент. Обвиняя Розу Люксембург и ПСД в неверии в силы пролетариата, я сам, того не сознавая, гораздо более грешил в этом отношении. ПСД была подлинной рабочей партией и именно потому, что она не выдвигала национального вопроса, она была более гарантирована, чем ППС, от проникновения в нее националистических элементов. При этих условиях у ПСД было более данных на выпрямление ее линии рабочим классом. Этого я не учел. Это было ошибкой. В пролетарской среде я мог бы лучше и скорее содействовать выпрямлению линии, чем в мелкобуржуазной, интересам которой более отвечала линия ППС. Сделав эту ошибку в 1904 году, я дальше уже шел по инерции и, наталкиваясь на неприемлемые для меня явления, вместо того чтобы решить вопрос по-большевистски, искал выхода в рамках партии в которой работал. И если я обвинял ПСД, что она откладывала решение национального вопроса до победы революции, то о себе могу сказать, что я все наболевшие и требовавшие немедленного решения вопросы откладывал... до слияния с ПСД.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### «СИМПАТИКИ»<sup>1</sup> ППС

За исключением «Тадеуша» и нескольких партийных генералов, проживавших в Кракове и оттуда командовавших партийной армией, в первое время о моей принадлежности к ППС и об активной работе в ней мало кто знал. Окружению, в котором я вращался, — а это случилось со мной уже и после Октября, — вместо Ф. Кона нужна была икона — не бодрый, активный деятель, а каторжанин-мученик, и не агитатор, а материал для агитации. Меня в это время посещали чуть ли не все либеральствующие и радикальствующие интеллигенты всевозможных профессий г. Варшавы, начиная с таких крупных величин, как Стефан Жеромский, Андрей Немоевский, Даниловский, Людовик Крживицкий и т. д., вплоть до мелкой сошки, вьюном вьющейся вокруг великих мира сего, вроде пресловутого «Иеронимко» — Иеронима Кона, ныне парижского корреспондента центрального органа ППС — «Работник» — одного из тех, у которых в голове пусто, но зато на языке густо.

Жеромский и Даниловский считали себя социалистами-пепезовцами, но это были «демократы» чуть ли не 1848 года... «Рабочий народ любить надо!» — упрекал нас на одном из съездов Даниловский за призывы рабочих к демонстрациям, за которые рабочие иной раз платились годами тюрьмы.

— Не любите! Плевать нам на вашу любовь, — крикнул ему, к его величайшему удивлению и недоумению, один из рабочих.

Жеромский, значительно более талантливый, чем Даниловский, но и гораздо более скромный, по крайней мере никого не поучал. Он был социалистом, так сказать, «для себя», оказывая ту или другую помощь партии, он удовлетворял свою потребность не быть безучастным в происходящей борьбе. В программах он не разбирался. Был пепезовцем потому, что СД была

<sup>1</sup> Сочувствующие.

«против независимости», вела какую-то пропагандистскую работу, а не «героическую» борьбу, какую вели пепезовцы.

Совершенно другой тип представлял Людовик Крживицкий. Когда я был студентом, он и Станислав Крушинский были вожаками радикальной студенческой молодежи. Позже он выступал в легальной прессе как марксист и довольно неудачно вел борьбу с тогдашними польскими народниками, впоследствии большинстве превратившимися в национал-демократов. Когда вернулся из-за границы, он уже был известным профессором, труд которого «Антропология» был переведен на русский язык, его статьи печатались во многих русских «левых» журналах. Он принадлежал к типу «около-партийных» социалистов, и становился то ближе к ППС, то к ПСД. Когда ППС, в предвидении событий, заблаговременно купила у прогоревшего редактора-издателя «Ежедневный курьер» («Kurier Codzienny») тем, чтобы сначала издавать его как легальный, ничего общего с партией не имеющий орган, а когда наступит момент, превратить его в официальный орган партии, что впоследствии и было сделано, — Крживицкий вошел в состав редакции этой газеты, по меньшей мере как социалист, очень близкий по воззрениям к ППС. Это не помешало ему во время выборов в первую Думу фигурировать в списке кандидатов прогрессивных демократов на первом месте после Александра Свентоховского. Таким «около-партийным», по моим сведениям, Крживицкий остался до самой старости. Указывая на это, я отнюдь не думаю умалять его значения в движении. Он первый в Польше проводил марксистские идеи в легальной прессе и своими в высшей степени добротными исследованиями немало способствовал углублению классовой сознательности пролетарских масс.

Полную противоположность Крживицкому представляла Мария Пашковская. Она не была «около-партийной». Наоборот, она была партийкой, пепезовкой, готовой в любой момент пожертвовать собою для дела. Конспирация была ее стихией. Но она была пепезовкой только разве потому, что другой нелегальной партии, кроме ПСД, не было, а в партию, «отрицавшую независимость», она, воспринявшая все традиции восстания 1861—1863 годов, вступить не могла. Лювеобильная, сентиментальная, она действительно страдала от того, что кроме ППС существует еще одна партия, когда должна быть одна, именно такая, как ППС, сочетающая воедино социализм и патриотизм, борющаяся и за освобождение Польши и за «облегчение судьбы» «бедных рабочих». Она преклонялась перед «Зюком», каждое оброненное им слово было для нее святыней, и она прямо понять не могла, как можно перед «Зюком» не преклоняться. До «гапоновских дней» она ведала техникой и с грехом пополам с ней справлялась, но после этих же дней, принявших боевой характер во всей Польше, в особенности же в Варшаве, и дело техники осложнилось, и Пашковская от непосредственно партийной ра-

боты перешла к работе по собиранию средств для заключенных и их семейств. Этим она занималась и раньше по совместительству с партийной работой и тут она была незаменима. Все, что от кого-нибудь можно было вытянуть, она очень настойчиво и умело вытягивала. Меня она сразу превратила в «свадебного генерала». Она устраивала за городом пикники с вернувшимся с каторги Коном и с участниками таких пикников драла немилосердно. Она организовывала мои доклады, нажимая на то, чтобы я побольше «трагического» рассказывал о каторге, о Сибири. Славная она была женщина, при распределении средств между семьями заключенных она не делала разницы между ППС и ПСД, но идейно она ничего общего не имела с рабочим движением. И таких в ППС, конечно, не в рабочей среде, было много, даже очень много. Дети и внуки повстанцев, воспитанные на воспоминаниях о героических подвигах их отцов и дедов, романтически настроенные, они находили в ППС партию, отвечающую их настроениям.

Борьба с этими националистическими течениями в ППС была очень трудной, а эта трудность усиливалась тем, что фактическое руководство до июньской конференции 1905 года, о которой я буду говорить ниже, находилось в руках националистически настроенных людей. Они не мешали «низам» заниматься будничными вопросами, но сами были заняты проведением «высокой» политики.

Русско-японская война окрылила их надеждами. В войсках микадо они увидели союзника, и Иосиф Пилсудский отправился в Токио с определенной целью добиться от микадо поддержки с его стороны взамен за поддержку подготовляемого им, Пилсудским, и его партией восстания... Сделка не состоялась. Японское правительство было слишком хорошо осведомлено о положении дел в Польше для того, чтобы бросать деньги на ветер. Но Пилсудский не принадлежал к тем, которых неудача заставляет отступать от намеченного плана. Микадо не верил в силы, которыми располагал Пилсудский. Из этого Пилсудский сделал вывод, что надо доказать, что такие силы есть. И он попытался это сделать. В Польше происходила мобилизация. Выступить с протестом против нее, организовать вооруженную демонстрацию, о которой заговорит весь мир, — тогда и Япония изменит свое отношение к его предложению. И такая демонстрация была организована на Гржибовской площади в Варшаве. Рабочие в ней почти не принимали участия, участников демонстрации — по преимуществу интеллигентов — было очень немного, но была перестрелка, был шум, а только это Пилсудскому и нужно было. Дело на этот раз не выгорело. Но, повторяю, этим Пилсудский не смущался, и впоследствии на революцию 1905 года он и вместе с ним смотрели точно так же, как на войну с Японией. Как война, так и революция, ослабляя правительство царя, создает

благоприятные условия для того, чтобы поднять национально-восстание.

Я не был в Варшаве, когда происходила эта демонстрация. По семейным делам мне пришлось съездить на некоторое время в Николаев, но когда я вернулся обратно в Варшаву, одни с восторгом говорили об этой демонстрации, другие только пожимали плечами, считали ее недопустимым путем и недопустимой тратой сил.

Я считал такую демонстрацию дискредитацией той демонстрации, которая могла и должна была быть организована. В рабочих массах настроение было приподнятое, мобилизация усиливалась. Проведя соответствующую работу в массах, можно было добиться массового выступления в противовес выступлению гонимых интеллигентов в честь японского микадо. Но это не было сделано и не было сделано по тем же соображениям, которыми так долго удерживали нас от раскола. Были опасения, что разбоящая масса пойдет за организаторами «японской» демонстрации, и мы решили подойти к этому вопросу «медленным шагом робким зигзагом», так же, как и к другим аналогичным.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### ГАПОНОВСКИЕ ДНИ В ПОЛЬШЕ

Кратковременное мое пребывание в Николаеве и Одессе не оставляло во мне сомнения в том, что недалеко время, когда раскаты революционной грозы разразятся над царской Россией. Это чувствовалось во всем. Возбуждение рабочего класса возросло. Руководители и владельцы фабрик и заводов уже более внимательно и более осторожно относились к рабочим. Приободрилась и осмелела интеллигенция. В прессе эзоповский язык постепенно начал исчезать, даже цензоры стали как-то либеральнее чиркать статьи журналистов.

Все это проходило для пепезовцев почти незаметно. Отношение к революции, к русскому рабочему движению продолжало оставаться таким же, каким было за четыре года до этого у Люсни... «Улита едет, когда-то будет», а «улита» двигалась вперед гигантскими шагами.

Вполне понятно, что при этих условиях события 9(22) января 1905 года явились для пепезовцев полной неожиданностью и даже не были ими как следует поняты. Верхушка, руководившая движением из «прекрасного далека» — из Кракова, даже не сочла нужным в связи с этими событиями шевельнуться с места и появиться в Варшаве. «Революция с царскими портретами, с иконами, с «спаси, господи, люди твоя», — это, по-вашему, революция?!» — опровергал меня некоторое время спустя на VII съезде ППС «Роман Бялый» (Малиновский).

Руководители на местах так рассуждать не могли. Уже по тому, как восприняли известия из Петербурга рабочие, они, быть может, не осознавая даже, что революция началась, поняли все же, что в России случился какой-то «перелом», что надвигаются события первостепенной важности.

«Тадеуш» в первый момент то ли растерялся, то ли не решался предпринять что-либо, не получив директив из Кракова. Я встретил его на квартире своей сестры, Елены Геринг. Он коле-

бался, и мне вряд ли удалось бы убедить его, если бы не явились специально приехавшие из Вильны братья Мариан и Людовик Абрамовичи. Первый из них, старый революционер, уже успевший побывать в ссылке в Колымске, играл в Вильне такую же роль руководителя, какую играл в Варшаве «Тадеуш».

Вильна была ближе к России, там известия о событиях в Петербурге получились раньше, там рабочие уже начали выступать, и Абрамовичи, обеспокоенные отсутствием директив от партии, примчались в Варшаву за этими инструкциями. Самый их приезд подействовал на «Тадеуша».

Краков продолжал молчать, повидимому потому, что начавшаяся революция ударила не только по царизму, но и по ППС. Вся аргументация ППС базировалась на том, что Польша горела, горит и всегда будет гореть пламенем революции, в то время как Россия подобно Китаю поднялась на определенную высоту и навеки застыла...

Этого отношения не изменили ни забастовка в Петербурге в 1896—1897 годах, ни студенческие волнения, ни первые проявления деятельности русской социал-демократии, ни охватившие весь юг всеобщие забастовки. И пред лицом гапоновских событий они, как утопающий, хватались за соломинку в виде икон и царских портретов, так как признание, что эти события — начало революции, было бы признанием несостоятельности всей концепции ППС. Но это, повторяю, относилось лишь к жившей в Галиции верхушке. Руководители на местах, соприкасавшиеся с рабочими массами, не могли не подчиниться давлению рабочих низов. Это подействовало и на «Тадеуша». В течение нескольких часов он преобразился. В тот же день в ответ на петербургские события им от имени комитета было составлено воззвание, призывавшее к забастовке и формулировавшее политические требования. В этом воззвании все еще продолжал фигурировать лозунг: «Да здравствует независимая Польша!», но впервые выставлялось требование автономии, свидетельствовавшее о признании, что польский пролетариат идет рука об руку с русским и что движение в России настолько сильно, что еще до отторжения Польши от России в пределах русского государства можно добиться автономии.

Возможно, что «Тадеушу» влетело от Пилсудского за это признание. Даже вероятно. Им и его сторонниками вопрос ставился иначе. Например, лидер социал-демократической партии Галиции и Силезии, депутат венского парламента (ныне «маститый» вождь ППС) — Игнатий Дашинский в своем открытом письме к ЦК ППС, уже состоявшему из «левых», написал, что «завоеванные и насильно присоединенные национальности окружают в настоящее время Россию пламенем бунта и революции, а внутри этого горящего круга борется русская революция с правительством и отечественной реакцией». Дашинский даже

после октября 1905 года центр революционной борьбы видел в окраинах, а не в самой России.

Но рабочая масса Польши классовым инстинктом почувствовала, что в далеком Петербурге начата борьба, имеющая к польскому пролетариату прямое отношение, и уже на следующий день выступила на улицу.

День выступления совпал с годовщиной казни по делу «Пролетариата», первой социалистической организации в 1886 году.— партии, которая еще тогда отстаивала необходимость совместной с русскими революционерами борьбы. Имена четырех казненных по делу «Пролетариата» — Куницкого, Бардовского, Оссовского и Петрусинского — красовались на многих знаменах. И не случайно. При расправе с «пролетариатцами» рядом с польскими рабочими повис на веревке русский революционер Петр Васильевич Бардовский. Этот скрепленный кровью союз русских и польских революционеров теперь, в 1905 году, в момент, когда выступила на борьбу пролетарская Россия, превратился в мощный и нерушимый союз польских и русских пролетариев.

Весь пролетариат Варшавы забастовал, как один человек. Жизнь в городе замерла. К рабочим присоединилась университетская молодежь и вместе с ними демонстрировала на улицах города.

Местные власти отдавали себе ясный отчет в том, что польский рабочий сумеет отстоять себя и на удар ответит ударом. И полиция не стала выжидать событий.

Обер-полицмейстер города Варшавы барон Нолькен подал варшавскому генерал-губернатору Черткову рапорт, в котором указал, что полиция не в состоянии справиться с выступившими на улицу рабочими, и предлагал передать власть в городе военному ведомству. Чертков сразу согласился и отдал приказ по войскам «действовать строго и решительно».

Во избежание всяких колебаний со стороны армии, в приказе было сказано, что «никто не будет привлечен к ответственности за результаты и последствия военных действий».

Храброе царское воинство поняло, чего от него требуют. Офицеры «растолковывали» солдатам, что они могут и должны стрелять, не дожидаясь команды. И солдаты стреляли, стреляли во-всю, не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков... Стреляли по собравшимся рабочим, стреляли вдоль улиц, стреляли в окна.

Рабочих это не запугало. Они не остались в долгу. Бои происходили повсюду, и ретивому воинству не удалось «очистить» улицы от пролетарских масс. Наоборот, массы запрудили улицы, а к вечеру во всем городе были разбиты фонари, и город утопал во мраке... Только время от времени то здесь, то там светлым красным столбом поднималось вверх пламя. То горели подожженные рабочими царские монополюшки.

Правительство, видя, что ему не справиться с рабочими, при-

бегло к новому средству. Из тюрьмы были выпущены на свободу воры и грабители в расчете на то, что они своими грабежами опорочат движение и оттолкнут часть рабочих. Но и этот маневр не дал результатов. Рабочие организовали охрану, и после первых попыток грабежа ставленники полиции вынуждены были прекратить это грязное дело. Не удалась властям и попытка вызвать еврейский погром. Вооруженные рабочие залпами разогнали хулиганов...

Тем временем на окраинах появились баррикады, и начались бои между вооруженными с ног до головы драгунами, казаками и пехотой и защищающимися бульжниками, ножами и лишь изредка револьверами рабочих.

На следующий день бои продолжались. С самого утра, с оркестром музыки во главе, вступили в город новые военные подкрепления. Город был объявлен «под усиленной охраной». Началась расправа. По официальным данным, в течение трех дней убито девяносто три человека, а в действительности, на основании собранных специальной частной комиссией данных, семьсот. Число раненых вдвое, втрое больше. То же происходило в Лодзи, в Домбровском каменноугольном районе, в Калише, Радоме, Ченстохове и во многих других городах Польши. Аресты не прекращались. Рассвирипевшие казаки и гусары ловили всех кто попадался под руку, и, тут же избивая, отвозили в ратушу. Был арестован на улице и «Тадеуш». На него набросились, но он крикнул:

— Не смей! Я член Центрального комитета.

Этот «высокий чин» так ошарашил солдат, что они, не тронув его пальцем, довольно почитательно отвели в ратушу.

Ему на этот раз повезло. Его судили в так называемые «дни свободы», и судебная палата вынесла ему оправдательный приговор. Не дожидаясь кассации этого приговора по протесту прокурора, он бежал в Краков. Больше он в Польшу на постоянную работу не приезжал и появлялся лишь на конференциях, но прежней роли уже играть не мог. От правых он отстал, а к левым не пристал. На раскол в ППС он реагировал очень болезненно. К этому присоединились какие-то тяжелые личные переживания, и он, если не ошибаюсь, в 1909 году покончил жизнь самоубийством в одной из гостиниц Кракова.

За исключением этого единственного случая, он был дисциплинированным исполнителем воли Кракова.

Развернувшиеся события усилили недовольство краковским руководством, и оно вырвалось наружу. Заговорили о созыве съезда, который бы резко изменил прежний курс. Требования о созыве съезда были пересланы в Краков, но «соизволения» на это со стороны «стариков» (как называли тогда краковских заправил) не последовало, и «молодые» решили созвать съезд.

вопреки и уставу и запрещению. Этот съезд был весьма немногочислен и, несмотря на то, что вопрос о том, кого можно допустить, бесконечно вентилировался инициаторами, весьма разношерстен.

Моя кандидатура вызвала в «молодых» сомнение.

— Будет с нас Мечислава (под такой кличкой фигурировал тогда Пилсудский). Хотите включить в руководство нового «божка», — горячилась «Анна» (Софья Познер), в то время еще со мной не встречавшаяся и знавшая меня лишь как бывшего «пролетариатца» — каторжанина.

Но другие «молодые» отстаивали мою кандидатуру.

Съезд происходил в самой Варшаве, еще не пришедшей в равновесие после январских дней. Председательствовал на нем недавно вернувшийся из ссылки в Колымск Ян Стружецкий, примыкавший к «молодым». К «молодым» в то время примыкал, как это ни странно кажется в настоящее время, «Густав» — Славек, — ныне знаменитый полковник Славек, правая рука Пилсудского до самой смерти последнего, председатель так называемого «беспартийного блока», председатель союза «стрелков», премьер кабинета министров «полковников». К «молодым» принадлежал также Галецкий — один из выдающихся писателей-беллетристов — «Струт», рассказы которого были переведены и на русский язык. Социалистом он был только по названию.

Галецкий в то время преклонялся перед Пилсудским и, хотя во всех вопросах голосовал на съезде заодно с «молодыми», когда дело дошло до выбора Центрального комитета, он предложил без голосования включить «Мечислава» в состав ЦК. Авторитет Пилсудского был в то время настолько велик, что ни одна рука не поднялась против этого предложения.

Склонялся к «молодым» и «Валерий» (Минкевич младший), впоследствии один из командиров «легионов», — круглый нуль, единственный выступавший на съезде по крестьянскому вопросу, введенный в состав ЦК для ведения крестьянской работы.

Я останавливаюсь подробно на составе съезда, так как тогда этот съезд производил на меня впечатление «вавилонского столпотворения». Что ни оратор, то другой оттенок. Выступает «Роман Черный» (Симеон Познер) и требует: «Говорите откровенно: готовимся к восстанию или нет». Ему сочувственно поддакивает «Анна» (его жена) и «Ержи» (Бруно). Но этот вопрос так и остается висеть в воздухе. Никто прямо на него не отвечает. «Петр» горячо говорит в защиту лозунга, «независимости Польши», которого никто не ставит под сомнение. Этот «Петр» (Шумов), единственный русский на съезде, выступал как фанатический защитник неприкосновенности программы ППС. Не менее фанатически выступал он и по вопросу о работе среди евреев, которую он, — к слову сказать, не еврей, — возглавлял и вел на еврейском языке... Своими шумливыми высту-

плениями он вполне оправдывал фамилию «Шумов». Ему никто не возражает, но никто и не поддерживает.

Берет слово Малиновский («Роман Бялый») и высмеивает «шествование к царю, выдаваемое за революционное выступление».

Неожиданно на съезде появляется посланец «Мечислава (тогдашняя кличка Пилсудского) — «Ришард» (фамилии не помню) и от имени ЦК объявляет съезд незаконным. Его затюкали. Он уходит. Прения продолжаются. Выступает «Саул» (фамилии не помню), за ним «Огородничек» (Круликовский) — нападки на тех, кто собирается «отменить» независимость, хотя на съезде никто об этой отмене не заикнулся.

Только на следующий день, когда из Кракова приехал «Вит» (Горвиц-Валецкий), прения сосредоточились на вопросе о русской революции и об отношении к ней польского пролетариата.

Я был в организации новичком. Не знал людей, не знал внутри партийных течений и только впоследствии понял, что царивший на съезде хаос не был тем, чем он мне тогда казался. «Старики» уже успели во многих вселить убеждение, что выступавшие против восстания «ликвидируют» вопрос о независимости Польши. В представлении других «независимость Польши», введенная в программу, исключала возможность совместной борьбы с русским рабочим классом, и, не решаясь прямо выступить против этого пункта программы, они обходили этот вопрос. Но участники съезда сознавали, что это только маневр, и в своих выступлениях возражали на непроизнесенные на съезде речи.

Съезд, при всей расплывчатости прений, был первой ласточкой борьбы с националистическими элементами в ППС, но принятая на нем резолюция вполне эту расплывчатость отражала: «Оставаясь на почве программы нашей партии, VII съезд ППС постановляет вести решительнейшую революционную борьбу в целях достижения правового государственного обособления нашей страны, причем должны быть приняты во внимание потребности всех национальностей, живущих на территории нашего края. Это обособление должно быть определено созванным в Варшаве учредительным собранием, избранным на основании всеобщего, равного, тайного и прямого голосования, как высшим законодательным учреждением».

Это весьма неясная формулировка вопроса дала возможность «старикам» предпринять целый ряд мер для фактической отмены принятой на съезде резолюции.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### РАЗНОГЛАСИЯ В ППС И МЕЖДУ ППС И ПСД

На редкость неудачный был избранный на VII съезде Центральный рабочий комитет ППС. Возглавлял его прошедший без баллотировки, по единогласному (и гласному) решению всего съезда, «Мечислав», он же «Зюк», он же Иосиф Пилсудский. Националист до мозга костей, Пилсудский всегда отличался тем, что, бесшарашно преодолевая все затруднения, проводил свою линию, партией правил также единодержавно, как впоследствии правил государством. Включение его в ЦК предрешало дальнейшую судьбу партии, так как среди остальных членов комитета не было ни одного человека, который мог бы ему противостоять. Во время съезда мне казалось, что таким лицом будет Бруно «Ержи»), но он оказался совершенно беспринципным человеком, без преданности делу и без твердых убеждений, необходимых для цекриста. Оппозиция «старикам» была для него лишь средством собственного выдвижения. Долгое время в нем не разбирались, а когда разобрались и не избрали его в ЦК, он предложил свои услуги в качестве руководителя работы среди военных. Когда же ему была доверена эта работа, которую приходилось вести в Польше при активном участии русских революционеров, среди которых оказалось много эсеров, он стакнулся с последними и рассматривал военную организацию как партию в партии, не обязанную проводить у себя партийные решения. Никакие угрозы и увещевания не могли на него подействовать. Он занял такую же позицию в военной организации, какую занял Пилсудский, когда перестал быть членом ЦК, в боевой. И на том съезде, на котором Пилсудский был исключен из партии, «Ержи» был как партиец «приостановлен» в действии на год. Этим и закончилась его партийная карьера. Убедившись в том, что занять в партии прежнее положение ему не удастся, он распрощался с социализмом и с партией и уехал в Южную Америку, где и погиб в какой-то афере.

Третьим членом ЦК был «Густав» (Славек), во время съезда примыкавший к «левым» и после первого свидания с Пилсудским всецело подчинившийся ему и на всю жизнь сделавшийся его вернейшим сторонником. «Густав» в ту пору принадлежал к довольно многочисленной категории людей с туманно революционными настроениями, но без определенных взглядов, действовавших лишь по указанию тех, авторитет которых ими был признан. Пилсудский раскусил его очень быстро и не менее быстро превратил этого мнимого оппозиционера в безукоризненного исполнителя своей воли. Романтически настроенный, храбрый, склонный к эффектным авантюрам, Славек, работая в руководимой Пилсудским боевой организации, образцово организовывал ограбления касс в маленьких городах и уводил участников этих ограблений в безопасные места, распорядясь, как на поле брани. Сам он должен был совершить покушение на варшавского генерал-губернатора Скалона, но случайно выпрошенная им бомба преждевременно взорвалась и искалечила его. Он был арестован, но сумел разыграть комедию и как жертва чьего-то покушения на него был освобожден. Дальнейшая его судьба известна. Вместе с Пилсудским он был исключен из партии, вошел в так называемую «революционную фракцию ППС», под руководством Пилсудского организовывал в Галиции кружки «стрельцов» (стрелков), переформированных во время империалистической войны в «легионы», подчиненные австрийскому командованию, а ныне, как я уже упоминал, является председателем «беспартийного блока», фашистом. Так же, как Пилсудский, он стал «социалистом» для того, чтобы использовать рабочие массы для национального восстания.

Четвертым был «Валерий» (о котором я уже упоминал выше) и пятым «Вицек» (Руткевич), преданный делу, но по своему развитию годившийся в районные агитаторы, не больше.

Неудивительно, что при таком составе ЦК, несмотря на принятую на съезде резолюцию и несмотря на настроение рабочей части организации, руководство продолжало, по возможности, гнуть прежнюю линию.

Я, по предложению ЦК, принял на себя обязанности руководителя пепезовской печати. Это руководство было весьма относительное. Не говоря уже о том, что ему не подлежала вся зарубежная печать, но и в самой Польше и даже в Варшаве многое печаталось помимо этого отдела. Главной моей функцией было редактирование газеты «Kuryer Codzienny» («Ежедневный курьер») — легального, формально беспартийного органа. Состав редакции этого органа был столь же разношерстен, как и состав ЦК. Кроме меня и Крживицкого, в состав редакции входил Гродецкий, учитель, склонявшийся к крайним правым, юрист Домбровский, разделявший взгляды «стариков», и Станислав Познер, типичный либерал с радикальным оттенком, самолюбленный эрудит-книговед, знавший, что в какой книге ска-

Зано, но не сумевший на всю жизнь выработать в себе цельного мирозерцания, «стилист», готовый ради блестящей формы в любой момент пожертвовать содержанием своих статей. Как я ни бился, мне не удалось придать определенного облика этой газете, хотя я на свою ответственность печатал в ней статьи «врагов ППС» — социал-демократов, в частности тов. Ротштадта — «Красного», с которым тогда познакомился и уже тогда говорил о необходимости откола националистов и объединения «молодых» с социал-демократией. Это была только частная беседа, но необходимость и даже неизбежность раскола в ППС была для меня уже тогда очевидной, а в дальнейшем для меня стала столь же очевидной необходимость слияния воедино двух наших организаций.

Пилсудский, о котором я в то время только слышал, но с которым тогда еще не познакомился, знал, повидимому, что я не разделяю взглядов «стариков», и как-то совершенно неожиданно явился на заседание редакции, где решался вопрос о воззвании к солдатам и где присутствовало еще два члена ЦК. Рассматривались два проекта: мой и «Романа Черного». Были сторонники и одного и другого проекта. В самый разгар обсуждения в комнату вошел высокий, стройный, элегантно одетый брюнет с сросшимися над переносицей бровями... Поклонившись издали кивком головы присутствовавшим, он сел в стороне и стал прислушиваться к спору. По тому, как все настояжились, я понял, что он играет серьезную роль в партии, но, не зная, что Пилсудский приехал из Кракова, и не подозревал, что это может быть он.

— По-моему, оба воззвания хороши и оба надо напечатать, — прервал спор вошедший.

Он подошел ко мне и, наклонившись, шепнул:

— Оставайтесь здесь после заседания, нам надо поговорить... Я — Зюк, — представился он мне, когда мы остались вдвоем.

Последовали расспросы, как я себя чувствую после всего пережитого, дружеские упреки, что, вернувшись, я сразу взялся за работу.

— Надо было поехать на полгода за границу, отдохнуть. Тогда вам легче было бы также ориентироваться в отношениях и партийных и не партийных...

Это было переходом к вопросу о внутривнутрипартийных отношениях. С доброй, снисходительной, я бы сказал, «отцовской» улыбкой «Зюк» говорил о «молодых».

— Тянутся к руководству. Это вполне естественно. И недовольны, что им ставят преграды... А пока еще рано, рано им... — как бы в глубокой задумчивости прервал он на полуслове.

Все, что происходило в партии, для него сводилось к этому или же он сделал вид, что сводится к этому.

Я заговорил о русской революции...

Он так же снисходительно прервал меня: «Увлекаетесь» и, не

Продолжая разговора на эту тему, вновь повторил, что мне следовало бы отдохнуть за границей.

— Поедете в Закопане... Там вам будет хорошо...

Мне это казалось диким. Я стосковался по работе. Только-только начал оживать. Я наотрез отказался.

— Ну, об этом будет еще время поговорить, — закончил он беседу.

Уже тогда мне казалось, что это предложение было сделано не спроста, что он хочет выпроводить меня из Польши. После нескольких встреч я в этом не сомневался.

Работа в «Курьере Цодзенном» мало меня устраивала. Не для журналистской работы в легальном органе я ехал на родину, а участие в редактировании подпольного органа партии «Robotnik» («Работник») занимало очень мало времени, да и в самой редакции не было единства взглядов. ЦК тянул в одну сторону, Галецкий — в другую, я — в третью.

Это отсутствие единства взглядов в партии доходило до чудовищных размеров. Не говоря уже о «двоеданцах» — членах ППС и одновременно прогрессивной демократии, в партии были социал-демократы, которым следовало входить в состав ПСД, были эсеры, были эсеры-максималисты, к которым, между прочим, причислял себя Мечислав Маньковский, мой сопроцессник по делу «Пролетариата», были и радикалы и даже либералы. На работе это сказывалось так, что порой можно было притти в отчаяние.

Наряду с журналистикой я как один из немногих, вполне владевших русским языком, вел работу среди военных — солдат и офицеров. В Польше эта работа представляла огромные трудности. Царское правительство придерживалось определенной системы не оставлять забранных в солдаты в местности, где они жили. Поляки отправлялись на восток, с востока в Польшу гнали на службу русских, татар и т. п. К солдатам-татарам не удалось пробраться, но с русскими солдатами, даже с «волынцами» удалось установить отношения и доставлять в казармы литературу. Изобретательность рабочих в установлении связи с солдатами и в доставке им специально издаваемого нами «Солдатского листка» была поразительна. По их предложению, близ казармы была устроена лавка и забираемые солдатами продукты заворачивались в «листок». А так как в Польше солдаты были лишены и тех легальных русских газеток, которые выходили в России, то даже оберточная бумага со сведениями о России зачитывалась ими до дыр. Хотя и с трудом, но мне удалось собрать сведения, откуда родом входившие в состав волинского полка солдаты, и в каждом номере «листка» сообщались выуженные из легальных газет сведения о расправах с крестьянами в местах, откуда они были родом. Распропагандированным солдатам прямо передавались «листки» для распространения в казарме. И «листок» стал популярен среди солдат. В этом я имел

случай лично убедиться, так как эта популярность спасла меня от ареста...

Это было уже время, когда на улицах полиция и солдаты останавливали и обыскивали прохожих, в особенности молодых. Я был уже не молод и меня очень редко останавливали. Но однажды поздно вечером, как назло, когда мне только что вручили три экземпляра вновь вышедшего «Солдатского листка», меня остановили. При обыске солдат вытащил у меня из бокового кармана эти злополучные листки. Я уже считал себя провалившимся, но солдат взглянул на листок, оглянулся, не смотрит ли кто, и со словами: «А, это нам!» — запихнул газеты за голенище.

При такой популярности листка каждое слово в нем должно было быть взвешено... Должно было быть... Но... Я уехал по делам в Питер. Возвращаюсь, беру на просмотр свежее выпущенный номер листка и наталкиваюсь на заголовок: «Жалует царь, да не милует псарь».

Я вскипел.

Какой дурак это написал...

Но дурак — эсерствующий офицеришка — упорно доказывал, что так именно и надо, что перед рабочими уже можно прямо нападать на царя, но с солдатами — еще рано.

Этого дурака я прогнал ко всем чертям, но всех дураков — а их было не мало — прогнать было нельзя.

А когда меня выбрали в ЦК и руководство перешло к Бруно, «дураки» окончательно распоясались, военную организацию пришлось распустить и начинать работу чуть ли не сначала.

Разномыслие, царившее в этот период в ППС, разлагало работу. Брожение среди рабочих усиливалось, а в руководстве снизу доверху царил хаос. Резолюции съезда не только оставались на бумаге и благодаря своей расплывчатости в очень малой степени могли служить руководством к действию, но, как я уже упоминал, заграничный орган партии — журнал «Przedswit» напал на партийную крестьянскую газету «Gazeta Ludowa» за статью, отстаивавшую принятую на съезде резолюцию.

С этим надо было во что бы то ни стало покончить, и «молодые», к которым, несмотря на свой возраст, принадлежал и я, начали устраивать фракционные собрания для обсуждения вопроса, как заставить «стариков» подчиниться решениям партии.

В это время приехали в Варшаву два видных пепеэсовца, незадолго до этого освобожденные из тюрьмы в Вильне: Феликс Перль и Феликс Закс. Оба вскоре после приезда зашли в редакцию познакомиться со мной. Перль, автор истории польского революционного движения, изданной под псевдонимом «Рес», с резко пепеэсовским освещением всего движения, так же как и Закс («Ян»), очевидно, пришли ко мне не просто. Перль с первых же слов как революционер перестал представлять для меня

интерес. Это был типичнейший ассимилированный еврей, — «глыба моисеевого вероисповедания». Таких я встречал много еще в дни юности. Образованный (он был доктором философии с одного из заграничных университетов), знаток польской художественной литературы, в особенности «великой троицы» Мицкевича, Словацкого и Красинского, — талантливый литератор, журналист, знакомый и с марксистской литературой, Перль — свои знания и способности использовывал для обоснования необходимости вооруженной борьбы за независимость Польши. Женат был на русской еврейке и так повлиял на нее, что она «переплюнула» в польском патриотизме и готова была, как кошка, вцепиться в глаза всякому, кто осмелился бы сказать, что данный момент лозунг национального восстания не осуществим. Он, наоборот, по крайней мере в разговорах со мной, козырял терпимостью «ко всем оттенкам в социализме», чего, впрочем, в своей истории движения не проявил.

Долгое время он держал руки по швам перед Пилсудским и Дашинским и, надо ему воздать должное, часто умнее и, если можно так определить, «ближе к социализму» обосновывал свои мысли, чем они. На IX съезде партии, когда проведен был раскол в ППС, его почему-то не было, но после он примкнул к группе Пилсудского, назвавшей себя «революционной фракцией ППС». До раскола Перль вел в партии борьбу против «молдых»; после раскола, оставшись в группе Пилсудского, даже не выдержал царившего в ней духа солдатчины и уже ничем не прикрытого жертвования интересами пролетариата для целей национального восстания и попытался создать в «революционной фракции ППС», как она себя называла, нечто вроде оппозиции с более социалистическим оттенком. Конечно, эта и без того слишком революционная «оппозиционность» очень скоро и с всем вылиняла. Когда вспыхнула война и Пилсудский двинул своих «стрельцов» в бой против «москалей», патристическое сердце Перля не выдержало. Он склонил голову перед Пилсудским, ликвидировал свою группу и вновь стал ярким пепеэссцем. Будучи образованнее, умнее и тактичнее других, он после восстановления независимости Польши играл в ППС такую же роль, какую играют австро-марксисты во II Интернационале «Левыми», марксистски звучащими фразами и ни к чему не обязывающими выступлениями в польском сейме он создавал в рядах масс впечатление, будто ППС борется за их интересы. Это же он проделывал, впрочем, весьма неудачно на столбце центрального органа ППС, «Работника», редактором которого был до самой смерти.

Полную противоположность Перлю представлял Закс. Хладнокровный, спокойный, с опромной выдержкой, Закс был, в то время как я не имел в нем никакого понимания, подлинным марксистом. Разница между ним и Перлем сразу сказалась. Перль не расспрашивал меня об отношениях внутри партии, не пытался даже озн

сомниться с моими взглядами. Его больше интересовали судьбы других участников «Пролетариата», мои литературные работы, условия редактирования «Курьера Подземного». «Ян» (Закс), напротив, интересовался почти исключительно тем, что происходит в партии, насколько сильна оппозиция, оформилась ли она уже, кто примыкает к «левым», как относятся рабочие к происходящим в партии разногласиям. Сам он говорил очень мало, больше расспрашивал, но самый характер задаваемых им вопросов не оставлял сомнения, что он на стороне «левых». И, действительно, уже несколько дней спустя он присутствовал на одном из фракционных собраний, на котором обсуждался вопрос, какие меры принять по отношению к правым, игнорирующим постановления съезда. На этом собрании было решено провести агитацию за созыв «партийного совета» (Rady partyjnej), который и состоялся в июне 1905 года. На этом совете «Ян» был избран в Центральный комитет, тогда уже «левый», и с тех пор бесценно оставался членом ЦК. Только аресты приостанавливали на время его деятельность.

В 1907-1908 году он эмигрировал за границу, поселился в Вене и там занимался врачебной практикой, продолжая участвовать в руководстве. В настоящее время он проживает в Варшаве и от времени до времени подвергается по старой памяти обыскам и арестам, хотя отстал от движения.

Не менее, а, пожалуй, еще более серьезную роль в очистке партии от националистических элементов сыграл в ППС «Здзислав» (Белецкий). Литературные свои произведения он подписывал: «М. Ковенский». Это был человек с огромной эрудицией, хорошо знавший марксистскую литературу. В вопросе, волновавшем партийные ряды, «Здзислав» занимал вполне определенную позицию на собраниях, «советах» и съездах и наряду с «Вигом» («Валецким» — М. Горвицем) выступал как генеральный оратор «левой».

«Ковенский» в своих выступлениях решительно подчеркивал, что лозунг «независимой польской демократической республики» был выдвинут не во имя абстрактного права польского народа на независимость, а во имя классовых интересов польского пролетариата. Исходя из этого, он ставил вопрос, отвечает ли этот лозунг этим интересам при изменившихся за последнее время условиях, и отвечал, что в данный момент ближайшей политической задачей, отвечающей классовым интересам пролетариата Польши, является борьба за демократизацию России, — борьба, которую рабочий класс Польши должен вести плечо к плечу с рабочим классом всей России.

Но, как типичный интеллигент, в моменты боя, когда надо было сосредоточить весь удар на этом основном моменте, он в своих выступлениях начинал философствовать на тему, каковы были бы идеальные условия для максимального развития рабочего движения в Польше, и приходил к выводу, что такие условия

были бы достигнуты только при политической независимости и объединении русской, австрийской и германской Польши. Результатом этих философствований было то, что он, а должен со знаться, и я, считая происходящую революцию единой и для польского и для русского пролетариата, считая ее делом всего рабочего класса тогдашней Российской империи, считая польский отряд только одним из отрядов, участвующих в борьбе,— все же своей постановкой вопроса невольно создавал почву для будущих «фрактов», бросавших нам упрек: «Сами признаете это а не хотите за это бороться». В ответ нам не раз приходилось софистически перетолковывать энгельсовское «царство необходимости». Но, повторяю, это были интеллигентские философствования, странно уживавшиеся с полным сознанием, что для польского пролетариата происходящая во всем государстве революция — его революция. В этом и было основное различие о правых. Для них революция 1905 года была чужой, русской революцией, имевшей значение лишь постольку, поскольку она ослабляла Россию и благоприятствовала успеху их повстанческих планов.

В течение многих лет после революции 1905 года мне част приходилось слышать упрек по адресу «левой» ППС, что у не нехватало мужества мысли сделать соответственные выводы и своих собственных предпосылок, ликвидировать себя как парти и влиться в ПСД — партию, которая с самого начала своего существования вела борьбу с социал-патриотизмом и своей критикой привела ППС к тому, что она осознала свое политическое банкротство.

Я уже и в то время не отрицал определенного влияния ПС на очищение ППС от националистического налета, признавая огромные заслуги в этом Розы Люксембург, считал, что слиянии «левой» ППС и ПСД безусловно необходимо, говорил об этом Ротштадтом, говорил об этом с Мархлевским, еще до войны ве уже более конкретные предварительные переговоры с Варским на двух съездах ППС вносил резолюцию о слиянии. На Штутгартском конгрессе присутствующие пезсдеки, в кулуарах, замечая, что я о чем-то беседую с Мархлевским, шутили: «Ог Объединяетесь!»

Несмотря на все это, я и теперь думаю, что этот упрек и вполне обоснован, что вина лежит не только на нас. Дело в том что мы, левые пепезовцы, неверно ставили и неверно решал национальный вопрос, но мы его пытались ставить, мы обуждали его, мы искали пути к его решению, а ПСД так же, как в оное время «Пролетариат», совсем скинула этот вопрос с счетов.

Вот почему мы не могли раствориться в ПСД, а хотели объединиться на принципиальной почве.

С тех пор прошло тридцать лет. Пережили мы все очень много. Ленинизм научил нас многому. И теперь, проверяя при

шное, я лично считаю, что мы позинны не в том, что не растворились в ПСД, а, выражаясь современным языком, в «гнилом либерализме», в том, что, прекрасно отдавая себе отчет, что представляют из себя будущие «фраки», оставались с ними под одной партийной крышей и этим покрывали их перед рабочими массами. Это вызывалось, — назовем вещь по имени, — определенным неверием в рабочий класс. Мы опасались, что рабочие-пепезовцы не созрели еще для понимания причин разрыва с правыми. Между тем наши собственные позиции в значительной степени были обусловлены давлением на нас рабочих масс, в процессе борьбы освобождающихся от националистических иллюзий. Это наша действительная и большая вина. И мы нянчились с правыми, нянчились долго, слишком долго, — все время революции. Нянчились, хотя и не переставали бороться против них.

В этой борьбе мы были в лучшем, чем правые, положении. С рабочими в организации мы были больше связаны, чем они. И этого положения мы не сумели использовать.

Близился день 1 Мая, который праздновался в Польше по новому стилю. Мы развернули очень энергичную работу. Ежедневно каждому из нас приходилось выступать на двух-трех фабриках, надрывая горло, чтобы перекричать шум машин. Я совершенно охрип. Были дни, когда при откашливании появлялась кровь. Но настроение рабочих было такое, что это казалось мелочью, о которой не стоило думать. Не я агитировал... меня агитировала масса.

Сомнений в грандиозности этого первомайского выступления не было никаких... Но то, что было, превзошло все самые оптимистические ожидания. Варшава замерла. Магазины закрыты. Извозчики не выехали. Фабрики и заводы закрыты. Буржуазия не смела носа высунуть на улицу и заперлась в своих квартирах. По обеим сторонам улиц вдоль тротуаров непрерывная движущаяся цепь солдат, настороженно оглядывавшихся на прохожих — исключительно рабочих и работниц, одетых по-праздничному и заполнивших улицы центра. От времени до времени торжественную тишину прерывал топот мчавшихся куда-то по середине улиц казаков с наклоненными тиками в руках...

Особенно густо шныряли казаки по улице «Краковское предместье», где перед памятником Мицкевича ожидалась демонстрация. Но, несмотря на это, рабочие направлялись именно туда и там произошло первое столкновение.

Я, в числе других, должен был дежурить на специально предназначенной для этого квартире, куда должны были поступать сведения отовсюду. По дороге туда я встретил среди рабочих, повидимому спокойно гулявших, многих товарищей, которые, не здороваясь, при помощи многозначительного подмигивания, со-

общали, что все в порядке, план выполняется. Около полудня в нашем «штабе» были получены сведения, что эсдеки устраивают свою демонстрацию, если память меня не обманывает, на улице Твардой. Я немедленно высказался за присоединение к этой демонстрации, но и здесь, в нашем, как мы предполагали, «левом» штабе, оказались оппоненты:

— Они, небось, к нашей демонстрации не присоединятся...

— Тем хуже для них,— возразил я в запальчивости, хотя уже смутно сознавал, что оно, пожалуй, не для них, а для нас хуже, так как их демонстрация, видимо, окажется более определенной и по своему составу и по лозунгам.

Так этот вопрос и не был решен, и к демонстрации эсдеков присоединилось из пепезовцев всего несколько человек, вскоре появившихся вновь в «штабе» и сообщивших о кровавом столкновении с казаками.

После этого до конца дня во всех концах города происходили столкновения. Обер-полицмейстер, барон Нолькен, за несколько дней до 1 Мая предупреждавший население, что малейшие «беспорядки» будут подавлены военной силой, запершись в ратуше и сам не показываясь, оттуда посылал приказы типа треповского: «Патронов не жалеть!» На улицах Варшавы свистели пули, избивались нагайками даже случайные прохожие. Всякий, показывавшийся на улице, считался врагом. Эти расправы, запугивающие обывателя, не только не действовали на рабочих, но, наоборот, вызвали в них озлобление и упорство. Они оставались на улице и, разогнанные в одном месте, собирались в другом. Полиция, солдаты, казаки и жандармы выбивались из сил, тоняясь за буквально неуловимыми демонстрантами. То здесь, то там вдруг раздается «Варшавянка», казаки мчатся туда, но звуки песни замолкают, а издали, за квартал от того места, где раздавалась песня, мелькает красное знамя. Казаки бросаются туда, но знамя уже исчезло, а звуки песни вновь раздаются неизвестно откуда...

Я не больше двух часов провел на улице и все же обстановка меня воодушевила. По возвращении в штаб пришлось решать очень трудный вопрос. На многих заводах рабочие настаивали на продолжении забастовки и в следующие дни. Правые горячо поддерживали это требование. В другое время и мы, «левые», ничего бы против того не имели, но неожиданная поддержка правых заставила нас призадуматься. Ларчик открывался просто: 3 мая, день годовщины выработанной накануне окончательного раздела Польши конституции, был выдвинут польской буржуазией в качестве национального праздника, в противовес рабочему празднику 1 Мая. Правые старались затянуть стачку и использовать ее для участия вместе «со всей нацией» в националистической манифестации. Именно этого нельзя было допустить. Было решено продлить забастовку еще только на один день. Это было выполнено. 3 мая рабочие бастовали только

на некоторых заводах, город ожил и уже не имел того вида, какой имел 1 Мая.

Готовясь к 1 Мая, мы, предвидя столкновения, организовали боевую дружину с определенным назначением: оберегать демонстрацию и в случае нападения казаков остановить бомбами, чтобы дать возможность демонстрантам разойтись до стрельбы.

Этой функции в течение дня боевики не выполнили, и только вечером в «Уяздовских аллеях» при одном из столкновений ими была брошена бомба, от которой погибло несколько казаков.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### СМЕЩЕНИЕ ПРАВОГО РУКОВОДСТВА

Взаимоотношения между «молодыми» и «старыми» с каждым днем становились все более и более невыносимыми. Узел этих взаимоотношений затягивался, и мы, «левые», сознавали, что его распутать нельзя, что придется его разрубить, решиться на бой за переход руководства к «левым». Участились фракционные совещания «левых». В них принимали постоянное активное участие: «Здзислав — Ковенский», «Ян» (Закс), «Ержи» (Бруно), «Анна» (Юфья Познер), некоторое время «Роман Черный» — муж «Анны» Симеон Познер. Последний — очень недолго, так как, если не ошибаюсь, накануне 1 Мая он был арестован, причем его сильно избили. Кроме них, «Вицек» (Рудницкий) и я. На этих совещаниях было постановлено во что бы то ни стало добиться созыва «Раду» — «Совета», покончить с правыми и составить ЦК исключительно из «левых». Тогда же были намечены в состав нового ЦК: «Ян», «Ержи», «Вицек», я и проживавший в то время в Кракове, но находившийся в постоянной связи с нами и принимавший участие в «левом заговоре» — «Вит» (Горвиц). Редактором «Работника» намечался «Ковенский».

«Совет» сыграл огромную роль. Впервые за все время существования ППС руководство перешло в руки «левых», причем авторитет «левых» настолько вырос, что к концу заседаний «Совета» правые поняли, что их песенка спета, и, прежде чем был внесен подготовленный нами «вотум недоверия», они в ответ на заявление «Ержи» о необходимости вывести их из ЦК сами сделали заявление, что просят освободить их от участия в нем. Эта «просьба» была немедленно уважена и предложенный «левыми» список кандидатов был принят значительным большинством голосов.

Агитация за созыв «Совета» и самый «Совет» дали возможность «левым» ориентироваться в людях, исправивших руководящую роль в районных организациях не только Варшавы, но и

провинции. Самыми выдающимися из них, кроме принимавших участие в фракционных заседаниях «левых», были: «Вера» — Кошутская, «Фелек» — Иосиф Цишевский, «Андрей» — Лапинский, «Проспер» — фамилии не помню, Ционгинский. «Вера», когда я ее в первый раз встретил, уже не была новичком в революционном движении. Она уже успела побывать в ссылке и убеждать (вместе с Цишевским). Она в то время держалась как-то в тени, несмотря на то, что по своей начитанности и развитию стояла выше многих, занимавших ответственные посты. В беседе с ней я обратил внимание на необыкновенно честный ее подход к вопросам. На «Совете», помню, кто-то из правых, считая, что этим аргументом он сразу разобьет противника, сказал:

— Вы совершенно так же рассуждаете, как эсдеки.

— А разве это так уж плохо, если они правы? — возразила «Вера», хотя она на «Совете» присутствовала только как техническо-хозяйственная сила.

Мне в то время приходилось часто беседовать с ней, и она производила на меня впечатление революционерки, честно искавшей путей борьбы, и именно потому, что она еще только искала эти пути, она не брала на себя ответственных ролей. Ее преданность делу рабочего класса буквально до самозабвения, щепетильное отношение к тем грошам, которыми она пользовалась в партии для того, чтобы просуществовать, настолько бросались в глаза, что я, знакомясь с работниками, обратил на нее самое серьезное внимание, и когда в партии произошел крупнейший провал (на Мокотовской ул.) и были арестованы члены ЦК и члены Варшавского комитета, из которых уцелело только двое: «Ян» и я, — я не колеблясь вызвал в Варшаву находившуюся в отпуску «Веру» и поручил ей до пополнения состава ЦК выполнять ответственные обязанности. Она не отказывалась и не ломаясь, сразу приступила к делу и с тех пор уже, и до эмиграции и в эмиграции, была одним из ответственных руководителей «левицы» ППС. Когда вспыхнула империалистическая война, она не колеблясь выступила против войны, принимала участие в обсуждении и издании воззвания, подписанного ПСД и «левицей» ППС, и, как только оказалась возможность, возобновила партийную работу в местностях, оккупированных Германией, и вела ее совместно с ПСД. Находясь в Швейцарии, а затем в России, я в течение нескольких лет не имел возможности встретиться с ней и увидел ее уже только в Москве, куда она приехала на заседание пленума Коминтерна в качестве делегатки. Она продолжала оставаться одним из лидеров партии.

В этих своих «Воспоминаниях» я не затрагиваю вопроса о ее теперешней неправильной позиции. К этому я вернусь впоследствии, в последнем томе, когда мне придется говорить о себе и о моих колебаниях до окончательного перехода в стан Ленина. Здесь укажу только, что прошлое тысячами нитей связано с настоящим, что вырвать с **корнем** прошлое не так легко, как

это кажется тем, у которых этого прошлого не было. Недаром Ленин во время первой чистки так настойчиво подчеркивал необходимость особенно тщательно проверять выходцев из других партий. Можно искренно считать себя большевиком и еще не быть им, не сознавая этого. И для меня не подлежит сомнению, что «Вера», считая себя подлинной большевичкой, не кривила душой, была искренней.

Меньшую, чем «Вера», во всяком случае менее заметную роль в партии играл «Фелек» — инженер Иосиф Цишевский. Спокойный, больше слушающий, чем говорящий, он, ведя крестьянскую работу, сыграл немалую роль в организации забастовки батраков. На съездах он был незаметен, но на работе он выделялся той тщательностью, с какой он ее проводил, и тем спокойствием, с которым он преодолевал все трудности. Во время германской оккупации Польши он был гласным городского самоуправления Варшавы. О том, как он выполнял эти обязанности, свидетельствует следующее его выступление 15 февраля 1918 года на заседании варшавского городского совета по поводу Брестского мира.

«Бесстыдная торговля судьбами населения Царства Польского, — торговля, ставшая базой позорного мира между империализмом центральных государств и украинскими изменниками русской революции, является новым преступлением империалистической войны, единственной целью которой был грабеж территорий и народов. Виновниками этого насилия являются не только угнетающие Польшу правительства, но и весь лагерь польской буржуазии до революционной фракции ППС включительно, который то поддерживал Россию, то мошенническую Австрию, то прабительскую Пруссию и в них искал поддержки против рабочего класса Польши и защитной зоны от пролетарской русской революции, — лагерь, который ожидал от угнетавших Польшу правительств не только национального освобождения, но и удовлетворения польских империалистических требований.

То циничное вознаграждение, которое за свою службу получили наши имущие классы с кукольным регентским советом во главе в виде запродажи населения Холмщины и Полесья, не может изменить существа их политики и заставить сойти с лакейского пути примиренчества. Поэтому-то все их протесты будут только пустой манифестацией.

Единственная сила, которая сможет уничтожить захватнические планы империализма — это международный революционный пролетариат во главе с русским пролетариатом, как его авангардом. Наш лозунг остается прежним. Прекращение войны международной революцией — это единственный путь освобождения угнетенных народов от цепей рабства».

За эту речь Цишевский был арестован оккупационными гер-

манскими властями и отправлен в концентрационный лагерь в Модлин, откуда бежал и по поручению партии, преодолевая огромные трудности, перебрался через границу сначала на Украину, а затем, при моем содействии, вновь через фронт — в Москву, для установления связи с большевистской партией.

Третьим, выдвинувшимся в то время, был Лапинский — Левинзон, тогда еще молодой. Русские товарищи знают Лапинского по напечатанным в советской прессе статьям, поэтому мне нет надобности о нем говорить. Обладая огромными знаниями, он, несмотря на величайшую преданность делу рабочего класса, даже будучи членом ЦК, не был и, по-моему, не мог быть вождем. По природе аналитик, он свой анализ доводил до таких пределов, что уже не мог сделать никаких конкретных выводов. Если можно так выразиться, «интеллигент» в нем перевешивал революционера. Несмотря на это, он и до раскола и после играл большую роль. Его речь на похоронах погибших на баррикадах в Лодзи захватила массы. Он на X съезде был генеральным защитником программы «левицы», в составлении которой принимал активнейшее участие. Когда вспыхнула война, он участвовал в подготовке Циммервальдской конференции и в обсуждении вопроса о допустимости и возможности проезда в Россию через Германию. О его деятельности до и после Октябрьской революции мне придется говорить в последнем томе.

Когда мы оба были в эмиграции, он — в Кракове, я — во Львове, в 1910—1911 годах, точно времени и повода переписки не помню, мне казалось, что именно он толкает партию на самый близкий контакт с меньшевиками и бундовцами, и я, несмотря на то, что сам в «левице» уже принимал весьма малое участие, так как с головой окунулся в работу социал-демократии Галиции, написал ему письмо с протестом против этого. Его ответ, в котором он проводил между «левицей» и меньшевиками, меня в то время удовлетворил...

Четвертый, Ционглинский («Альбин»), старый революционер, побывавший уже в ссылке в Колымске, принадлежал к типу интеллигентов, весьма легко поддающихся упадочному настроению. Он долгое время заведывал техникой. После раскола он был переброшен на работу среди рабочих, и это его совершенно омолодило. Он словно воспрянул духом. Но не надолго. Очувтившись после освобождения из тюрьмы в Питере, он одним из первых заподозрил в Малиновском провокатора. Хотя он не имел доказательств настолько веских, чтобы они могли послужить достаточным материалом для партийной комиссии, Ционглинский был убежден в этом, и то обстоятельство, что обвинение было отклонено, болезненно отразилось на нем. Он вновь впал в упадочное настроение. Во время Февральской и Октябрьской революции он шел за Лапинским, склоняясь то к «мартовцам», то к большевикам.

«Проспер» совершенно не был похож ни на кого, до сих пор

мною перечисленных. Чуткий, сердечно относящийся к товарищам, он принадлежал к тому типу интеллигентов, которых волны революции выносят на поверхность, но которые сходят со сцены, когда эти волны спадают. Он был очень активен до своего ареста — в ноябре 1906 года и первые годы эмиграции, но уже во время войны о нем ничего не было слышно.

Таких было много, очень много. Многие тогдашние революционеры оказались, как Стамировский, после Октября по ту сторону баррикад.

Но это все было после. В то время волны революции поднимались вверх и... все были революционерами, да еще какими.

То было время, когда что ни день получались известия о поражениях русской армии в войне с Японией. В нормальное время мало заметное гнилостное разложение самодержавия становилось для всех очевидным... Это подлизало масло в огонь, и пламя революции с каждым днем усиливалось. Казалось даже — камни заговорили. Все те, кто два-три года спустя оказались опорой «царя и отечества», перешли в оппозицию. Либеральная русская пресса жевала вопрос: «реформы или реформа», — подразумевая под «реформой» — «конституцию».

Припертое к стенке правительство, вынужденное пойти на уступки, попыталось подачкой имущим классам привлечь их на свою сторону и, опираясь на них, расправиться с революцией. Бюрократия проявила совершенно несвойственную ей активность. В канцеляриях заскрипели перья и наспех был изготовлен проект «булыгинской законосовещательной Думы». Правительство думало дешево откупиться, но просчиталось. Эта подачка вызвала возмущение не только в рабочем классе. Возмутилась и так называемая радикальная интеллигенция. К тому, чтобы принять эту подачку, склонялись только умеренные либералы.

Социалистические партии Польши выдвинули лозунг бойкота. Мы, левое руководство ППС, тоже организовали несколько десятков митингов на фабриках и заводах, где единогласно принималась резолюция о бойкоте. Относительно Польши можно было не сомневаться, что бойкот будет проведен. Но бойкот, проведенный в Польше, принял бы сепаратистскую окраску, если бы он не был проведен и в России. Известий об отношении в России к булыгинской Думе у нас не было, и мне было поручено съездить на разведку в Питер.

Я в то время был нелетальным и проживал по австрийскому паспорту на имя Яновского. Приехав в Питер, я зашел к знакомому мне еще по ссылке Красину и к работавшей тогда в «Русском богатстве» — Ольге Николаевне Фигнер-Флеровской, связанной с эсерами. От них я узнал, что социалистические партии в России тоже ведут кампанию за бойкот. Желая узнать, как к этой Думе относится радикальная интеллигенция, я зашел к инженеру Александру Венцовскому, бывшему ссыльному, арест-

стованному в Варшаве еще в 1878 году (после Октябрьской революции он приехал в Россию в качестве польского представителя). Когда я позвонил к нему на квартиру, он сам открыл двери. На нем были пальто и шляпа.

— Я вас долго не задержу, — и я сообщил ему о цели своего визита.

— Поедемте со мной. Я как раз еду в Терноки на заседание Союза союзов по этому вопросу.

Я ему сообщил свою паспортную фамилию...

— Ладно, я вас отрекомендую как корреспондента «Напржда».

Мы приехали как раз к открытию собрания.

Председательствовал Герценштейн. Из видных лидеров оппозиции я запомнил Гредескула и Милюкова. Оба они были яркими сторонниками участия в Думе, доказывая, что эта Дума будет оперативной базой для дальнейшего наступления на самодержавие. Против них выступала преимущественно молодежь.

Я просил Герценштейна предоставить мне слово для информации о Польше. С согласия собрания слово мне было предоставлено.

Продолжая находиться под впечатлением митингов, проведенных на фабриках, я описал настроение польских рабочих, говорил о том, что дальнейшее наступление на эту Думу, рассчитанную на обман и на ослабление движения, должно проводиться на улице, на баррикадах вместе с массами...

Меня слушали внимательно, только Милюков, прерывавший и говоривший до меня «цвишенруфами», попытался прервать меня.

— Вы на революционную почву становитесь...

— Ошибаетесь, профессор, я не становлюсь. Я на ней двадцать лет стою и вас хочу направить на этот путь...

Раздался хохот...

Выступили и другие сторонники бойкота... Милюков остался в значительном меньшинстве.

— Кто это? — допрашивал Милюков Венцковского по поводу моего выступления.

— Я не в праве без его разрешения вам сказать...

— Так спросите у него...

Я разрешил. Венцковский назвал ему мою фамилию...

Милюков подошел ко мне и в разговоре пытался сгладить произведенное его выступлением впечатление.

В тот же день я уехал обратно в Варшаву. Митинговая кампания продолжалась. В день, когда должен был быть опубликован указ о булыгинской Думе, мы решили выступить с забастовкой протеста и с демонстрацией. Все уже было подготовлено. Оставалось только обсудить некоторые организационные вопросы. Было назначено совместное заседание Варшавского комитета с Центральным, где-то на Мокотовской улице. «Ян» отпра-

вился по делам в Краков, мне было поручено поехать с докладами в Гродно и в Вильну. В обоих городах идея бойкота была очень популярна.

Из Вильны я должен был на несколько дней съездить в Николаев, но в Вильне во время доклада мне была вручена телеграмма за подписью «Альбина» — Ционглинского. «Возвращение Болеслава необходимо». Я понял, что что-то случилось и с первым поездом вернулся в Варшаву. Бызывали меня не зря. Все собрание на Мокотовской улице было арестовано. Почти вся руководящая верхушка оказалась в руках жандармов. А на всех углах уже были расклеены воззвания с призывом к забастовке и демонстрации. Положение было тяжелое. Из членов ЦК в Варшаве остался я один. «Яну» была послана телеграмма, но он еще не вернулся. Я мобилизовал силы, составил из «Эдзислава», «Веры», «Фелька» и себя временный комитет, которому и удалось провести намеченные забастовку и демонстрацию. По размерам она была меньше той, какую мы планировали до этого провала, но все же настолько внушительна, что запуганные власти объявили после нее Варшаву на «военном положении».

Я окончательно выбился из сил. Выступать с докладами у меня не было физической возможности. Я лишился голоса. При малейшей попытке заговорить громче начиналось кровохарканье. Я еще некоторое время оставался в Варшаве, подготавливая вместе с «Яном» и временным комитетом созыв конференции для выбора нового комитета, а затем уехал в Николаев.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### ОКТАБРЬСКИЕ ДНИ 1905 ГОДА

С переездом в Николаев я очутился в совершенно другой атмосфере, чем в Варшаве. На судостроительном заводе кипела жизнь, но в центре это было незаметно. Я приехал не надолго, связей с заводом и с николаевской организацией РСДРП, не имел и волей-неволей должен был довольствоваться происходившим в центре жеванием вопроса: «реформа или реформы». Отдыхать в Николаеве приходилось на свой счет — у партии в то время не было возможности содержать своих членов во время их отдыха, — и я начал пробиваться журнальной работой в «Каторжной» газете, как называли выходившую в Николаеве «Южную Россию», в которой работали и задавали тон бывшие каторжане Виташевский, Осмоловский, бывший колымчанин Шаргородский и другие. Эта газета издавалась на средства местного радикальствовавшего богача Юровского, издававшего в так называемые «дни свобод» в Питере орган эсеров «Сын отечества».

Особенностью редакции этой газеты было то, что каждый из членов редакции и ближайших сотрудников мог проводить собственную линию, лишь бы эта линия была «радикально-левой». Но так как это понятие очень эластично, то «радикализм» весьма часто опускался до уровня весьма умеренной оппозиционности. Большинство передовиц принадлежало перу Н. Л. Виташевского. Этот бывший «якобинец» к 1905 году сильно поблек. Мне часто приходилось воевать с ним, так как он очень склонялся к кадетам и приходил в восторг по поводу каждого их выступления. Под давлением он соглашался умеренную подливку к своим статьям заменять более радикальной, но по убеждению был, в лучшем случае, «левым» кадетом. И я был сильно удивлен, когда несколько месяцев спустя, зайдя в Питере в редакцию «Сына отечества», застал его там на работе. Достаточно было нескольких месяцев, чтобы он, под влиянием развертывавшихся событий, превратился в заправского социалиста-революционера.

Таким неустойчивым он был в Якутске, таким и остался на всю жизнь.

Гораздо устойчивее был Шаргородский, по убеждению эсер. Обремененный семьей, нуждающийся, он в газете ведал городской хроникой и репортажем. Талантом он не блистал и попытки его проникнуть на столбцы газеты со своими статьями всегда кончались неудачей. Статьи его были неуклюжи, мысли в них настолько туманно отражены, что пускать их в печать не было возможности.

Секретарем редакции был некто Кокизов, местный житель, образец беспринципности и бездарности, прекрасно расставлявший знаки препинания в статьях, но и только.

Я на время пребывания в Николаеве превратился в фельетониста. Мои фельетоны, которые я писал под псевдонимом «Панглосса», в большинстве случаев читались редакцией и... цензором, но в печать их цензор не пускал. Дело дошло с этим цензорским чирканием до того, что в одно прекрасное утро я накатал фельетон в несколько строк о том, что вот, мол, солнышко светит, птички поют, в театре артистка патриотически разыгрывает революционерку из «Воскресения» Толстого, словом, все замечательно. Закончил я фельетон выражением надежды, что эти строки наконец дойдут до читателя, и он присоединится к всеобщему ликованию... Дурак цензор не понял насмешки и фельетон пропустил, но публика поняла и немало потешалась.

Но работа в Николаеве была не по мне. Я съездил в Полтаву, где жил бывший ссыльный А. П. Лурья (о котором я уже писал во втором томе), из переписки с которым я знал, что он тяготеет своей профессией инженера и готов сменить циркуль на перо. Он гораздо больше, чем я, подходил к этой редакции, и я убедил его переехать в Николаев и заменить меня на посту фельетониста. Он согласился. Я отправился в Одессу, где, как я знал, готовится забастовка железных дорог.

В Одессе в это время уже чувствовалась близость революции. По приезде я зашел к Заку, передовику «Одесских новостей». С ним я был знаком. Мы встречались в Орле, на съезде журналистов, куда я был командирован редакцией «Южной России». На этом съезде мы солидарно выступали против Стаховича, который всеми силами тянул съезд вправо. Но состав съезда был настолько бесцветен, что Стаховичу не трудно было протащить беззубую резолюцию, более отвечающую требованиям правых земцев, чем радикальной журналистики.

С. С. Зак был тогда эсером, но с оригинальным для этой партии оттенком ликвидаторства. Как только был объявлен пресловутый «конституционный» манифест, Зак заговорил о необходимости перейти на рельсы легальности и выдвигал программу, почти тождественную с позднейшей программой эпэсов (народных социалистов).

Узнав от Зака, где живет мой товарищ по Каре и по якутской ссылке Н. Л. Геккер, я отправился к нему.

Nec locus ubi Troja fuit.

Не осталось и места, где когда-то была Троя. От прежнего Наума Леонтьевича не осталось и следа. Он был парализован, не мог ходить и его перевозили с места на место в кресле на колесах. Он в буквальном смысле заплыл жиром. Увидев его, я ужаснулся и не только потому, что увидел перед собой беспомощного инвалида. Было нечто, еще более поразившее меня. Он был именно тем, чем меня хотели сделать в Варшаве: иконой, которой поклонялись. Но превращенный в икону, он сам считал себя оракулом. Были ли у него соответственные полномочия от эсеровской партии, к которой он принадлежал, не знаю, но он с молодыми эсеровцами даже не беседовал, а изрекал свое мнение, считая его обязательным для одесской организации. Молодежь злилась по этому поводу, негодовала, но он даже не замечал этого.

Гораздо проще по отношению к молодежи вел себя бывший акатуевец — Фрейфельд, тоже эсер. На меня он производил впечатление человека хорошего, любвеобильного, но как будто чем-то ущемленного и из-за этого стесняющегося выступить со своим мнением. Мне пришлось впоследствии встретиться с ним в эмиграции — в Берне. Он тогда, несмотря на то, что ему было уже под пятьдесят лет, был на медицинском факультете и жил только мыслью о том, чтобы получить диплом врача, чего достиг чуть ли не накануне Октябрьской революции. Хороший товарищ, услужливый, приветливый, он в Швейцарии уже не принимал никакого участия в эсеровской работе. В его разговорах о положении в стране, об эсерах чувствовалась все та же ущемленность и замкнутость. В Россию он вернулся вместе с нами, во втором поезде, через Германию.

С социал-демократами мне в Одессе не сразу удалось связаться. И только в октябрьские дни 1905 года я познакомился с С. И. Гусевым.

Разыскал я и поляков. Здесь была секция ППС. Вся она состояла из правых, ярых поклонников Пилсудского. Характерно, что в этой секции не было ни одного рабочего. Были студенты, были «паненки» (барышни) — патриоты и патриотки старого типа, негодовавшие против «левых», осмелившихся удалить Пилсудского из ЦК. Секция держала крепкую связь с польскими радикальными элементами в Одессе.

Самым видным, хотя и самым скромным из радикалов был старик Калинкевич. Он не был социалистом, но он буквально преклонялся перед каждым активным революционером и, раз дело касалось революционера, — ему не было дела, был ли это социал-революционер или социал-демократ, — он ни перед чем не останавливался и оказывал помощь, даже рискуя быть арестованным. Когда после октябрьских дней мне пришлось бежать из

Одессы, Калинкевич не только помогал мне скрываться, но сам отвез меня на вокзал, купил билет, усадил в вагон и ушел только тогда, когда поезд тронулся, и он убедился, что мне уже не грозит опасность.

Полную противоположность Калинкевичу представлял присяжный поверенный Миодушевский. Левый кадет, радикал, польский прогрессивный демократ, пепезовец — все это одновременно, — Миодушевский стремился только, как говорится, быть на каждой свадьбе женихом и на каждом похоронах покойником.

— Вы от кого выступите? — спросил он меня перед каким-то собранием.

— Конечно, от ППС.

— Ну, так я выступлю от прогрессивных демократов...

Ему было безразлично от кого, — лишь бы выступать. Мне не раз приходилось слушать его в разных ролях, и при всяком выступлении он твердо помнил, от какой партии выступает, и говорил с одинаковым пафосом, с одинаковым увлечением. Это был актер, вдохновлявшийся ролью, какую ему приходилось играть и, надо ему отдать справедливость, игравший талантливо.

За исключением старика Калинкевича, не социал-демократа, не социалиста-революционера, даже не анархиста, и все же революционера, готового жертвовать собою для революции, польская колония, по крайней мере та ее часть, которую я успел узнать, ничего из себя не представляла, и я не стал с ней возиться. Время было бурное, жизнь кипела, и я, уже отрезанный от Польши, взялся за работу тут же, в Одессе. То было время, когда что ни день получались новые сведения о революционных выступлениях рабочего класса то в Петербурге, то в Москве, то в Иваново-Вознесенке, то в Варшаве, то в Риге, то в Эривани. Все это находило отклик в Одессе. И вот в это-то время мне пришлось многому поучиться от руководства РСДРП. Когда царь «милостиво», отступая перед натиском революции, признал за университетами автономию, немедленно же большевистское руководство партии выдвинуло лозунг: «Автономный университет для автономного народа...» И университет сделался аудиторией, в которой изо дня в день собирались тысячи рабочих, крестьян и даже солдат и слушали речи ораторов.

Я поселился в каких-то меблированных комнатах, носивших громкое название «Свет и воздух», имевших то преимущество перед другими, что они находились прямо против университета. После первых же моих выступлений на митингах меня уже звали выступать, забегали ко мне и тащили на собрания... Мне трудно передать содержание речей на митингах. Цель их была одна: раскачать массы. Экономические забастовки вспыхивали стихийно. Под влиянием речей ораторов эти стачки превращались в политические. Известия из других городов подливали масло в огонь революции. Сначала известия из Москвы о стачках печатников, трамвайщиков, телеграфистов, молодежи, о ра-

бочих, забаррикадировавшихся в пекарне Филиппова, о забастовке на всех фабриках и заводах в Москве, наконец, произведшее своеобразное впечатление не только на меня, но и на всех, с кем пришлось говорить об этом, известие о забастовке на Московско-Брестской железной дороге, а затем на Московско-Казанской и на всех остальных дорогах.

Атмосфера накалялась. Я проник на собрание железнодорожников Одессы. Зная, что планируется всеобщая остановка железнодорожного движения (об этом конфиденциально говорилось еще на съезде Союза союзов), я считал себя обязанным подтолкнуть это дело и в Одессе. Но мне не пришлось даже выступать. Сами железнодорожники Одессы жестоко расправились бы с тем, кто бы посмел выступить против забастовки. Они лишь ждали сигнала. И как только он последовал — железные дороги в Одессе замерли.

Я не останавливаюсь на дальнейших событиях. Они общеизвестны. Считавшаяся утопией, всеобщая забастовка во всем государстве была превращена в действительность. И под ударами рабочего класса, ведшего за собой другие слои, самодержавие вынуждено было издать пресловутый «конституционный манифест» 17/30 октября 1905 года.

В Одессе известие об этом манифесте получилось только 31-го, а может быть, и позднее. Знал ли раньше о нем градоначальник — неизвестно. Возможно, что, зная, он не обьявлял, готовясь по-своему применить его на деле. Как бы там ни было, но в Питере и Москве рабочий класс уже праздновал первую крупную победу, в то время как в Одессе продолжались баррикадные бои и лилась кровь. В боях и в постройке баррикад еще не было опыта. Отпрокидывались трамваи, телеги, все это сваливалось в кучу и скреплялось колючей проволокой. Как преграда и защита от налета кавалерии эти баррикады годились, но только для этого. А между тем они назначались для другой цели. Это должны были быть укрепленные пункты, предоставляющие возможность борьбы с врагом, вооруженным с ног до головы. Будучи опытнее других, я переходил от одной баррикады к другой, осматривал их, давал указания. В одном месте я напнулся на баррикаду, недоступную со всех сторон.

— А куда вы уходите будете, когда уже невозможно будет защищаться?

— Никуда мы не уйдем. Здесь же костями ляжем! — последовал гордый ответ.

Мне с большим трудом удалось убедить борцов в необходимости разгородить одну сторону, и часа два спустя я мог убедиться, что благодаря этому несколько жизней было спасено.

В эти исторические дни в Одессе на каждом шагу слышались ребования, которые предъявляли и польские рабочие во всех промышленных центрах: «Давайте оружие». Оружия не было. Были пресловутые «бульдоги», были «браунинги», но все это — сла-

бое оружие для борьбы с регулярной армией, да и их было мало. В одном месте, впрочем, я видел и ручной пулемет, но, увы, не в действии — с лентой что-то случилось, и пулемет забастовал. К счастью, одесский градоначальник Нейгардт оказался менее предусмотрительным, чем его польские коллеги. В Варшаве все оружейные магазины были заблаговременно опустошены полицией. В Одессе этого не догадались сделать и кое-каким оружием удалось запастись в этих магазинах.

Бои были кровавые. Они прекратились только после получения известия о «конституционном манифесте».

Одесса сразу приняла другой вид. Полиция, казаки бесследно исчезли. Все улицы были запружены народом. Шли демонстрации. всюду виднелись красные флаги, несли на носилках раненных в боях. Кое-где на улицах массы собирались вокруг оратора, разъяснявшего основные пункты «манифеста». Многотысячная толпа сооралась перед зданием городской думы. Либеральная интеллигенция чувствовала себя здесь господами положения. Выступал Щепкин. Он говорил о наступившей новой эре, о том, что время борьбы прошло, теперь надо строить новую счастливую жизнь, на основе царского манифеста. Он говорил с балкона, с адвокатским пафосом, уверенный, что каждое его слово западет в душу слушателей. А в это время несколько человек из этих же слушателей срывали с балкона эмблему самодержавия, сооруженного из проволоки двуглавого орла, который рухнул наземь как раз к концу речи Щепкина.

С большим трудом я проорался в здание думы, а затем на балкон. Мне в то время было уже за сорок, вид у меня был солидный, и когда я вежливо и культурно попросил предоставить мне слово, оно было мне предоставлено. Я не сомневался, что долго мне не дадут говорить, и поэтому, что называется, места в карьер заговорил о том, что манифест сулит расправу с революционным движением, к этому надо готовиться, надо вооружаться.

Меня стащили с балкона, не дав договорить.

Буржуазия ликовала. Пролетариат не ликовал, да и ликовать ему было не от чего. Не помню точно — третьего или четвертого ноября, на улице вновь появились казаки. Красные флаги думы были сорваны, в домах они исчезли сами собой. Под охраной солдат вернулись на посты городовые. А после этого начались патриотические манифестации, перешедшие в еврейский погром.

Мне пришлось быть свидетелем погрома первый раз в жизни. Не буду его описывать. Он уже изображен многими. Скажу только, что это что-то до того возмутительное и дикое, что приходилось удивляться людям, которые могли смотреть на это равнодушно, не выбежать на улицу, чтобы попытаться помешать этому ужасу.

Из мебелированных комнат «Свет и воздух» вышла вооруженная группа учеников флотского училища и отправилась в город разгонять погромщиков. Я присоединился к ним. В одном месте мы наткнулись на разбивавших и трабивших мелкие лавчонки погромщиков. При первых выстрелах в воздух они рассеялись. Только тогда мы увидели спрятанных за ними солдат, взявших нас на прицел. Грянул залп, и один из учеников упал замертво.

Погромы были организованы. Армия и полиция деятельно поддерживали и защищали погромщиков. Не будь этого, и организация еврейской самообороны и отряды революционной молодежи, не говоря уже о выступивших на улицу сознательных рабочих, очень быстро справились бы с ними.

Погром продолжался три дня. Сотни евреев были убиты, тысячи домов и лавок разграблены, десятки еврейских женщин изнасилованы.

Мне пришлось быть на кладбище, когда хоронили жертвы погрома. Стон и плач стоял кругом. Все это сразу прекратилось, когда один из молодых евреев крикнул повелительно:

— Ништ вейнен! Не плакать! Запомнить! Отомстить!

Все смолкло... Слышны были только падающие в кружки сборщиков медные и серебряные деньги.

Кто-то подошел с такой же кружкой и ко мне.

— Дайте на вооружение.

Когда я уходил с кладбища, у ворот стояли два социал-демократа и с каждого уходящего с кладбища брали сбор на вооружение.

Начиналась новая эра, но не та, какую ожидали кадеты.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### НА ПОДСТУПАХ К VIII СЪЕЗДУ ППС

Некоторое время мне еще пришлось задержаться в Одессе. Сравнительно в короткий срок мне удалось расшевелить польскую колонию. Все было подготовлено к устройству грандиозного митинга, и, если бы я уехал, руководство им могло бы попасть в руки национал-демократии. На этом митинге я был генеральным докладчиком. Когда я появился на трибуне, присутствовавшая публика встретила меня «по-варшавски». Для нее был только «мучеником». По инициативе Миодушевского все почтили меня, как «покойника», вставанием. Но вскоре убедилась, что я жив. Разделявая пресмыкавшуюся перед самодержавием буржуазию, помню, я привел отрывок из «Кордыяна» — Словацкого, который влагает в уста Николая I такую характеристику:

Польша уже застыла, замерла  
И навсегда, как стрелка магнита,  
Повернута на север... в сторону морозной Сибири...  
Издали труп этой страны казался грозным,  
Не раз разрушал планы о завоеваниях...  
Но я приехал — и труп дрогнул, даже улыбнулся.  
Слез я не видел... Дома, расцвеченные коврами...

Закончил я тем, что застыла и умерла шляхетско-буржуазная Польша, но живет, борется и будет жить Польша трудящихся.

Никто из национал-демократов не решился выступить.

Перед принятием заранее заготовленной мною резолюции попросил слова какой-то рабочий. Фамилии его не помню, но уже после Октябрьской революции я встречал его в рядах болшеви́ков. Прекрасное было выступление! Он начал с того, что он уроженец Польши, на митинге поляков вынужден обратиться к ним не на польском, а на русском языке. Ему как рабочему с детства приходилось мять по всей России в поисках работы, и он забыл родной язык... Но дело не в языке. Рабочи

при существующем режиме обречен на то, чтобы только и думать о куске хлеба, быть рабочим скотом. Но близок конец такого положения. Рабочие организуются. Рушится царизм, рухнет и капиталистический строй. Закончил он призывом к объединению в борьбе рабочих всех национальностей...

После этого митинга несколько человек рабочих-поляков вошло в местную секцию. Это была единственная польза от него.

В Одессе начались аресты. Искали и меня. Я оставался два дня в квартире Калинкевича и, как только двинулись поезда, уехал в Варшаву.

Это была уже не та Варшава, какую я оставил, уезжая в Николаев. Она, употребляя образное выражение Словацкого, была, как стрелка магнита, повернута на север, но не в сторону Сибири, а в сторону Петербурга. Малейшее движение в России находило живой отклик в Польше.

Никогда еще банкротство правых не было таким очевидным, как теперь. Но они не сдавались и для проведения своих идей в массы начали издавать собственный фракционный орган («Новая жизнь»). Тут мы оказались чистейшими меньшевиками и ограничили себя тем, что полемизировали с ними. Они действовали гораздо решительнее, выступали на всех собраниях и попрежнему проводили свою линию, не смущаясь тем, что на рабочих собраниях их агитация не встречала никакого отклика, в то время как наши сообщения о событиях в России, как восстание в Черноморском флоте, бунт на Очакове, вызывали в рабочих массах огромный энтузиазм.

Вели мы работу и среди солдат. Руководство этой работой было поручено мне. Такую же работу вела и ПСД. Я не берусь судить, чья работа была продуктивнее, да это и не имеет значения. Важно то, что в Польше, где работа среди солдат была более трудной, чем где бы то ни было, расшевелить солдат удалось. В ноябре имели место волнения в 3-й артиллерийской бригаде и в 14-м драгунском полку в Остроленке.

Само собой разумеется, что перекатывавшиеся по России волны забастовок заливали и Польшу и принимали там такой же боевой характер. Но с Польшей царское правительство не считалось, и в ответ на выступления рабочих Польша была объявлена на военном положении. В величайшему возмущению и негодованию правых, была отправлена делегация в Петербург для сообщения об этом Совету рабочих депутатов. Принятая Советом резолюция, призывающая революционный пролетариат Петербурга к политической забастовке из солидарности с революционным пролетариатом Польши, вызвала в рабочих массах Варшавы огромный подъем.

Совершенно иначе реагировали на это правые. Они на забастовку смотрели, как на совершенно ненужную и вредную трату сил, и возмущались тем, что «левые» «подражают москалям» и проводят «чуждую» тактику. За эту «не нашу тактику» нас

всячески высмеивали. Помню, на одном из собраний кто-то из правых, когда мы отстаивали необходимость координирования действий с ПСД и с русскими партиями, заявил:

— Хороша координация... Это координация мухи, сидящей на хвосте собаки. Куда ни махнет собака хвостом, туда и муха летит...

Когда это не подействовало, двинута была в бой тяжелая артиллерия в лице «самого» Игнатия Дашинского, творца-вседержителя галицийских пепеэсовцев, депутата венского парламента, считавшего себя и считавшегося сторонниками непогрешимым. Он разразился открытым письмом к ЦКРППС, состоявшему тогда из «молодых». В Галиции он играл «роль римского папы». «Roma locuta — causa finita».

«Рим высказался — вопрос исчерпан». У нас далеко не так приняли его вмешательство, как приняли бы в Галиции. Его проработали на всех собраниях, а затем ЦКР ответил ему брошюрой, окончательно разбивавшей все его доводы. Другую, еще более разносную брошюру написал Ковенский. Дашинский не сдался и не мог сдаться. Мы говорили с ним на разных языках. Лично меня поражало, как, высказывая такие взгляды, он мог быть вождем социал-демократической партии. В изданной им впоследствии книжке «Политика пролетариата» встречаются такие перлы: «Земельный голод русского крестьянства не может иметь никакого влияния на революцию». «Обнищание крестьянской массы в России только кажется революционным фактором. Оно длится слишком долго, чтобы эту нищету считать главным фактором революционного взрыва».

«Правда, крестьянин только и мечтает об увеличении своего земельного надела. Но из этого следует только то, что он будет другом всякого, кто ему даст землю. Если ему даст революция, тем лучше для нее и для него, но если царь даст ему землю, крестьянин не только не окажет в данной стадии поддержки революции, но и выступит против нее. А царь в момент страшной угрожающей ему опасности может решиться взять на себя роль спасителя крестьянства и дать ему землю».

Дашинский считает это возможным...

Не менее характерно его отношение к пролетариату... «Не смотря на разногласия между социалистическими партиями, — вещал галицийский папа, — мы должны считать пролетариат в России, в особенности же интеллигентский пролетариат (разрядка моя), могущественным революционным фактором...»

При таком отношении к русскому крестьянству и пролетариату неудивительна и та оценка, какую дает Дашинский революции 1905 года: «Все, что происходит в России в течение последних нескольких лет, является даже для самых плоских умов

доказательством упадка царизма, но одновременно и доказательством бессилия ста сорока миллионов людей, входящих в состав царского государства».

Все это писалось для того, чтобы прийти к нужному ему выводу: Россия разлагается. Недалеко то время, когда она будет низведена на положение Китая или Турции и начнет распадаться. Польша должна готовиться к этому моменту, чтобы завоевать свою независимость.

Я дальше остановлюсь на этом вопросе, так как, несмотря на всю очевидную для русского читателя абсурдность всех этих рассуждений, в поработанной Польше, на каждом шагу испытывавшей на себе гнет царской бюрократии, пропаганда таких идей могла найти отклик. При этих условиях огонь должен был быть направлен против пилсудско-дашинщины. Сосредоточив внимание на этом, «левые» ППС, пытались противопоставить этой концепции свою, проходили мимо важнейших вопросов революции. Это было не так легко: линии правых следовало противопоставить четкую свою линию, а решения «левых» по национальному вопросу постоянно менялись. Отрешение от меньшевистского уклона также проходило не так быстро, как происходило бы, если бы не было того, что ПСД, к которой мы тяготели, своего решения национального вопроса совсем не давала, левяки отмахиваясь от него. А между тем для объединения было уже много данных. Заметно было определенное сближение с ПСД, приведшее во время московского восстания к созданию комитета из представителей ПСД, ППС и Бунда. В рядах ППС ясно было сознание необходимости координации действий социалистических партий как в Польше, так и во всей России. Мне было поручено съездить в Питер и поставить этот вопрос перед русскими партиями. Этот вопрос назрел. Инициативу созыва конференции всех партий взяли на себя большевики, и такая конференция состоялась в Финляндии под председательством Саммер («Любича»). Участвовали в ней от ПСД — Ф. Э. Дзержинский, от эсеров — М. А. Натансон и Азеф. Сомнение вызывало, следует ли допустить финляндских «активистов» и армянских «дашнакцютун», но, так как вопрос шел только о координации действий, решение было их к содействию допустить. Конференция продолжалась два дня. На второй день на заседание пришел на короткое время В. И. Ленин. Я его не видел с 1897 года. Он значительно постарел, но я бы его все-таки узнал, если бы даже при его появлении присутствующие не зашевелились и не сообщали друг другу: «Ленин... Ленин...» Ильяч некоторое время прислушивался к выступлениям, но сам не выступал и вскоре ушел.

Конференция эта не имела большого значения. Каждый из присутствовавших сообщал о положении в той части государства, где работала партия, от имени которой он выступал. Принятое решение обязывало сноситься друг с другом для координа-

ции действий. Здесь мне впервые пришлось лично познакомиться с «Юзефом» (Дзержинским), уже тогда очень популярным не только в ПСД и в беспартийных рабочих массах, но даже в рядах ППС. Как это ни неприятно, я не могу скрыть, что он разочаровался во мне. От меня как «пролетариатца» он ожидал, что я по возвращении примкну к ПСД, а я примкнул к ППС. Из беседы с ним я узнал, что он в Сибири собирался посетить меня и информировать о положении в стране, но это ему не удалось.

Кроме меня, на эту конференцию прибыло еще три пепезовца: Бруно («Ержи»), Рудницкий («Вицек») и Софья Познер («Анна»). В это время произошел очень любопытный эпизод. Нам нужно было посоветоваться с русскими товарищами по одному техническому вопросу, имевшему для нас большое значение. Во время боевых выступлений у нас были случаи, когда бросавшие гранаты сами страдали от них. Граната разрывалась, и осколки разлетались во все стороны, не только вперед, но и назад. Мы придумывали способы отбросить ее на такое расстояние, чтобы этого избежать. Я советовался по этому вопросу с М. А. Натансоном, и он созвал у себя маленькое совещание по этому поводу, в котором должны были, кроме его и меня, принять участие Азеф и «Анна». Последняя запоздала, и когда вошла, все мы были уже в сборе. Она, извинившись за опоздание, тут же заявила, что не сможет участвовать в совещании, так как ее позвали на другое собрание. Я, зная, что это неправда, вышел вслед за ней в переднюю:

— Это еще что за капризы?

— Делайте и думайте, что хотите, но с этим (Азефом) я не буду по таким вопросам говорить...

Когда обнаружилось, что Азеф — провокатор, «Анна», бывшая уже тогда в эмиграции в Париже, прислала мне во Львов запрос: не он ли тот, с которым она отказалась обсуждать вопрос о гранатах... Чутье ее не обмануло.

Встретился я в это время и с «интеллигентским пролетариатом», по терминологии Дашинского.

Если предположить, что Дашинский не тенденциозно, для достижения определенной цели, написал приведенную выше галиматью, то приходится заключить, что свои выводы относительно русской революции он делал исключительно на основании действий «интеллигентского пролетариата», то есть, по существу, либеральной интеллигенции.

Русская интеллигенция, кость от кости и плоть от плоти буржуазии и мелкой буржуазии, была уверена, что ее классовые цели достигнуты, что «конституция» даст ей возможность принять участие в управлении государством, и, как и вся буржуазия, мечтала лишь о том, чтобы страна как можно скорее успокоилась и вошла в нормальную колею. Самодержавие отдавало себе полный отчет в этих настроениях, и все внимание сконцентри-

рвало на борьбе с пролетариатом. Как известно, в декабре был издан правительством указ, уполномочивавший местную администрацию в случае приостановки железнодорожного, почтового и телеграфного сообщения вводить чрезвычайную охрану и военное положение. В тот же день последовал указ, воспрещающий забастовки на правительственных и частных железных дорогах, в учреждениях общего пользования и на предприятиях, в которых прекращение работ может угрожать безопасности государства.

Пролетарская Польша немедленно реагировала на эти указы забастовкой. Все социалистические партии Польши осознали серьезность момента, и немедленно был создан междупартийный комитет для руководства движением. Несколько дней спустя получилось известие о московском восстании, а одновременно и о том, что Питер в связи с арестом Совета рабочих депутатов не в силах поддержать Москвы. Несмотря на то, что питерские известия могли вызвать подавленное настроение, рабочая Польша заволновалась. В некоторых местах, как в Радомской губернии, волнения приняли бурный характер, во многих городах дело дошло до крупных столкновений, во многих селах были сменены установленные правительством власти. В Варшаве была поставлена задача—ни под каким видом не допускать отправки на усмирение Москвы ни одного солдата. И это удалось. Только из Ломжинской губернии генерал-губернатор Скалон<sup>1</sup> отправил в Москву какую-то военную часть. В других местах сделать это оказалось невозможным, не рискуя собственной безопасностью.

В этот момент «левые» были вполне на высоте положения. Плехановского «не надо было братья за оружие!» мы не приняли ни во время московского восстания, ни после поражения его. Один из тогдашних лидеров «левых» ППС, ныне коммунист, тов. Валецкий уже в 1907 году писал:

«Октябрьская победа была скорее моральной победой, проявлением слабости правительства и силы революции. Надо было перейти к реализации этой победы, а единственным путем, ведущим к этой реализации, был путь вооруженного восстания. Поэтому единственным тактическим лозунгом, ближайшим, непосредственным, между октябрьскими и декабрьскими днями, был лозунг вооруженного восстания, вооружения и организации пролетариата и революционирования армии». И дальше: «Высота, на которую поднялась революция в конце 1905 года, была слишком большой, чтобы можно было внезапно переброситься к тактическим вопросам в совершенно другой и бесспорно менее возвышенной плоскости... Все еще существовала надежда, что бойкот (первой) Думы будет исходной точкой или составной частью тактики революционной атаки. Весной ожидался новый взрыв, более могущественный и успешный, чем все предыдущие. Раз-

<sup>1</sup> Варшавский генерал-губернатор.

бирались ошибки, сделанные в декабре, с тем чтобы их избежать в следующий раз. Поражение приписывалось недостаточной подготовке и больше всего неучастию в движении деревни. Предусматривалось, что весной разгорится аграрное движение, и оно послужит фоном для новых боев в городе»...

Нет. Часто греша меньшевизмом, «левые» ППС в этот исторический момент не по-меньшевистски отнеслись к московскому восстанию.

Наоборот, мы не собирались быть только пассивными свидетелями московских боев, и мне было поручено съездить в Петербург и Москву ознакомиться с положением, с тем чтобы, в зависимости от этого положения, либо тоже взяться за оружие либо ликвидировать изнурявшую пролетариат забастовку.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### МОСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ

Питер произвел на меня в этот приезд удручающее впечатление. После ареста Совета рабочих депутатов чувствовались растерянность и утнетенность. Я заехал к переехавшему к тому времени из Вильны в Питер Мариану Абрамовичу, заведывавшему каким-то крупным издательством, если память меня не обманывает, носившим название «Труд». Издательство помещалось на Невском, и к Абрамовичу заходили довольно часто и эсдеки, и эсеры, и бывшие ссыльные, отставшие от движения, но интересовавшиеся им, и радикальствующая молодежь. Благодаря этому у Абрамовича можно было получить нужные сведения. Обычно добродушный, склонный к оптимистическим оценкам, Абрамович на этот раз изменил своему оптимизму...

— Провалил Питер Москву... Ничего не выйдет! — оговорил он меня при встрече...

Но что делалось в Москве, никто из революционеров толком не знал. Железнодорожное сообщение с Москвой еще не было восстановлено. По моей просьбе, Абрамович узнал, когда отправлялся первый поезд в Москву... Оказалось, что поезд, состоящий исключительно из вагонов первого класса, отправляется в тот же день в час ночи. У меня был заграничный паспорт, одет я был весьма прилично, и я решил, несмотря на возражения Абрамовича, считавшего это опасным, поехать этим поездом. Он достал мне билет, и я отправился на вокзал. Войдя в вагон, я прямо ахнул. Никогда в жизни мне не только не приходилось ехать в таком вагоне, но даже видеть что-либо подобное. Скамей в вагоне не было. Вместо них раскладные кресла, превращаемые на ночь в кровати с постелью. В вагоне было человека четыре сновников, повидимому отправлявшихся в Москву для получения точной информации... Проводник указал мне мое место. Во избежание необходимости вести разговоры со спутниками, я попросил сделать мне постель, лег и, развернув захваченное с собою

«Новое время», прислушивался, не узнаю ли чего-либо о Москве из беседы «превосходительств». Но «превосходительства» были более заняты тем, не пострадал ли «Славянский базар»—гостиница, в которой они намеревались остановиться, чем делом, по которому ехали.

В Москву приехали утром. Я посетил целый ряд знакомых и товарищей, посетил Анну Павловну и Александра Васильевича Прибылевых и собрал много сведений о восстании, которое к тому времени было уже разгромлено. Какое на меня произвело впечатление это крупнейшее выступление, можно судить по следующему описанию этого восстания, напечатанному мною впоследствии на польском языке:

«7/20/ декабря уже бастовали почти все фабрики и большинство магазинов, на улицах происходили небольшие демонстрации и многотысячные митинги, рассеиваемые полицией и войсками. Кое-где уже были столкновения с казаками и драгунами. Рабочие металлических заводов изготовляли оружие. 8/21/ демонстрации усилились. Драгуны орудуют холодным оружием. Когда смерклось, на улицу выступили с пением революционных песен швей. Это была первая женская демонстрация в России. 9/23 всеобщая забастовка, демонстрации и митинги. Партии рекомендуют избегать столкновений и в случае приближения ненадежных воинских частей распускать собрания, а если это не удастся, стредять по командному составу. Но избежать столкновений уже было невозможно. Рабочие, начиная забастовку, отдавали себе отчет в том, что эта забастовка сама по себе не даст желанных результатов, и требовали оружия, а солдаты, по приказанию начальства, провоцировали массу на столкновения. Надежды возлагались на воинские части, сочувствовавшие революции, но эти части были разоружены, заперты в казармах и окарауливаемы извне.

Большие столкновения начались в тот же день ночью. Войска без предупреждения дали залп по толпе, разрушили артиллерийским огнем училище Фидлера и захватили в плен больше ста человек из боевой дружины. Это дало толчок движению. Рабочие бросали на офицеров, жандармов, полицейских, разоружали их; несколько часов спустя были построены первые баррикады и начала функционировать организованная рабочими милиция. На следующий день уже во всей Москве происходили ожесточенные бои. В самое короткое время выросли сотни баррикад, построенных, как мне передавали, не только рабочими, но и студентами и курсистками, гимназистами, гимназистками. Пламя революции охватило всех... Но не хватало оружия.

Войска некоторое время вели себя пассивно, а затем, по приказанию начальства, опасавшегося воздействия масс на солдат, действовали только издали орудийным огнем. Первый пушечный выстрел раздался в 2½ часа. Если правительство рассчитывало этим терроризировать население, то этот расчет не оправдался.

Есть проявления белого террора, вызывающие не страх, а возмущение и желание мести. После этого первого выстрела в древней царской столице почти не осталось «верноподданных». Даже дворники, всегда служившие «верой и правдой» явной и тайной полиции, перебросились на сторону восставших и активно участвовали в постройке баррикад. А орудия продолжали греметь. Гибли люди, разрушались здания. На следующий день, в воскресенье 11/24 декабря, вся Москва уже была театром военных действий. На всех улицах раздавались выстрелы из пушек, пулеметов, ружей и браунингов. Пожарные, под защитой драгун, подошли к первому ряду баррикад и начали их разрушать. Случалось, что революционеры внезапными контр-атаками отбрасывали их... Войска, выполнявшие без отдыха свою кровавую «обязанность», уже начали утомляться, а число восставших все увеличивалось и увеличивалось. бои становились все более и более упорными. Эта борьба не знающего страха народа вызвала панику среди офицеров. Одни бежали из Москвы, другие передевались в штатское.

12/25 древняя столица царей напоминала наполеоновские времена. Свыше двухсот орудийных выстрелов в разных частях города превратили в развалины огромные каменные дома. Самые жестокие бои происходили на Пресне и вблизи типографии Сытина.

В течение 13/26 ожесточенные бои не прерывались ни на одну минуту. Сотни людей гибли от пуль и ядер, голод и холод донимали сражавшихся, в тюрьмах уже не было мест, а рабочий класс продолжал борьбу с прежним упорством, с прежним самопожертвованием. Получалось впечатление, что все население города — на стороне борющихся. Солдаты разрушают одну баррикаду, на ее месте появляются три. Они строятся всеми: мелкой буржуазией, ремесленниками, домашней прислугой, кое-где даже дворниками. Огонь орудий объединил всех. А правительство словно делало усилия, чтобы поскорее похоронить ту веру в него, которая до этого еще тлела в темных массах. 14/27 в Москве стал известен избирательный закон, опубликованный 11/24 декабря, устранявший от участия в выборах в Государственную думу ремесленников и рабочих мелких фабрик и заводов, в которых работало менее 50 человек, другими словами из 10 миллионов рабочих к участию в выборах допускалось около 2¼ миллионов, причем для того, чтобы окончательно преградить рабочим доступ в Думу, вводились трехстепенные выборы... Под впечатлением этого известия революционное настроение масс усилилось. Само собою разумеется, что восставшая Москва с часу на час ждала вестей о таком же восстании Питера, но проникавшие оттуда известия были весьма печальны. Забастовка в Питере провалилась, о вооруженном восстании нечего было и мечтать. Положение Москвы становилось очень тяжелым. Изолированная от всего государства, она продолжала бой. Кровь

дилась ручьем, войска издевались, избивали и убивали без разбора принимавших участие в боях и мирных жителей. Зарезо поджигаемых солдатами баррикад освещало кровавое поле сражений... Но вера в успех уже исчезла. Баррикады еще строились, но не в расчете на победу, а для защиты. 14/27 и 15/28 бои постепенно стихают. На следующий день было решено прекратить борьбу и, если удастся, прекратить и забастовку. Боевые дружины были распущены и принято решение разрушить баррикады. В течение одного часа баррикады исчезли. Их уничтожил сам воздвигнувший их народ.

Но враг попрежнему продолжал ожесточенную борьбу. Утомленных драгун «сумцев» сменили «семеновцы», среди которых большой процент составляли поляки. Царь при помощи солдат-поляков душил русский пролетариат, а эти солдаты, темные, неосознательные, выюлняли обязанности палачей, мстя русскому народу за обиды, испытываемые от солдат польским народом. Поляки усмиряли русских, русские—латышей, латыши—поляков... Всюду гибли люди, а царизм побеждал.

Побеждал..., несмотря на то, что из пятнадцати тысяч солдат, составлявших гарнизон москвы, десять тысяч как ненадежных было заперто в казармах, а один из казачьих полков—первый Донской—отказался участвовать в боях против восставших.

16/29 декабря, пользуясь тем, что рабочая милиция перестала функционировать, на улицах москвы появилось хулиганье. Начались насилия, грабежи и патриотические манифестации под защитой войск, а в то же время продолжалась стрельба из пушек, пулеметов и ружей, войска попрежнему разрушали и предавали пламени дома. Это была уже не борьба. Это была месть победителя.

17/30 декабря продолжались издевательства над населением Москвы, но то, что происходило во всей столице, оледнело перед тем, что выдвигал мин на предоставленной его произволу Пресне. По целым часам он палил из пушек. Фабрики и жилые дома горели, а успевшие выбежать из объятых пламенем зданий жители гибли от выстрелов солдат. То же происходило в Кудрине... А московский генерал-губернатор Дубасов разглагольствовал о том, что единственное его стремление—восстановить «мир, спокойствие и порядок».

В течение 18/31 декабря «умиротворение» уже проводилось менее энергично, но на Пресне Мин продолжал «выполнять долг»—долг, с которым не может сравниться даже кровавая расправа с парижскими коммунарами. Арестованных рабочих выстраивали, по рядам выстроенных проходили агенты полиции и указанные ими люди без всякого суда и следствия расстреливались тут же.

19 декабря (1 января 1906 г.) кое-где еще раздавались выст-

релы, рабочих арестовывали тысячами, правительство праздновало победу, восстание было подавлено».

В Польше подавление московского восстания на людей, имеющих хоть малейшее отношение к революции, произвести того впечатления, какое оно произвело на меньшевиков во главе с Плехановым, не могло. Кровь повстанцев 1861—1863 годов, так называемые «боевые традиции отцов и дедов» сохранили обаяние для внуков. И если буржуазная Польша предала их, чтобы «припасть к стопам» Александров и Николаев Романовых, то польский пролетариат понял, что теперь эти традиции созданы пролетариатом Москвы. Характерно, что подавление московского восстания рассматривалось здесь только как один из эпизодов революции и не вызвало ни уныния, ни подавленного состояния. Также отнеслось к этому и состоявшее из левых руководящее ядро ППС будущей «левицы». Иначе реагировали на это правые. В подавлении московского восстания они видели или притворялись, что видят подтверждение своих взглядов на русскую революцию, которой якобы «суждены благие порывы, но свершить ничего не дано», и из этого делали вывод, что только отторжение Польши от России может создать для пролетариата Польши почву для борьбы за свое освобождение. К этому добавлялось, что тогда и русскому пролетариату легче будет справиться с ослабленным благодаря потере Польши самодержавием.

На этой почве правые вновь подняли агитацию, а мы, левые, и тут оказались расхлябанными интеллигентами и, вместо того чтобы поступить решительно, продолжали нянчиться с ними и откладывать решение до VIII съезда. Правые тоже возлагали на этот съезд всяческие надежды и усиленно к нему готовились. Готовились и мы. Предсъездовские собрания были весьма бурные. От исхода прений зависело, будет ли на съезд выбран правый или левый делегат. Побеждали левые. Правые этим не смущались. Они рассчитывали побить нас на съезде авторитетными именами. Все правые светила были мобилизованы: Пилсудский, Ендржеевский, Иодко, Славек, а они, в свою очередь, провели на съезд пользовавшегося известностью писателя Даниловского. Так как съезд должен был происходить во Львове, то им была обеспечена поддержка галицийских светил: Дашинского, Дьяманта, впоследствии депутата венского парламента, лидера украинских социал-демократов Мыколы Ганкевича, редактора газеты «Naprzód» («Вперед») Геккера и других. Рассчитывали они также на так называемый «центр» — интеллигентское болото, мечтающее сыграть на лозунге единства партии, пробраться в руководящие органы. Что им было до того, что такое организационное единство было бы лишь прикрытием идейного разброда? К этому центру принадлежал Соломон Познер, впоследствии превратившийся из Соломона в Станислава, редактор левального радикального органа «Ogniwo» («Звено»). В годы

Революции он не принимал в движении никакого участия, ярым пепеэсовцем он стал лишь в «независимой» Польше, что дало ему положение сенатора... Трус и фразер, он сам по себе не представлял для партии ничего. Но именно такими и умел пользоваться Пилсудский.

Все эти маневры правых нас мало смущали. Во всех фабричных и заводских организациях, за исключением Домбровского каменноугольного района, где правые пользовались влиянием, на съезд прошли левые.

Я не помню, сколько именно было делегатов на съезде, но он был очень многолюдным, и нам предстояло немало забот, чтобы снабдить всех делегатов документами на проезд за границу.

Одной из делегатов на съезд была моя сестра, Елена Конгеринг, склонявшаяся в то время к центру. У меня был заграничный паспорт, и она ехала во Львов в качестве моей жены. Не зная о том, что это моя сестра, делегат на съезд Гаазе («Конрад»), услышав, как я в вагоне говорил ей «ты», пришел в восторг от моей мнимой «конспиративности»... «Хоть бы раз обмолвился... Говорит ей «ты», как будто никогда иначе к ней не обращался...»

Переезд через границу прошел довольно благополучно. Провалилось всего два-три человека. Но это не наша заслуга. Время было такое. Нельзя сказать, чтобы мы вели себя вполне конспиративно. Очутившись без посторонних в одном купе, ехавшие вели партийные споры, мало считаясь с тем, что в проходе или в соседнем купе их громкие разговоры могли обратить внимание. Эти разговоры привлекли в наше купе ехавшего в том же вагоне известного поэта Андрея Немоевского, подвизавшегося некоторое время вместе с журналисткой Изой Мощенской на специально устраиваемых ими митингах для радикальной интеллигенции. Это был типичный шляхтич — один из тех, которые всегда «бузили», независимо от повода, и которым повод для этого был вполне безразличен. Он с таким же азартом мог бузить против бога и самодержавия, как против еврейского засилья, против национал-демократии, как и против социалистов. Талантливый, но беспринципный, он находил удовлетворение в самом процессе задиранья всех. В данный момент он бузил против Дашинского по поводу его письма в ЦК, о котором я уже упоминал. В нас он видел единомышленников и пришел к нам, надеясь получить одобрение своим вылазкам против Дашинского. С большим трудом мы его выпроводили из нашего купе.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### VIII СЪЕЗД ППС

Двадцать лет уже прошло со времени этого съезда... На многих съездах приходилось за это время быть, многие организовывать, но этот съезд продолжает оставаться своего рода уникалом во всех отношениях. Прежде всего это был слет членов «единой» партии для того, чтобы не драться друг с другом и только. Фетиш партийного единства был еще настолько силен, что, несмотря на то, что это не только не был съезд единомышленников, но, наоборот, что ни группа, то особая позиция, имеющая весьма мало общего с другими группами и группками, несмотря на это, и правые и центр продолжали держаться за это единство.

Выступает Мечислав Маньковский, мой старый товарищ по партии «Пролетариат», с которым я целые годы провел на каторге... На процессе «Пролетариата» он выступал как представитель рабочих, и его речь по тому времени была речью марксиста. На VIII съезде он начал со слов: «Я по убеждению эсер-максималист»... Это ему не мешало быть членом ППС. Поражены были даже правые, которые все же пытались выдавать себя за марксистов и щеголяли марксистской фразеологией. Я не видел Маньковского с 1890 года, когда его вместе с другими перевели с Кары в Акатуй. Обидно мне стало за него. Я долго беседовал с ним, чтобы уяснить себе, что могло так повлиять на него, и пришел к выводу, что он даже не эсер-максималист, а тип «мстителя». Все пережитое на Каре и на Акатуе накопило в нем столько озлобления, что он жил только мыслью о мести. В разговоре со мной он привел слова Мицкевича:

Мечь, мечь, мечь врагу  
С богом и даже вопреки богу.

И он мстил, организуя террористические акты и собственно-ручно убивая городовых.

После него выступает Даниловский, сентиментальнейший интеллигент, романтик, восторгавшийся героизмом революционеров, но совершенно не понимавший цели борьбы. Он поклонялся Пилсудскому, как богу, и предавал анафеме всякого, кто смел не боготворить «Зюка». При своем немалом литературном таланте он был очень ограничен и отождествлял социализм с филантропией по отношению к «бедному рабочему классу». Трудно предположить, чтобы такой крупный человек, как Пилсудский или даже как Ендржеевский, еще во времена первого «Пролетариата» принимавший участие в движении, не разбирался в нем. Но они были убеждены, что то, что он «писатель», может imponировать рабочим, и они протащили его на съезд. И Ендржеевский — тип, не встречающийся в социалистическом мире. Во время англобурской войны он, польский патриот и сторонник восстания, всецело был на стороне англичан, как носителей высшей культуры. На съезде он рассчитывал произвести потрясающее впечатление на рабочих сообщением, что кто-то белого орла, изображающего герб Польши... назвал гусем... И был поражен, что рабочие встретили его сообщение насмешками. Каждое выступление всех этих горе-социалистов свидетельствовало о том, что они совершенно оторвались от масс и не понимают их.

«Левые» приехали на съезд вполне организованными. Сразу заняли места с левой стороны зала, устраивали фракционные совещания и по всем вопросам голосовали солидарно. Несмотря на эту организованность, мы вели себя, как типичные меньшевики. Мне было поручено открыть съезд. Я четко поставил вопрос о единстве революции во всем государстве, о совместной борьбе с русским пролетариатом, о героической борьбе московского пролетариата и о необходимости готовиться к новым боям... Поставлен был вопрос, вызывающий крупнейшие разногласия. Мы знали, что большинство съезда на нашей стороне, что предложенные нами резолюции будут съездом приняты, но, надо сознаться, решительности у нас нехватило. Это обнаружилось уже при выборе президиума. Кроме меня, был выбран в президиум в качестве «слеца» по председательствованию на собраниях галичанин Герман Диамант, два человека из группы центра и кто-то от правых. Это была первая непростительная тактическая ошибка. Мне лично не улыбалось сидение в президиуме уже просто потому, что меня отрывало оно от сторонников. Ни я ни мои единомышленники не подошли к этому вопросу политически. Я был освобожден от участия в президиуме, и руководство прениями было предоставлено правейшему из правых, Диаманту относительно которого кто-то сострил, что он считает величайшей ошибкой, что ими в Галиции основана социалистическая а не прогрессивно-демократическая партия. Младенцами мы еще были в политике...

Не будь у нас значительного большинства, результаты могли быть плачевные. Мне самому трудно теперь понять наше тогдашнее поведение. Возможно, что это объясняется тем, что Валецкий и Ковенский были арестованы, а «Ян» (Закс), будучи уверен, что правым все равно не удастся провести своих резолюций, отнесся к делу со своей обычной беспечностью. Этим «пусть себе» он всегда отличался. Когда я возмущался по приезде из Одессы, что правым не было запрещено издание их органа, противопоставлявшегося органу ЦК, он спокойно заявил: «Пусть себе». Этим «пусть себе» мы не отличались от меньшевиков, допуская превращение партии в «парламент мнений», несмотря на то, что в этот переходный период мы не были меньшевиками и, борясь с правыми, боролись против ориентации на буржуазию, против мелкобуржуазной идеологии. Если, как я уже упоминал, Роза Люксембург придерживалась тактики «привлечения путем отталкивания по отношению к нам», то эту же тактику применяли правые по отношению к буржуазии. Они, как это ни скрывал Дашинский, не теряли надежды, что буржуазия вернется на повстанческий путь «отцов и дедов».

Не раз за истекшие годы я пытался объяснить источники нашей нерешительной тактики и единственный ответ нахожу лишь в том, что мы, сосредоточив все внимание на борьбе с правыми, сами не выработали никакой положительной программы... Нельзя же в самом деле считать положительной программой пережевывание установки «Люсни» (Крауза), перед самой своей смертью рекомендовавшего:

«В австрийской и прусской Польше в данный момент нет надобности предпринимать что-либо другое для подготовки независимости Польши, кроме того, чтобы всеми силами поддерживать демократизацию этих государств. Если Россия подвергнется хоть сколько-нибудь демократизации, то и в русской Польше мы очутимся в таком же положении».

Эту позицию мы отстаивали на VIII съезде, не пытаясь даже уяснить себе грани в этом вопросе между нами и радикальной буржуазией... И шаткость позиции выступавшего у нас на съезде лидера галицийских пепезовцев, выдвинутого правыми для подавления левых своим авторитетом, состояла лишь в том, что ему пришлось выступать против того, что он сам и руководимая им партия проводила в Галиции по отношению к Австрии. Ни в австрийской, ни в прусской Польше никто не заикался о восстании и все упования возлагались на демократизацию этих государств.

К величайшему удивлению и возмущению правых, «программное приветствие» Дашинского не произвело ни малейшего впечатления на приехавших на съезд делегатов-рабочих. Тогда было выдвинуто другое светило — лидер правых украинских социал-демократов, М. Ганкевич — горячий сторонник польской независимости. В Галиции он считался марксоведом и привел в

своей речи великое множество цитат из Маркса, не пытаясь даже проанализировать, когда и при каких условиях Маркс высказывался по вопросу о независимости.

В речи Ганкевича, так же как и в речи Дашинского, о пролетариате, о его классовых интересах почти совсем не упоминалось.

Принятая на VIII съезде резолюция резко выдвигала общность задач пролетариата всего государства и наряду с этим оправдывала необходимость расстаться с прежним лозунгом борьбы за независимость Польши, так как он утопичен.

Вот отрывок соответственной резолюции VIII съезда:

«Мысль о национальном восстании (о польско-русской войне)—утопия, так как польские имущие классы не ведут и не желают вести революционной борьбы. Она не отвечает сущности пролетарской борьбы, которая основывается на солидарных выступлениях рабочего класса всего государства. Эта солидарность рабочего класса, борющегося против самодержавия и буржуазной контрреволюции, эта все большая и большая сомкнутость пролетарских рядов, эта общность задач пролетариата всего государства — вот исходная точка нашей революционной тактики. С идеей национального восстания эта тактика не имеет ничего общего».

Съезд проходил бурно, несмотря на то, что лидеры правых пытались принять по отношению к левым тон отеческой снисходительности, как к зарпортованным детям. Но только лидеры Их питомцы не выдержали этого тона и пускали в ход демагогию. В особенности усердствовал представитель Радомской организации ППС, инженер Вернер, обвинявший левых, что в результате применения «не нашей тактики» произошло много арестов. При этом им была «пущена слеза», скорбным голосом он рассказывал о тяжелом положении подвергнутых аресту и их семей. Галицийские правые помогли ему «создавать настроение» восклицаниями вроде: «Не может быть!», «Неужели?!» и укоризненно покачивали по нашему адресу головами.

В своем ответном выступлении я назвал его речь речью для галичан, не нюхавших пороха, и поэтому так сентиментально реагирующих на такого рода выступление. Но «мы все приехали на съезд, уже не раз обстрелянные, и можем посоветовать слишком чувствительному Вернеру почаще принимать лавровишневые капли». Этого урока было достаточно. В такого рода демагогию они уже не пускались.

Труднее было сладить с центром, перекидывающимся то в одну, то в другую сторону, а чаще всего шедшим по линии: «Хотя, с одной стороны, нельзя не признаться, но, с другой — нельзя не сознаться»... Но самую большую трудность представляло то, что в каждой группе была целая гамма оттенков, не выпячиваемых в данный момент, но представлявших зародыши будущих разногласий. Были среди левых такие, как «Анна» — очень близкая к

большевикам по убеждению, весьма критически относившаяся и к ППС и ПСД и собиравшаяся по освобождению мужа из тюрьмы переехать в Россию на работу к большевикам. Был «Ян» — типичный «левицовец», то твердо проводивший линию на четкое разграничение с правыми, то относившийся весьма терпимо к их пропаганде даже в печати. Был инженер Шалиро — типичный меньшевик. Был талантливый юноша Фальский, в то время сверх-левый, а впоследствии опатриотившийся. К центру склонялась Гольде Стружецкая — блестящий оратор, которую толкал влево уже и для нее нестерпимый национализм правых, к счастью, постепенно оттолкнувший ее в стан коммунизма. При таком идейном разброде в ППС все зависело от руководства, а так как это руководство в связи с арестами менялось довольно часто, то менялись и партийные установки. Было же время, когда попал в члены ЦК такой человек, как Станислав Познер, полное ничтожество, самовлюбленный фразер...

Этот идейный разброд, как мне теперь кажется, и был причиной такой политической глупости, — иначе я этого оценить не могу, — как то, что, окончательно устранив на VIII съезде правых от руководства, мы целиком отдали в их руки боевую организацию, поставив во главе Иосифа Пилсудского. Таким образом, наша боевая организация очень скоро превратилась в партию в партии с другой, чем основная партия, идеологией, со своим центром, со своей фракционной дисциплиной. Боевая организация не преминула использовать эту политическую наивность «левых». В ней проявилось характерное для военщины пренебрежительное отношение к штатским «шляпам». Противопоставлялась «geba bombe» — бомбе, «боевое действие» — «пропагандистской болтовне». Мелкие террористические акты, ограбление правительственных касс были не только постоянным явлением, но рассматривалась как своего рода упражнения, как подготовка боевиков к будущим боевым действиям. Это дело в значительной степени осложнилось тем, что подвергавшиеся нападениям кассы охранялись солдатами, многие из которых были распропагандированы. Не предупрежденные, эти солдаты не могли отличить политических экспроприаторов от простых грабителей и оказывали сопротивление, на которое боевики отвечали выстрелами. Были случаи, когда боевики убивали при этом нами же распропагандированных солдат. Это делалось в то время, когда не была еще потеряна надежда, что вслед за московским восстанием последуют другие, и, готовясь к вооруженным выступлениям, необходимо было все силы употреблять на привлечение на сторону революции солдат. Никакие убеждения не действовали на правых. Когда на одном собрании я выступил по этому поводу против Пилсудского и настаивал на необходимости координации действий боевой и военной организаций, Пилсудский в своем ответе дошел до пределов цинизма:

— Я всю жизнь грезил о войне с москалями, а Болеслав (тогдашняя моя кличка) рекомендует мне объединиться с ними.

И он осуществлял свои грезы, ни в малейшей степени не считаясь с партийными директивами. Уже после всех предупреждений последовало нападение на поезд на станции Рогово, причем бомба была брошена в вагон, в котором находились сопровождавшие этот поезд солдаты. Только тогда мы решились предпринять решительные шаги. И не потому, что это было грубейшим нарушением партийной дисциплины. При тогдашней нашей терпимости мы бы, пожалуй, и тут продолжали колебаться, но для нас стало ясно, что такими действиями парализуется наша работа в армии — работа, на которую возлагали надежды все действовавшие в государстве социалистические партии. Мы, по тогдашней терминологии, «приостановили Пилсудского и всю боевую организацию в действиях». Привыкшие уже к нашей безграничной уступчивости и терпимости, они в первый момент были огорошены, но на продолжительное время огоршить Пилсудского было невозможно. Он вскоре созвал на конференции всю боевую организацию, и она «единогласно» вынесла резолюцию протеста против действий ЦК. Дальше медлить было нельзя. В ускоренном порядке был созван IX съезд и на нем Пилсудский со всеми его сторонниками был наконец исключен из партии.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

### ОТНОШЕНИЕ К ПЕРВЫМ ДВУМ ДУМАМ

Как я уже упоминал, накануне декабрьского восстания правительством был опубликован «указ», устранивший около 75% рабочих от участия в выборах в будущую Думу. В Польше рабочий класс отнесся к этому «указу» приблизительно так же, как в свое время отнесся к булыгинской Думе. Этот «указ» казался всем подачкой имущим классам с целью привлечь их на свою сторону и обрести в них союзника для борьбы с рабочим классом. Этим объясняется то, что к предстоящим выборам в первую Думу в Польше все социалистические партии отнеслись так же, как отнеслись к выборам в булыгинскую Думу. Эти выборы бойкотировались<sup>1</sup>. Готовясь к новому боевому вооруженному выступлению, нельзя было участвовать в выборах в учреждение, создаваемое для того, чтобы изолировать пролетариат и двинуть против него те элементы, которые до сих пор, правда, исходя из своих классовых интересов, но все же до известной степени поддерживали политическую борьбу пролетариата, рассчитывая его руками выгрести для себя каштаны из огня. Царизм этих каштанов не давал, но туманно сулил их в будущем, и буржуазия, напуганная мощным движением пролетариата и нависшим над ней «красным призраком», должна была по расчетам самодержавия выбрать меньшее из двух зол и стать на его сторону.

Вполне правильно оценивая этот тактический ход самодержавия, рабочий класс не только Польши, но и всего государства, решил не допустить созыва Думы. Этим и объясняется выдвинутый лозунг бойкота Думы. Пролетариат готовился к новым боям. Участие в выборах отвлекло бы внимание от этой подготовки, могло создать какие-то иллюзии, что от Думы и через Думу

---

<sup>1</sup> Большевики и в бойкот вносили, правда, свои «оттеночки», предлагая принимать участие в выборе выборщиков, но не принимать участия в выборах депутатов. Но мы, как и ПСД, в данном случае ставили вопрос правильно.

можно достигнуть полностью того, чего пролетариат добивался в течение всего 1905 года. Этого нельзя было допустить. Но мы отлично понимали, что бойкот не должен быть пассивным, не должен выражаться в воздержании от участия в предвыборных собраниях. И не было такого собрания, на которое мы бы не являлись с тем, чтобы указать на цели, преследуемые царизмом, и звать к продолжению революционного натиска.

Иначе ставили этот вопрос правые. Они также высказывались за бойкот Думы, но по совершенно другим соображениям. Для них эта Дума была «чужой», «русской», принимать участие в которой позорно для поляков. Они, вполне разделявшие взгляды своих товарищей в австрийской и германской Польше, усердно добивавшихся мандатов в венский и берлинский парламент, проявляли патриотическую непримиримость, когда дело касалось «москаля». Таким образом, стремясь вместе с ними к срыву Думы, нам приходилось бороться и против них, и против некоторых своих товарищей, как «Балтазар» (Тадеуш Рехневский), бывший «пролетариатец», который все время отстаивал необходимость участия в выборах, но больше всего и прежде всего против национал-демократии. Только во время выборов в первую Думу она впервые предстала перед нами во весь рост. И тогда же стало ясно, что ни один из противников этой партии не сумел оценить ее могущества. Это не была мелкобуржуазная партия, как мы и тогда, и долгие годы спустя думали, сильная тем, что демагогически поддельвалась под тон каждой социальной группы. На деле национал-демократия оказалась подлинной буржуазной партией, поведшей за собою не только мелкую буржуазию, но и часть рабочего класса. Вела предвыборную кампанию и прогрессивная демократия, но это были только потуги, о которых можно было сказать: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней». На выборах она с треском провалилась, и представительство в Думе от всех десяти губерний тогдашнего Царства Польского осталось за национал-демократией. Социалистическим партиям не удалось провести бойкот именно потому, что национал-демократия вела усиленную кампанию за участие в выборах и оказалась победителем в борьбе, несмотря на то, что ее лидеры не фигурировали в избирательных списках, что на первый раз она выдвинула не Дмовских, а такие посредственности, как адвокат Новодворский и граф Тышкевич.

Если вскрыть социальную сущность кампании за бойкот первой Думы и против бойкота, то станет ясным, что ратовали за участие в Думе те, кто собирался посредством Думы войти в сделку с самодержавием против рабочего класса. Именно это делало победу национал-демократии особенно опасной. Мы отдавали себе отчет в том, что как вся Дума, так и польское представительство в ней может иметь силу, если только будут поддержаны массами, и поэтому напрягали все усилия, чтобы про-

демонстрировать, что рабочие против Думы. Правда, организованная нами демонстрация не удалась. В пролетариате уже чувствовалось сильное утомление и на наш призыв откликнулась только горсточка пролетариев, без труда рассеянная казаками.

Но, тем не менее, позиция наша в тот период была совершенно правильной. Первая Дума, вопреки нашим ожиданиям, не оказалась «царской», «казацкой» и «черносотенной». Учитывая настроение рабочих масс, отдавая себе отчет в том, что рабочее движение, придавленное в данный момент, не раздавлено и в любой момент может вспыхнуть с новой, еще большей силой, кадеты, игравшие в ней первую скрипку, выдвинули такие требования, какие, по их расчетам, могли расположить к ним рабочие и крестьянские массы.

Получилась довольно оригинальная картина. Самодержавие рассчитывало созывом Думы устроить рабочий класс, показать ему, что он изолирован, а кадеты своим участием в Думе рассчитывали устроить самодержавие тем, что им обеспечена поддержка рабочих и крестьянских масс, и таким образом добиться политических уступок в пользу буржуазии. Долго такая игра продолжаться не могла, и успевшее за это время оправиться от ударов самодержавие разогнало первую Думу, рассчитывая, что вторая Дума будет более податливой.

Положение в стране к этому времени изменилось и в связи с этим изменилось и отношение революционных социал-демократических партий к бойкоту Думы. Ленин, обосновывая необходимость бойкота Думы и правильность участия в выборах во вторую, писал: «Но, безусловно отвергая благодушные и близорукие покаянные речи<sup>1</sup>, отвергая глупенькое объяснение бойкота «молодым задором», мы далеки от мысли отрицать новые уроки кадетской Думы. Была бы педантством боязнь открыто признать и учесть эти новые уроки. История показала, что когда собирается Дума, то является возможность полезной агитации изнутри нее и около нее; что тактика сближения с революционным крестьянством против кадетов возможна внутри Думы. Это кажется парадоксом, но такова несомненно ирония истории: именно кадетская Дума особенно наглядно показала массам правильность этой «антикадетской», скажем для краткости, тактики. История беспощадно опровергла все конституционные иллюзии и всю «веру в Думу», но история безусловно доказала известную, хотя и скромную пользу такого учреждения для революции, как трибуны для агитации, для разоблачения «нутра» политических партий и т. д.». Такова была учитывающая всю сложность и конкретность обстановки позиция большевиков. Ее

---

<sup>1</sup> Меньшевики, которые пытались объявить ошибкой бойкот первой Думы.

разделяли и другие революционные социал-демократические партии, в том числе и наша ПСД.

Но мы, ППС, в руководстве которой были уже в это время левые, продолжали «на камне все той же позиции сидеть». Мы продолжали пропагандировать бойкот Думы.

Чем это объяснялось? Огромную роль здесь играло то, что наша тактика определялась не анализом конкретного положения, не основными моментами борьбы пролетариата в Польше и во всем государстве, а перипетиями нашей борьбы с правыми. Что бы мы ни предпринимали, что бы ни делали, всегда и всюду мы наталкивались, в буквальном смысле слова, на внутренне-го врага. Для правых то, что движение в России пошло на убыль, что на Свеаборг не последовало отклика, было радостным событием, доказывавшим, что в России революция немыслима, что вся революция 1905 года была только вспышкой.

— Вспыхнуло, закипело и потухло, — привел для характеристики «русской» революции один из правых слова Мицкевича.

Другой, говоря о революции в России, приводил последнюю сцену из «Wesele» («Свадьба») Выспянского, где все, словно заколдованные, кружатся, топчась на месте...

За этими словами следовали действия: ограбления, террористические акты. Надо было показать левым, что, в то время как их «хваленая» «русская» революция оказалась блефом, они, правые, в полной боевой готовности действуют, как подобает революционерам. Надо было себя перед массами противопоставить якобы сдающим позиции левым, уже помышляющим об участии в выборах в Думу. Мы были в плену этой демагогии. Деятельность правых держала нас как в тисках, и, сосредоточившись на мелочной борьбе с ними, мы упускали из виду важнейшие вопросы революционного движения. Готовясь к съезду, чтобы наконец избавиться от правого балласта, мы не готовились к обсуждению на этом съезде вопроса об участии или неучастии в выборах.

Важнейшим для нас вопросом в то время было избавление от правых... Они все время перед массами выступали как передовой боевой отряд будущей вооруженной борьбы, доказывая, что исключение их из партии предрешает поражение в боевой схватке с царизмом.

В массах еще жива была вера в новое вооруженное столкновение с царизмом, в восстание, которое не будет ограничиваться одним городом. И демагогические заявления правых находили отклик в пепезовских организациях. Поэтому мы были заинтересованы в том, чтобы им дать бой и на этом фронте убедить эти массы в том, что изолированная от всей партии боевая организация даже в боевых выступлениях уступает партии в целом. Для этой цели мы еще во время выборов в первую Думу решили без малейшего участия боевой организации и с

привлечением других организаций, входивших в состав партии, организовать прогремевший на весь мир увоз из тюрьмы «Павиак» десяти человек, приговоренных к смерти...

Ниже я привожу этот чрезвычайно яркий эпизод, описание которого первоначально напечатано в журнале «Каторга и ссылка», а затем вышло в четырех изданиях и переведено на многие языки. Яркость этого увоза затмила идейную борьбу, которую мы вели, выбила из их рук демагогический меч, которым они размахивали, но, конечно, не могла, как и всякий единственный эпизод, способствовать углублению сознательности масс, выработке правильного отношения к происходившей революции.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

### «НАША АМНИСТИЯ»

Когда народ вел бой с врагом,  
Вели жизнь в холе баре.

#### I

События 1905 и 1906 годов в Польше, в то время находившейся под властью русского царя, полностью подтвердили эти слова польской песни. Годами длилась борьба русского и польского пролетариата, море пролетарской крови было пролито, прежде чем обессиленное этими боями самодержавие, сознавая, что в открытом бою не выдержит натиска рабочего класса, решилось на ограничение власти царя, хотя бы только на бумаге, и, как гласил царский манифест, призвало «лучших людей» для участия в выработке законов.

В понимании царской бюрократии этими «лучшими людьми» были помещики, капиталисты, попы. А для того, чтобы в созываемую царем Думу не проникли рабочие и крестьяне, был издан закон, почти совершенно лишавший возможности рабочих пройти в депутаты Думы.

Этим не преминули воспользоваться классовые враги пролетариата. В революционных боях они и не думали принимать участия, но когда победа была одержана пролетариатом, они ринулись в избирательный бой, стремясь отстаивать в Думе свои классовые интересы.

Случилось то, о чем говорил К. Маркс.

Буржуазия, когда ей нужно, позволяет пролетариату проливать свою кровь для того, чтобы самой воспользоваться плодами пролетарской победы...

И она воспользовалась. О пролетариате, заставившем самодержавие пойти на уступки, она даже не упоминала. Наоборот. Она славословила кровавого Николая II, «давшего» конститу-

цию. Славословили его русские дворяне-помещики, капиталисты, попы; не отставали от них и их польские братья по классу. Русский царь, угнетатель Польши, сразу превратился в кумира польских помещиков и капиталистов. Все было забыто: и ряд восстаний, затопленных русским царем в крови, и сотни виселиц, на которых повисли герои восстаний, и муки каторжан, и глумления, и предательства. И неудивительно. Царь облегчил польским помещикам и капиталистам их борьбу с рабочим классом Польши. В России были рабочие курии, и рабочие хотя с трудом, но могли провести в Думу одного, двух депутатов. В Польше рабочей курии не было. Поле избирательной борьбы было для буржуазии очищено от ее классового врага, а для того, чтобы рабочие, преодолев все препятствия, не смогли по другим куриям провести своих кандидатов, была усилена деятельность царской охранки и скорострельных полевых судов. Победа буржуазии над рабочим классом была обеспечена, и в бой двинулись и крупные помещики, и капиталисты, и попы, одни как консерваторы, другие как либералы, третьи как радикалы — все как истые монархисты, готовые любой ценой поддержать «престол и отечество».

Всех этих господ весьма мало смущало то, что скорострельные суды в «конституционной» стране с еще большей энергией выносили смертные приговоры, чем в доконституционное время, что каждый день в Варшаве, Лодзи, Домброве и других городах палачи душили намыленными веревками лучших сынов рабочего класса. И не только не смущало, но даже эта кровавая оргия их не удовлетворяла. Они организовали свои дружины, которые бок о бок с царской опричниной нападали на революционных рабочих.

В цитадели, в глухом углу на берегу Вислы, скрипели виселицы, на фабриках и в рабочих кварталах юбагрля мостовые своей кровью рабочие, убиваемые из-за угла подосланными буржуазией убийцами.

А избирательная кампания шла своим чередом... Происходили митинги, открытые и закрытые собрания, выступали ораторы, произносили пламенные речи, зовя во имя отчизны поддержать их, их партии. Все социалистические партии в Польше принимали деятельное участие в избирательной кампании.

Использовать избирательную кампанию для углубления классового сознания и организации масс — таков был лозунг.

На всех митингах появлялись социалистические ораторы, и партийные бюро всех партий работали до усталости, до изнеможения, следя за тем, чтобы ни один митинг не остался без партийного докладчика.

Я как член ЦК дежурил в бюро.

Приходили товарищи, давали отчеты о собраниях, приносили записки от представителей районов, брали литературу, полу-

чали указания, где поймать оратора, и уходили, а вслед за ними приходили все новые и новые. Горячее было время.

Вошла испытанная партийка — товарищ «Юлия».

— Вам что?

— Вит просит вас притти к нему на свидание.

Я не верил своим ушам.

— Что?

— Вит просит вас притт к нему на свидание.

«Вит» (Валецкий) — испытанный партиец, бежавший из Сибири, член Центрального комитета, арестованный на собрании и сидевший в знаменитой тюрьме «Павиак», — меня, бывшего каторжанина, разыскиваемого полицией, нелегального, зовет притти к нему на свидание в тюрьму.

В первый момент это мне показалось диким.

Но звал «Вит», серьезный деятель, взвешивающий каждое слово, обдумывающий каждое решение. Если он зовет меня на свидание, то или у него такое дело, что вопрос рисковать или не рисковать снимается, или мое появление в тюрьме не так уж рискованно.

— Он вам не говорил, в чем дело?

«Юлия», сестра «Вита», во многом напоминающая брата, спокойно ответила:

— Нет. Он сказал только, чтобы вы пришли к нему вместе с нащей матерью в качестве родственника. Документы одного из родственников я вам на всякий случай доставлю завтра же сюда.

Кто-то вошел за инструкциями. «Юлия» ушла.

## II

На следующий день, вооруженный доставленными мне «Юлией» документами, я сопровождал старушку, мать «Вита», отправлявшуюся в «Павмак» на свидание с сыном.

Не могу сказать, что я без волнения перешагнул через порог этой тюрьмы, в которой в качестве каторжанина сидел за двадцать лет до этого.

Я не мог не сознавать, что малейшая случайность, какая-нибудь непредусмотренная, неожиданная встреча — и я застряну в этой тюрьме уже не как посетитель, а как житель.

Нас ввели в канцелярию. За столами строчили тюремные чиновники, по комнате то-и-дело пробегали тюремные надзиратели, одних заключенных уводили, других приводили, а по эту сторону перегородки, которой была отгорожена канцелярия от приходивших на свидание родственников заключенных, толпились посетители.

Мать «Вита» предъявила разрешение на свидание на имя ее и такого-то родственника.

Дежурный надзиратель, ничтоже сумняшеся, тотчас же отправился за «Витом» — и минутой спустя он уже стоял по ту сторону перегородки.

Сухо, кратко, деловито он разъяснил мне зачем меня вызвал.

В «Павиаке» сидело десять человек, приговоренных к смерти. Пока приговор не утвержден генерал-губернатором Скалоном, они будут оставаться в «Павиаке», но, для того чтобы совершить над ними казнь, их перевезут в Варшавскую цитадель. Время еще есть и тем, что их должны перевести в десятый павильон Варшавской цитадели, можно воспользоваться, чтобы их спасти.

Заподозреть «Вита» в фантазерстве было невозможно. Я это знал.

И, тем не менее, все, что он говорил, казалось мне такой фантазией, что вряд ли можно ее серьезно обсуждать.

Но «Вит» спокойно развивал свой план:

— Смотрителю надо отправить за подписью обер-полицмейстера Майера бумагу с извещением о том, что в таком-то часу явится в тюрьму жандармский ротмистр с соответственным конвоем за приговоренными к смерти арестованными такими-то и что к этому времени и арестанты должны быть подготовлены к отправке, и тюремная карета должна быть наготове. Подобрать людей для выполнения этого плана не трудно: смелых, решительных и, главное, находчивых людей — найдете. Ничего фантастического в этом плане нет, — добавил он спокойно, но категорически, словно догадываясь, какое впечатление его предложение произвело на меня. — Но надо торопиться.

Я был так ошеломлен этим предложением, что даже не возражал «Виту».

Умолк и он, но не надолго.

Тонкий психолог, он знал, чем возбудить мою активность, мое желание во что бы то ни стало осуществить этот план.

То было время, когда у нас внутри партии шла жестокая борьба между марксистами и... террористами-авантюристами, во главе которых стоял будущий диктатор Польши Иосиф Пилсудский, вскоре после этого исключенный вместе со своими сторонниками из партии за явно выраженное стремление использовать рабочее движение для националистических целей. Он в то время возглавлял боевую организацию и противопоставлял бомбу, террористические акты пропаганде и агитации, единичные выступления — массовым.

— Это надо сделать и можно сделать, — настаивал «Вит». — Кружок портных изготовит обмундирование, жестяники — блихи на шапки, военные подготовят «полицейских» или «жандармов». Только опираясь на всю партию в целом, можно это осуществить. Замкнутому кружку боевиков, оторванному от партии, с этим не справиться. А как это подействует на рабочие массы! Ведь приговоренные — это те самые рабочие, которые во время выступлений пролетарских масс на улице в связи с московским восстанием с оружием в руках защищали демонстрантов от налета казаков и жандармов.

— Все?

— Нет, есть среди них и один деревенский парень, во время кампании за бойкот школы убивший инспектора. Когда вручивший ему обвинительный акт прокурор сказал, что его ожидает смертная казнь, он вернулся в камеру и повесился. Его сняли с веревки, привели в чувство и сохранили для виселицы. Есть и приговоренные за убийство шпионов. Если их удастся увезти, это сильно поднимет настроение масс.

Я отдавал себе ясный отчет в трудности и опасности этого дела (Варшава была тогда на военном положении), но сознавал вместе с тем огромную положительную сторону успеха.

— Попытаемся.

«Вит» только и ждал этого заявления.

— Я уверен в успехе,— сказал он на прощание.— Да, еще одно. Смертникам об этом ни слова. Их волнение может быть замечено, и оно может провалить дело.

С этим я согласился, и мы попрощались.

### III

В тот же день я доложил на заседании Центрального комитета о своем свидании с «Витом».

Мое сообщение даже не произвело сенсации.

Меня не перебивали, дали возможность говорить, но, узнав в чем суть, подробностями уже не интересовались: до такой степени это им казалось фантазией.

— И это предлагает Вит? — с оттенком некоторого недоверия спросил степенный «Ян», один из виднейших членов ЦК.

Но неожиданно для всех проект «Вита» был горячо поддержан присутствовавшей на заседании «Анной».

Она не была членом ЦК только потому, что всякий раз, как выдвигалась ее кандидатура, она самым решительным образом ее отклоняла. Но она принадлежала к той категории партийцев, на которых можно было возложить самую ответственную и сложную работу в уверенности, что она ничего не упустит для выполнения возложенного на нее поручения.

— Это не так фантастично, как на первый взгляд кажется,— заявила она спокойно.

С мнением «Анны» считались. Ее заявление всеми было понято как предложение участия в этом деле.

— Во всяком случае нужно попытаться,— настаивал и я в ответ на скептические улыбки других членов ЦК.

Дел было много, времени зря тратить было нельзя, и они, чтобы отмахнуться от этих, по их мнению, фантастических планов, решили в ответ:

— Попытайтесь!

— Предлагаю,— заявил «Ян»,— возложить это дело на Болеслава (мой тогдашний псевдоним) и Анну и отпустить на это необходимые средства.

— И пусть нам от времени до времени докладывают о ходе дела, — вставил другой член ЦК — «Адриан».

— Незачем, — отмахнулся «Ян». — Предоставим это на их усмотрение.

Все предусматривающая «Анна» потребовала, чтобы я и она, пока дело не будет доведено до конца, были освобождены от других партийных работ.

Это уже пришлось менее по вкусу, но всё же было принято.

Мне трудно передать, что я в тот момент переживал. С одной стороны, в «Павиаке» томились в заключении десять человек, приговоренных к смерти, и жизнь их зависела от того, удастся ли осуществить их увоз. С другой — для осуществления этого увоза надо было такое же число находившихся на воле активных и самоотверженных партийцев подвергнуть такой же опасности и рисковать тем, что Скалону будет дана возможность вместо десяти виселиц воздвигнуть двадцать. А что если они, уже проникнув в тюрьму, очутятся в западне, тюремные ворота закроются за ними, и они даже с оружием в руках не смогут из этой западни вырваться? Ведь, кроме тюремных надзирателей и солдат караула, при первом выстреле тюремный двор будет заполнен сотнями солдат, которые прибегут в тюрьму на звук выстрела!

Варшава была в то время на военном положении. На каждом перекрестке улиц были выстроены цепи солдат, по улицам днем и ночью шмыгали казаки.

Повидимому, об этом же думала и «Анна».

Ее миловидное лицо, обычно бодрое, весело улыбающееся, в этот момент было отуманено какой-то грустью. Обычно живая, радостно встречавшая в бюро каждого, чтобы подробно расспросить обо всем, что происходило в районе, она в этот раз сидела молча, неподвижно, лишь кивком головы отвечая на приветствия.

От других дел мы были свободны, сидеть в бюро было незачем, и я поднялся, чтобы уйти.

«Анна» очнулась.

— А где и когда мы встретимся?

— Сегодня у вас в восемь часов вечера.

Мне надо было наедине продумать весь план, и я поторопился уйти.

#### IV

План «Вита», собственно говоря, не был планом, а лишь наметкой плана. План только предстояло еще выработать, предусматривая при этом все даже мельчайшие детали. И первое, что составляло основу плана, — это бумага за подписью обер-полицейстера. Сама подпись нас не смущала. Нам неоднократно

но приходилось ставить подпись обер-полицмейстера на пас-портных бланках. В этом мы уже так набили руку, что были мастерами. Но на каждой бумаге должен быть исходящий номер. Смотритель тюрьмы получал изо дня в день пакеты от обер-полицмейстера. Если выставленный нами на бумаге номер не будет соответствовать номерам на получаемых им бумагах, то это может возбудить сомнение, он снесется по телефону с ра-тушей (здание полиции), и из-за этой мелочи может все про-валиться.

На свидании с «Анной» я ей указал на это.

— Исходящий номер достанем, — сказала она бодро. — Тот же «Вит» там же в тюрьме узнает номера последних бумаг, а там накинем сотню-другую, и «исходящий» подойдет. Меня смущает другое. Не нравится мне проект заблаговременной отпра-вки бумаги. Надо действовать врасплох, не дать смотрителю ни на секунду одуматься. Я уже придумала, как это сделать. Тут пригодится и приобретенное вами в ссылке знание русского языка...

Это была уже не та «Анна», которая утром в этот день сидела в задумчивости, без движения. Сомнения и колебания рассеялись. Взявшись за дело, она преобразилась и вновь стала той «Анной», которую мы всегда ценили как необыкновенно смелую, энергичную революционерку.

— За час до прихода нашего «ротмистра» в тюрьму вы от имени обер-полицмейстера отдадите по телефону распоряжение все приготовить, предупредив его, что бумагу ему лично вручит ротмистр. — Так будет надежнее, — добавила она в заключение.

Мы приступили к обсуждению других деталей.

На следующий день «Анна» должна была снестись с предста-вителями портных и мобилизовать нужное количество опытных и надежных «работников и работниц илы».

Гораздо труднее был вопрос о том, кого привлечь в качестве полицейских и, в особенности, кого назначить «ротмистром». Вопрос осложнялся тем, что дело происходило в Польше, где даже люди, хорошо владевшие русским языком, говорили с поль-ским акцентом.

Мы наметили одного бывшего офицера. Высокий, стройный, с военной выправкой, прослуживший несколько лет в армии, он был как бы создан для роли «жандармского ротмистра».

— Вряд ли только он пойдет на это... — выразила сомнение «Анна».

Уже на следующий день я побывал у него. Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего.

— Что вы, это несомненный провал! Я кончать самоубийст-вом не собираюсь... Ни за что...

Сильно обескураженный этим ответом, я направился к другому, о котором мы накануне только вскользь упомянули в беседе.

Этим другим был «Юр».

Идейно он мало внушал нам симпатии. Сентиментальный романтик, типичный интеллигент, он весьма слабо разбирался в волнующих партию вопросах. Волны революции 1905 года толкнули его на революционный путь, но его увлекло не идейное содержание, а лишь внешняя форма. Он плыл по течению, причем для нас не подлежало никакому сомнению, что, как только спадет революционная волна, он прочно завязнет на мелкобуржуазной мели. Но в то время эта волна поднималась еще высоко.

Я ему вкратце передал, в чем суть. Он заволновался.

— Десять человек, говорите?.. Верная смерть. Вот что делают, мерзавцы!

Я терпеливо выслушал все восклицания, полагая, что он в конце концов перейдет к сути моего предложения. Но на его воображение больше подействовало сообщение о предстоящей казни десяти человек, чем проект их спасения. Он все повторял:

— Десять человек... Десять человек...

Я перебил его.

— Их можно спасти. Согласны принять в этом участие?

— Пойду, на все пойду! Мерзавцы!

Я объяснил ему, какая роль возлагается на него.

Он не возражал.

— А как вы с русским языком?

— Плохо...

Он перешел на русский язык:

С построением фраз еще можно было примириться, но акцент... Он то-и-дело ставил ударение на втором слоге от конца. И, тем не менее, за отсутствием другого подходящего кандидата, приходилось с этим примириться. Впоследствии, для того чтобы как-нибудь оправдать этот предательский акцент, мы этого вновь испеченного «жандармского ротмистра» сделали остзейским бароном и наименовали его «фон-Будбергом», не говоря уже о том, что мне как «спецу» по русскому языку пришлось заставить его зазубрить несколько фраз, которыми ему предстояло щеголять при исполнении возложенных на него необычных служебных обязанностей.

И смешно и печально было слушать, как он мучился, чтобы правильно и внушительно произнести панически действующее на нижестоящих чинуш слово «пошевеливайтесь».

— Ударение на четвертом слоге от конца! — восклицал он с недоумением. — Никогда я не смогу этого выговорить.

Но зато по своему внешнему виду он вполне подходил к предназначенной ему роли. Пробор на подбородке, широко в обе стороны расчесанная борода, очки в золотой оправе... Я

взглянул на него и представил себе его в синем жандармском мундире с погонами, аксельбантами, даже с орденом Станислава в петличке. Он подходил, полностью подходил...

Надо было подумать о «конвое», и я отправился к «Анне».

Назначение «старшого» имело не меньшее значение, чем назначение «ротмистра». В то время как «ротмистр» должен был иметь дело только с тюремным начальством, «старшой» должен был наблюдать, чтобы при сношениях «нижних чинов» под его управлением с тюремными надзирателями и стоявшими на часах солдатами были соблюдены все формы.

Роль «ротмистра» была в том отношении легче роли «старшого», что он имел дело с смотрителем тюрьмы, то есть с чином ниже, в то время как отношения между конвоирами, которые явятся за заключенными, и находившимися в тюремном замке надзирателями и часовыми были отношениями равных к равным. Мало того. У «ротмистра» не должно было быть никаких отношений с намеченными к увозу заключенными, а у должностных их конвоировать они были, и им предстояло при их приемке обращаться с ними не лучше, чем обращаются неподдельные конвоиры. За всем этим должен был наблюдать «старшой».

Но в данном случае мы с «Анной» действовали наверняка. Оба мы знали подходящего человека. Это был товарищ «Марцелий».

Спокойный, стойкий, уравновешенный, находчивый, сознательный, уже не раз в минуты опасности проявлявший полное хладнокровие, он всецело годился для этой ответственной и опасной роли. Явившись по нашему зову, он, не перебивая, выслушал то, что ему говорили, обстоятельно расспросил обо всем, что ему в плане казалось неясным, а затем без всякой присовки спокойно заявил:

— Согласен.

Вместе с ним в этот же день мы намечали будущих «конвоиров», вызывали их, договаривались. Рабочие по-рабочему отнеслись к нашему предложению:

— Надо выручать, согласны.

Только один «Лысый», увлекающийся, экспансивный, уже перед самым уходом заявил:

— Одно условие, товарищи: после увоза я буду внутри каретки и первый им объявлю, что мы увозим их на свободу.

— Валяй, — со смехом приняли другие его предложение.

## V

Подготовка подвигалась вперед. Самый процесс работы прищипоривал нашу энергию.

Я снесся с нашей военной организацией, и она немедленно выделила офицера-инструктора, который должен был в самый короткий срок обучить будущих «конвоиров», да и самого «рот-

мистра» всему, что по военной линии им может понадобиться, и перед самой отправкой проверить, нет ли какого изъяна в форме. История провалов побега из-за несоблюдения установленной формы нам была знакома, и мы заранее принимали меры, чтобы с этой стороны полностью себя обезопасить.

Инструктору я дал явку на квартиру, куда должны были собраться все его будущие питомцы, и в этот же вечер, явившись туда для проверки, все ли в порядке и двигается ли дело, я был свидетелем единственной в своем роде муштровки.

И инструктор и все инструктируемые, кто босиком, кто в одних носках, но все без сапог, для того чтобы «шагание» двенадцати человек не производило никакого шума, по команде то поворачивались, то сдвигали ряды, то шагали гуськом, один за другим, то строились по-двое, по-четверо. Все это проделывалось ими молча, сосредоточенно, и только полушопотом производимая команда нарушала тишину.

Мое появление вызвало на несколько минут перерыв в занятиях. Офицер-инструктор до такой степени проникся своей ролью, что при моем появлении скомандовал:

— Смирно!

Но тут же хватился и под дружный хохот всех участников учения поправился.

— Нет, нет. Вольно!

Не утерпела и «Анна». И она явилась проверить, как идет учение. Офицер нас успокоил:

— Превосходно усваивают. Прямо диву даешься.

Эта сторона дела была налажена.

Мы с «Анной» удалились. Я взял ее под руку, и мы, ничем не отличаясь от сотен встречавшихся нам воркующих парочек, направились к ней на квартиру, не вызывая никакого сомнения в рассыпанных по всему городу цепях солдат, в полицейских и жандармских обходах.

И по дороге, и на квартире «Анны» мы подробно проверяли, что уже сделано, что еще предстоит сделать, придерживаясь при этом того хронологического порядка, в каком должен будет происходить увоз заключенных.

Бумагу с перечислением имен, отечеств и фамилий всех заключенных за подписью обер-полицейстера изготовляло наше паспортное бюро. На другой день мы должны были получить ее. Остановка лишь за исходящим номером и за датой отправления, которые должны быть написаны теми же чернилами и тем же почерком, что и подпись обер-полицейстера. Запрос относительно очередных исходящих номеров уже передан в тюрьму, и за этим задержки не будет. Бумагу эту вручит «фон-Будберг», а за час до прихода наших в тюрьму я от имени обер-полицейстера передам по телефону приказ смотрителю о подготовке заключенных к отправке. Получив такой приказ от «самого Майера», смотритель его проверять не станет, тем более, что

в приказе по телефону ему будет сказано, что письменное требование об отправке будет ему лично вручено жандармским ротмистром.

На этом мы окончательно остановились.

Обмундирование и вооружение заказано и будет доставлено на следующий день на ту квартиру, из которой отправится в тюрьму стряд мнимых полицейских.

В отношении военной выправки от полицейских требовалось гораздо менее, чем от жандармов; сварганить полицейскую форму тоже было легче, чем жандармскую. А так как по наведенным нами справкам случаи конвоирования полицейскими смертников были в цитадели довольно часты, ввиду того, что жандармы были перегружены работой по ловле нового человеческого материала для виселиц, то мы и остановились на том, чтобы преобразить наших товарищей не в жандармов, а в полицейских. Было учтено и то, что рабочим тоже легче будет разыграть роль городских, чем жандармов.

Предстояло решить вопрос о квартире. Это была нелегкая задача. Квартира, из которой выходят десять полицейских во главе с жандармом, неизбежно должна обратить на себя внимание не только жильцов всех соседних квартир, но и всего окрестка. Как ни часты были обыски и аресты (а они в то время носили повальный характер), они все же вызывали сенсацию, в дачных условиях в высшей степени опасную для дела и для нас всех. Скрыть от населения Варшавы факт увоза десяти смертников из тюрьмы власти не смогут, если бы даже хотели. А как только по городу разнесется весть об увозе их фиктивными полицейскими, этот факт будет сопоставлен с уходом из квартиры неизвестно откуда и как появившихся в ней полицейских и очень легко будет установить, что именно эта квартира играла в деле определенную роль.

Не подлежало сомнению, что обнаружение этой квартиры может дать охранке нить, по которой она доберется до клубка, и тогда последует только замена одних смертников другими, приговоренными за их освобождение.

Благодаря этому вопрос о квартире, о которой мы вначале совершенно не думали, стал серьезнейшим вопросом, от которого зависел удачный исход всего этого рискованного и опаснейшего предприятия.

Этот трудный вопрос удалось решить только благодаря тем охранным мерам, какие предпринимала в то время полиция в связи с военным положением. Одной из этих мер было распоряжение о том, чтобы во всех домах с проходными дворами были и днем и ночью открыты только одни ворота.

— Квартиру надо будет устроить в одном из домов с проходным двором, — предложила «Анна».

Я не понял, в чем суть этого предложения.

— Через закрытые ворота надо будет их незаметно выпу-

скать, а ключ к этим воротам надо сделать завтра же, сняв предварительно с замка восковой слепок.

Она знала такую квартиру на Иерусалимской улице на первом этаже. Ход в нее вел прямо из ворот.

— А хозяева?

— Свои люди, вполне благонадежные. Я этим займусь завтра с самого утра и слесаря заодно с собой захвачу.

Она была неутомима. При первой встрече со мной, на следующий день, она сообщила мне, что уже все устроено, и предложила мне самому проверить, отвечает ли эта квартира своему назначению.

Я проверил. Лучшего нельзя было желать. Этим и был решен этот самый сложный вопрос. «Анна» радовалась как ребенок, подробно рассказывая, как ловко можно будет незаметно выпустить из квартиры одного за другим.

— Дворник, понимаете, в тех воротах. Через эти ворота никто не ходит.

Она чуть не прыгала от радости.

— Ну, давайте теперь рассмотрим по очереди, что еще нужно...— как-то сразу перешла она к делу.

— До проникновения в тюрьму все налажено, но вот обратный путь их для меня неясен...

Мы занялись этим вопросом и сразу наткнулись на новое затруднение.

— Сдадут их, — мы иначе как «они» не говорили о смертниках, — наши поместят их в тюремной карете. Это все ладно. Но ведь кучер-то тюремный. Что с ним делать? Ведь у него, когда он заметит, что ему конвойные указывают путь не по направлению к цитадели, могут появиться сомнения, он может остановить лошадей на первом же перекрестке, где стоит цепь солдат, и тогда все провалится. И наши погибнут и освобожденные.

Мы уже ранее решили каждому из «полицейских» дать запасной револьвер для снабжения ими освобожденных, но оказанное двадцатью людьми вооруженное сопротивление, когда весь город был наводнен в то время зверски настроенными «вольными» и казаками, заранее обречено на неудачу.

Я предложил усыпить кучера соответственно приготовленными папиросами, исходя из того, что обезвреживание кучера должно быть произведено без малейшего шума.

— А если он не курит?

— Пригрозить.

— А если он не испугается, зная, что на каждом углу у него вооруженная защита?

Мы вызвали на совещание «Марцелия», будущего «старшего».

Его не смущал этот вопрос.

— Пустое! Двадцать человек уж как-нибудь справятся бесшумно с одним.

Ни меня, ни «Анну» этот ответ не удовлетворял.

— В этом деле все детали должны быть предусмотрены.

— Ладно. Мы обсудим этот вопрос сами. Можете быть спокойны. Положитесь на нас. Что-нибудь придумаем. Это не так уж трудно. Меня беспокоит другое: куда мы их завезем?

— За город, — ответили мы в один голос с «Анной».

— За город-то за город, но куда именно? Ведь место-то должно быть закрытое, загороженное... Кареты в открытом поле оставить нельзя, да и этого злополучного кучера надо будет оставить в каком-нибудь таком укромном месте, чтобы он не скоро оттуда выбрался.

«Марцелий» был прав. Мы об этом раньше не думали.

— У вас есть какие-нибудь предложения по этому поводу? — обратился я к нему с вопросом.

— Нет. Думал, думал, но ничего не мог придумать.

На нас навалилось новое и крупное затруднение. Неужели из-за этого лопнет все предприятие?

— Должен найтись выход, — прервала «Анна» воцарившееся молчание.

Но «должен» — это еще не значит, что найдется.

— Отложим этот вопрос до завтрашнего утра, авось за ночь что-нибудь придумаем.

Это мое предложение было принято.

— А пока обсудим дальнейшие моменты, — предложила «Анна». — Тюремная карета прибывает на место...

— В нее мы вталкиваем кучера. — перебил ее «Марцелий», — и запираем на ключ. Пока откроют дверцы и его высвободят все-таки немного времени будет выиграно.

— Верно. Но там же «полицейским» предстоит превратиться в штатских.

— Это легко. Под полицейской формой каждый будет одет в штатское.

— Это-то легко, но с оружием что вы сделаете?

Это был трудный вопрос. Проходящих по улицам, в особенности ночью, в то время по нескольку раз обыскивали. Обнаружение оружия решало судьбу человека.

Допустить, чтобы люди после увоза заключенных из-за двадцати револьверов попали в руки жандармам, было по меньшей мере дико. Выход напрашивался сам собой: как ни дорого для партии оружие, придется его бросить.

Но такое решение было решением без хозяина.

— Мы об этом уже говорили, — сообщил «Марцелий», — но публика единогласно отвергла это. Так прямо и говорят: «Оружия не сдадим».

Со стороны рабочих, тосковавших по оружию еще с январских дней и в конце концов приобретающих его по временам с большим риском и с большими жертвами, такой ответ был для нас вполне понятен. Но не менее ясно было для нас, что

допустить это и платиться жизнью за сохранение оружия, которого все же не сохранишь, нельзя.

— Придется уговорить их.

— Уговаривал. Никакие доводы не действуют. Напоминал о дисциплине — и слушать не хотят.

Новое затруднение... Сколько таких затруднений еще предстоит решить впереди!

— Ладно, — решила «Анна». — Чем рисковать всеми, рискуем одним. Освобожденных придется везти за город. Когда установим место, куда их повезем, то туда же должен притти один из рабочих этого района, живущий вне городской черты, и забрать все двадцать револьверов к себе, а оттуда мы их уже как-нибудь сплавим. Давайте дальше. Для каждого из освобожденных должна быть отведена квартира, где он сможет привести себя в приличный вид, переодеться, побриться. На этих квартирах должны уже ждать железнодорожники и моментально, первыми поездами — все равно, товарными или пассажирскими — направлять их до границы. Прежде чем жандармы хватятся, они должны быть если не на самой границе, то во всяком случае далеко. Квартиры уже намечены, железнодорожники подобраны, костюмы приготовлены. Я купила уже и бритвенные приборы.

— А «полицейские»?

— Кое-кого, по крайней мере на время, тоже сплавить придется. Мы ведь даже представить себе не можем, какую кутерьму поднимут после этого жандармы. Пойдут повальные обыски и аресты... Только ни в чем не заподозренные могут остаться. Для остальных тоже нужны квартиры, и им не мешает уехать.

Мы еще долго обсуждали все эти детали.

## VI

Во всей Польше победителями на выборах оказались национал-демократы, в Варшаве был избран в Думу Франц Новодворский, приобретший широкую известность своим выступлением там по вопросу об амнистии. Тюрьмы были настолько переполнены, что кое-где не находилось места, чтобы лечь хотя бы на полу, а пан Новодворский, вынужденный ввиду того настроения, какое царило тогда в России, выступать и от имени Польского кола в Думе с поддержкой требования амнистии, сослался на то, что по дороге в Таврический дворец он увидел тюремную карету, в которой находились арестованные по политическим делам. Он только в царской столице обратил на это внимание, ужасы польских тюрем прошли мимо него.

Это было не случайно.

Классовая борьба в Польше была гораздо резче, чем в России. Амнистия борцам за освобождение рабочего класса отнюдь не отвечала интересам польской буржуазии, и если Новодворский,

выступая по этому вопросу в Думе, сослался не на переживаемое Польшей, а на единичный факт, на который он наткнулся в Петербурге, то этим он подчеркнул, что лишь поддерживает требование русских коллег по Думе, но не больше.

В России требование амнистии ставилось кадетами если не решительно, то во всяком случае демонстративно, с целью расположить к себе массы. В Польше об амнистии упоминалось лишь вскользь.

Но рабочий класс и тут и там знал цену царской амнистии, знал, что «Ни бог, ни царь и ни герой» ничего не дадут ему, и готовился вырваться из капиталистического рабства «своею собственной рукой».

Но час «последнего, решительного боя» еще не пробил. Враг еще продолжал глумиться над рабочим классом, из тюрем доносились стоны пытаемых и избиваемых.

Пока длилась предвыборная кампания, наблюдение за ней и «предупреждение и пресечение» ослабляло натиск полиции в других областях; сам генерал-губернатор Скалон был в то время так поглощен надзором за тем, чтобы выборы шли по определенному руслу, что ему некогда было перечитывать дела и утверждать приговоры. Да он и не торопился, зная, что жертвы все равно не ускользнут.

Это нам было наруку, и нужно было использовать именно время выборов. Надо было торопиться и прежде всего решить вопрос о том, куда мы направим карету с заключенными. В этой стадии это был самый трудный вопрос. Было ясно, что везти заключенных придется за город, и мы с «Анной» ранним утром отправились на рекогносцировку.

День был ясный. На небе ни облачка. Ранняя прогулка за город воркующей парочки ни в ком не могла вызвать подозрения. Город только что просыпался. Мы встречали по пути рабочих, отправлявшихся на фабрики и заводы, крестьянские телеги со всякой живностью, направлявшиеся в центр города. По мере приближения к окраине мельчали здания, а затем пошли огороды: гряды картофеля, капусты, моркови, свеклы. Немного поодаль стоял высокий деревянный забор. Мы бы по всей вероятности не обратили на него внимания, если бы в этот момент не распахнулись ворота и не загрохотала телега, нагруженная огурцами. Сидевший на телеге человек остановил лошадь, шмыгнул в ворота, а затем через узкую, тут же сбоку находившуюся калитку вновь вышел и аккуратно запер калитку на замок.

«Анна» нервно схватила меня за руку.

— Вот, вот! Смотрите!

Да, это было то, что нам нужно.

Человек сел на телегу, щелкнул бичом, и телега покатила по направлению к городу, а мы медленно подошли к забору.

— И недалеко,—шопотом, словно кто-нибудь мог подслушать, в волнении говорила «Анна».

— И вначале то же направление, что в цитадель.

Надо было произвести внутренний осмотр, но забор был высокий, плотный, нигде ни щелочки. Мы осмотрели его со всех сторон, однако это ничего не дало.

— Только бы внутрь проникнуть,—волновалась «Анна». — Ворота запираются изнутри. Повидимому, перекладка, которую можно будет сдвинуть, но как проникнуть внутрь? Ведь это какая-то крепость.

Но я ее почти не слушал. В одном месте к забору плотно прилегало дерево, ветви которого свешивались на ту сторону огорода. Я указал на него «Анне». Вход в крепость был найден.

— А если там цепная собака? Она поднимет лай, и тогда...

Но это не могло служить препятствием.

— Кто же из наших живет поблизости? — напрягала «Анна» память. — Погодите... Погодите... Да «Стефан» живет тут недалеко. Да, да. Пойдемте к нему.

Мы пошли и, к счастью, застали его дома.

Наше появление в такое необычное время обеспокоило его.

— Что случилось?

— Ничего. Дело есть.

Он с любопытством уставился на нас.

— Тут, недалеко от вас, не то огород, не то фруктовый сад, со всех сторон огороженный высоким забором. Нам непременно нужно знать, есть ли на перекладке внутри замок или она просто задвигается в скобку.

Он недоумевающе глядел на нас. Такого рода «партийных поручений» ему еще не давали.

— Зачем вам это?

— Узнаете после... Там есть дерево, по которому можно взобраться, — пояснила «Анна». — Но это надо сделать скоро.

— Можете это сделать?

— Конечно, могу, но ничего не понимаю.

— И не надо понимать, можете на нас положиться. Это очень важно.

Нужную справку мы получили раньше, чем предполагали.

Он ушел в другую комнату, откуда донесся до нас его бас: «Янек!» Минуты через три он вернулся.

— Никакого замка на перекладке нет.

— А цепная собака там есть?

— Это вам тоже надо знать? Что это вы, малину воровать собираетесь? — пошутил он, улыбаясь. — Янек!

— Какой-то всезнающий Янек, — сострила «Анна».

— Нет собаки, — сообщил «Стефан».

— Откуда вы узнаете все это?

— Сынишка у меня постоянно туда лазает. Того и гляди, голову себе свернет. Все за малиной да за крыжовником.

Мы перешли к делу и предложили ему точно изучить всю обстановку.

— Зачем?

— Вот зачем...— И мы посвятили его в свои планы.

— Вам придется быть на огороде, когда наши подъедут, сразу распахнуть ворота и, как только карета въедет во двор, закрыть их. Увоз состоится ночью. Револьверы надо будет перебросить через забор поблизости от дерева, а вы, выпустив наших и закрыв ворота, перелезете через забор и отнесете оружие к себе... Но как вы выберетесь из огорода? — вдруг перебила «Анна» самое себя

— Ну, Янек перелезает, а я не перелезу?

— А как у вас с казаками и солдатами?

— К нам в рабочие поселки они неохотно забираются. Мало их.

— Ну, ладно. Оружие мы от вас в тот же день сплавим.

«Анна», несмотря на всю свою конспиративность, до того расчувствовалась, что у нее явилось желание приласкать Янека, так неожиданно осведомившего нас о всем необходимом и выручившего нас из большой беды. Но я воспротивился этому... Не надо... Мальчик вовсе не должен знать о нашем визите.

— Мы вас заранее предупредим, когда вам надо будет дежурить на огороде.

И, попрощавшись с «Стефаном», мы направились обратно в город.

— Как будто все налажено. — подвела «Анна» итог нашей экскурсии.

— Как будто все. Надо будет доложить комитету.

Наше появление на заседании Центрального комитета вызвало некоторое удивление. С того момента, как ЦК отнесся так скептически к проекту «Вита», мы на заседаниях не появлялись. Все были уверены, что мы пришли, так сказать, с повинной, с признанием, что мы увлеклись фантазией.

— Ну что? — ехидно спрашивали отдельные члены ЦК.

Мы не торопились с ответом и терпеливо ждали, пока все соберутся.

— Услышите.

Когда все явились, я начал свой доклад с требования, которое сразу приковало внимание всех.

— Надо, чтобы Цека заранее составил текст воззвания к рабочим с извещением об освобождении десяти смертников. Предлагаю это воззвание озаглавить «Наша амнистия».

— Не увлекаетесь ли вы? — с оттенком явного сомнения в голосе бросил вопрос «Ян». Но в этом вопросе уже не было прежней уверенности, что весь план — сплошная фантазия.

— Как будто нет... Проверьте... За этим мы и пришли.

И я подробно, переходя от одного пункта к другому, доложил о всех наших приготовлениях.

Прежние скептики теперь уже иначе отнеслись к делу, убедившись, что это именно дело, а не фантазия. Ставились деловые вопросы. Вдумчивый «Ян» сразу нащупал слабое место,

— А с кучером, с кучером что вы сделаете?  
Мы передали содержание нашей беседы с «Марцелием».

Их также не удовлетворял его ответ, как и нас.

— Надо его вызвать. Это самое слабое место.

Дальнейшее обсуждение вопроса было отложено до прихода «Марцелия», за которым отправилась «Анна». Он явился раздраженный тем, что его отвлекают от дела «такими пустяками».

— Чорт знает что! Выполнение такого рискованного и ответственного дела вы решаетесь доверить нам, а обезврежение какого-то плюгавенького тюремного кучера считается настолько серьезным вопросом, что весь Цека занимается этим. Я же сказал, что мы это берем на свою ответственность.

Заметив, что этот ответ нас не удовлетворяет, он еще более раздраженно добавил:

— Ну, что я вам могу сказать? На козлах по обе стороны кучера сядут наши. Он будет посредине. Таким образом, контроль за каждым его движением будет неустанный. А там видно будет. Найдется же по дороге глухой переулочек, где можно будет сделать с кучером все, что понадобится.

Он был так уверен в этом, что его спокойная уверенность передалась и другим.

— Ну, ладно,— подвел итоги «Ян».— Что же еще нужно?

— Вот что. Надо, чтобы Болеслав от имени Цека перед самой отправкой в тюрьму сказал нашим несколько теплых слов и успокоил насчет их семей в случае неудачи предприятия. Это особенно важно в отношении Юра. Он сентиментален — и такие «напутствия» с указанием на «подвиг» на него подействуют весьма благотворно.

«Марцелий» был прав, но в тот момент настроение всех, несмотря на то, что закончилась лишь подготовительная работа, было настолько бодрое, что я, с серьезным видом, сказал ему:

— Я и вам прочитаю напутствие.

— А я вас пошлю к чорту.

Этим вопрос был исчерпан.

Оставалось определить срок и приступить к осуществлению.

— Послезавтра открытие Думы. Вот ловко было бы, если бы мы к этому времени успели с увозом, — мечтала «Анна».

Весь этот день мы посвятили тщательной проверке всех деталей.

Все было готово.

Вечером мы присутствовали при генеральной репетиции. «Ротмистр», «старшой», «полицейские», одетые в форму, поглядывали не без насмешки друг на друга.

— Только рожи подгуляли, — сострил офицер-инструктор.

«Рожи» действительно мало подходили к ролям. Кто-то предложил прибегнуть к гриму, но остальным это показалось излишним.

— Сойдет и так. Пустое! Рожи уж наверное проверять не станут. Не до того им будет.

— Еще бы: пошевеливайся! — на этот раз правильно произнес «Юр». — Это их заставит побегать. Некогда будет всматриваться в лица.

— Ну, товарищи, — с заметной торжественностью в тоне прервала «Анна» эти шутки, — завтра вечером думаем...

Ей не дали закончить.

— Чем скорей, тем лучше. У нас все готово.

— Завтра, так завтра, — заявил «Марцелий».

И сразу все умолкли... Так на момент смолкают солдаты перед решительным боем.

Я воспользовался этим моментом.

— Товарищи! Мы все уверены в успехе, но, передавая от Цека привет и пожелание успеха всем участникам, я уполномочен Цека заявить вам, что, как бы ни обернулось дело, попечение о ваших семьях партия берет на себя. Я, лично наблюдавший все время за всеми приготовлениями, не колеблясь заявлю — успех несомненен, и если Цека велел мне сообщить вам о принятом им решении, то только потому, что кое-кто из вас, считая участие в этом деле своим партийным долгом, все же мучается вопросом, что будет с его семьей в случае, если он погибнет. Но вы можете быть спокойны. Вы выполняете свой долг по отношению к партии, партия выполнит свой долг по отношению к вам.

Меня окружили, жали руки.

У «Анны» блеснули слезы на глазах.

Офицер-инструктор, явно взволнованный, не проронил ни слова и только молча пожимал всем руки.

А одиннадцать человек, которым предстояло на следующий день бросить на карту свою жизнь, повторяли:

— Справимся... Освободим... Вот-то будет радость!

## VII

Долго ожидаемый день настал. Тягостный, бесконечно длинный. Все было десятки раз проверено, все было готово, заполнить время до позднего вечера, когда предстояло приступить к делу, было нечем.

В семь часов вечера мы собрались в квартире на Иерусалимской улице. Все уже были в сборе, одеты в форму.

Явился и инструктор еще раз проверить, все ли в порядке.

Разговор, несмотря на все попытки, не клеился, и время тянулось томительно долго.

Прошло восемь. Только восемь. Еще два часа ожидания.

В десять я встал с места.

— Ну, готовьтесь. Еду телефонировать. Не позже, чем через полчаса, я буду обратно, и тогда вы отправитесь.

«Анна» выпроводила меня и закрыла за мною ворота.

Я отправился на заранее условленную квартиру и по телефону вызвал смотрителя подследственной тюрьмы.

— Кто у телефона?

— Смотритель подследственной тюрьмы.

— С вами говорит обер-полицмейстер.

— Слушаюсь, ваше превосходительство.

— Не позже как через час к вам явится жандармский ротмистр фон-Будберг с моим предписанием. К этому времени должны быть подготовлены к отправке в десятый павильон Варшавской цитадели арестанты... Запишите точно фамилии.

— Слушаюсь.

Я перечислил фамилии всех десяти смертников.

— Записали?

— Так точно, ваше превосходительство.

— Прочтите.

Смотритель прочитал.

— Верно. Действуйте без замедления. К его приходу все должно быть готово. Приготовьте тюремную карету. Конвоя не надо. Он приведет свой конвой. Все запомнили?

— Так точно.

— Смотрите, чтобы не было задержки.

— Слушаюсь. Все будет исполнено.

Первый шаг был сделан. Я побежал обратно на Иерусалимскую.

Рукопожатие без слов, но красноречивее всяких слов.

«Анна» остановилась в воротах и поодиночке выпускала «полицейских» на улицу. Я потушил свет в комнате и прилип к окну, наблюдая, как они проберутся на середину.

Пробрались, выстроились, «ротмистр» отдал команду, и они, отбивая шаг, как заправские солдаты, пошли.

«Анна» вернулась в комнату. Она была взволнована.

— Главное упустили... Только теперь вспомнила об этом.

— Что же?

— Как они будут называть друг друга? Как к ним будет обращаться ротмистр или старшой?

— Успокойтесь. Инструктор это предусмотрел. У каждого есть своя фамилия.

Она ожила, но от волнения у нее подкосились ноги, и она чуть ли не в полном изнеможении опустилась на стул.

Не надолго. Не прошло и нескольких минут, как она встала, вызвала хозяйку и уже спокойно начала распоряжаться.

— Проверьте, не оставили ли они чего, и сейчас же приведите все в порядок... Чтоб ни малейшего следа не осталось.

— Успокойтесь. Приберем.

— Мы уходим.

— Анна, я... — хозяйка замялась.

— Что? Впрочем, знаю, знаю... Хотите знать, как все обошлось?

— Да.

— Завтра сообщу.

Мы попрощались и ушли на квартиру, куда должны были поступать все сведения. Дежурить предстояло всю ночь.

## VIII

Наши отправились в тюрьму. Там их уже ожидали, и как только «фон-Будберг» передал ключнику пакет, ожидавший на крыльце «старшой» зычно крикнул:

— Открывай!

Ворота открылись. «Фон-Будберг» торопливым шагом поднялся по ступенькам на крыльцо тюрьмы и направился в канцелярию; конвой остановился перед зданием тюрьмы. Тут же стояла карета с кучером на козлах.

Еще с крыльца «фон-Будберг» крикнул старшему надзирателю:

— Зови поскорее смотрителя!

— Уже ждут в канцелярии, ваше высокоблагородие.

Навстречу вошедшему «ротмистру» поднялся смотритель.

— Все готово?

— Так точно. Выведи арестантов!—крикнул он «старшому».

На пакет, врученный «фон-Будбергом», смотритель почти и не взглянул.

Он вскрыл конверт и, приобщая бумагу к делу, сообщил:

— Его превосходительство уже телефонировали.

— Знаю,—сухо ответил «ротмистр».

Он получил от нас указание не вступать ни в какие разговоры и третировать тюремное начальство сверху вниз.

В канцелярию вбежал зачем-то «старшой».

— Пошевеливайтесь!—крикнул «фон-Будберг».

• «Старшой» исчез.

— Уже выводят, — успокаивал смотритель.

— Бумага о сдаче их мне заготовлена?

— Так точно.

— Давайте.

На лестнице слышались шаги. Взяв бумагу, он вышел в сени.

— Один, два, три... — аккуратно проверял он выводимых.

— Прикажете в канцелярию их вести?

— Не надо. Ведите прямо во двор.

На секунду он вернулся в канцелярию. Смотрителем бумага была подписана: под словом «сдал» он своей подписью удостоверял, что «принял».

В течение этих нескольких секунд «конвой» на дворе выстроился в два ряда, образуя коридор от крыльца до кареты. Арестантов вывели на крыльцо не сразу, а поодиночке, с промежутками, для того чтобы было время усадить в карету.

Выводимые знали, что их ведут на казнь, но то ли они уже

выклись с мыслью о предстоящей смерти, то ли уже дошли до такого состояния, что предпочитали смерть ожиданию изо дня в день, с минуты на минуту рокового конца, но они, окинув шпалеры «полицейских» враждебным взглядом, спокойно разместились в карете.

Только один, Юдыцкий, энергичный парень, выйдя на крыльцо, начал оглядываться во все стороны, словно ища щелочки, через которую можно было бы прошмыгнуть за ворота.

Но «старшой» оказался на высоте положения.

— Ну, ну, смотри у меня!

Он схватил Юдыцкого за плечо и грубо подтолкнул к карете. На крыльце появились «ротмистр» со смотрителем и издали наблюдали за размещением арестантов.

— Буйные? — спросил «ротмистр».

— Есть и буйные...

— Иванов!

«Старшой» вытянулся в струнку.

— Пять человек внутрь, двое на козлы, ты и еще двое сзади.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие!

«Полицейские» разместились согласно приказанию, «старшой» ждал дальнейших распоряжений.

— Я поеду вперед и у ворот цитадели буду дожидаться.

— Слушаюсь!

— Трогай!

Ворота открылись, и карета медленно выкатилась на улицы. Ротмистр», удостоив смотрителя рукопожатием, двинулся вслед за каретой.

Было половина первого ночи, когда он подошел к квартире, которой мы дожидались известий. Предупрежденный о том, что нам будут являться люди, дворник, свой человек, партиец, сразу открыл ворота. «Юр» вбежал в комнату.

— Готово! — радостно сообщил он.

Мы бросились его целовать.

Он тут же сбросил форму и минут через пять ушел.

За его обмундированием, главным образом за оружием, должен был в тот же день утром явиться один из офицеров.

— Готово, но еще не совсем, — вздохнула «Анна». — А как там дальше?

## IX

Молча, со стиснутыми зубами, сидели обреченные в каретке.

Молча, еле сдерживая себя, сидели и «полицейские».

И вдруг сразу все изменилось, ожило. Карета покатила по мостовой. Грохот колес заглушил всякий шум.

«Лысый», сорвав шапку с головы, радостно крикнул:

— Товарищи! Узнаете меня? Я — Лысый. Смотрите! Мы спасли вас, везем на волю.

Освобожденные только таращили глаза, не веря своим ушам, не зная, во сне они или наяву.

— Правда, правда,—подтверждали другие «полицейские».

В карете-тюрьме творилось нечто невообразимое. Люди обнимались, целовались, жали друг другу руки, на один момент совершенно забыв, что дело не доведено до конца, что на пути к полному освобождению могут встретиться еще непреодолимые препятствия.

Один из «полицейских» прервал это ликование:

— Братцы, о револьверах забыли. ?

Еще момент — и освобожденные были вооружены браунингами.

— На всякий случай,—пояснил «Лысый». — Нас двадцать... Если придется, пробьемся. Но этого не будет,—успокаивал он себя и других.

Вдруг карета остановилась.

— Что это?—насторожились сидевшие в ней, вытаскивая револьверы из кобур.

— Что случилось?—сунулся было «Лысый» к окошечку в дверях кареты.

— Молчите!—крикнул с той стороны двери «Марцелий».

Ему было не до «Лысого». Это он остановил карету, крикнув:

— Стой! Колесо!

Кучер слез с козел и подошел к колесу, нагнувшись над которым что-то мастерили двое «полицейских». Он тоже нагнулся, но в этот момент был схвачен внезапно, как клещами, за горло... Он не успел и пикнуть, как ему воткнули в рот платок, приподняли и втиснули внутрь кареты.

— Трогай! Погоняй!

Только тогда сидевшие внутри сообразили, чем была вызвана остановка. Они сразу поняли свою роль.

— Лежи смирно, а то уьем!—крикнули они лежавшему на полу, перепуганному насмерть кучеру.

А карета двигалась все дальше и дальше, за город, к огородам. Еще несколько минут, и ворота огорода открылись, карета врезалась в огуречные гряды, и ворота вновь закрылись.

Началось обратное превращение «полицейских» в штатских. Один за другим люди прыгали из кареты на землю, снимали с себя форму и бросали ее куда попало. «Стефан» обходил всех, отнимал револьверы и складывал их в мешок.

— Погодите. Тут для каждого летнее пальто и шапка. В кармане пальто адрес, куда ему явиться.

Об этом самостоятельно позаботилась «Анна».

— Кучера запереть в карете,—распоряжался «Марцелий».

— Готово.

— Уходить со двора поодиночке... Каждый на свою явку.

В несколько минут полный людей двор постепенно опустел. Остались лишь «Стефан» и «Марцелий».

— Ну, Марцелий, идите и вы, а я запру ворота.

— Запирайте. Я переберусь через забор.

— Зачем?

— Когда вы будете уже с той стороны забора, я переброшу вам мешок с револьверами, это будет вернее... А то как раз кто-нибудь подвернется.

Заперев ворота, «Стефан» взобрался на забор и сел на него верхом.

— Никого нет. Давай.

Сошло и это. Ушли и они.

«Марцелий» отправился к нам с докладом.

На этот раз и его пробрало. Мы радостно бросились к нему. В другое время он «осадил бы нас назад», но на этот раз он трогательно нежно расцеловался с нами.

Было четыре часа утра. На дворе светло. За чаем, который вскипятила «Анна», «Марцелий» описывал нам ход событий.

Неожиданно кто-то постучал условленным стуком.

Мы с недоумением переглянулись. Кто это может быть? Кроме «Юра» и «Марцелия», никто не должен был к нам явиться.

Вошел один из «полицейских» — «Бартек». Он был бледен, как полотно.

— Адрес в шинели оставил. Торопился.

Наше радостное настроение сразу испарилось.

— Фамилии не помните?

— Фамилию помню — Павловский, но адрес...

«Анна» знала адрес.

— Вот что, — решила она, — идите вы с Марцелием к Павловским и немедленно уведите их с квартиры куда-нибудь в другой район. Если успеем, часа через три — раньше нельзя будет, — мы вывезем и их пожитки, а не успеем — пусть пропадают, лишь бы людей спасти. Идите, надо торопиться.

Они ушли.

Мы не беспокоились за Павловских. Прежде чем найдут и разберут адрес и явятся с обыском, пройдет несколько часов, а тем временем Павловские уже будут в надежном месте.

Несмотря на это, радостное чувство, какое мы испытывали после появления «Марцелия», рассеялось.

В семь часов, уже на другой квартире, мы должны были получить сведения, как обошлось дело с отправкой освобожденных по железной дороге по направлению к границе. А «Стефан» должен был туда же дать знать, поднята ли уже полицией тревога.

До шести приходилось оставаться здесь без цели, без дела. Это было особенно томительно.

— Как-никак, а большое дело сделали. Что-то теперь скажет Ян? — развлекал я беседой «Анну», почувствовавшую страшную усталость только после того, как дело было сделано.

Она прилегла, чуть не каждую минуту проверяя по часам, не пора ли идти.

В шесть мы отправились на другую квартиру.

Как раз в это время владелец, как мы позже узнали, подъехал на телеге к огороду, остановил лошадь, отпер калитку и, как ужаленный, шарахнулся обратно и зычным голосом заорал:

— Караул!

Сбежался народ, позвали полицейского, и вся собравшаяся толпа валом повалила в огород.

В этой толпе был и «Стефан».

— Не трогай, не трогай!—кричал перепуганный городской, подавая свисток за свистком. Прибежали и другие городовые.

Появился околоточный.

— Вишь, вишь, штуки какие.

Он велел полицейским очистить огород от собравшихся, поставил городских перед калиткой, а сам отправился звонить по телефону приставу. Полчаса спустя явился и пристав.

— Другого места уж не нашли. Социалисты окаянные! Непременно в моем участке.

Взором опытного сыщика он окинул весь огород. Увидев разбросанную по всему огороду полицейскую одежду, он догадался.

— Убили и тут же закопали, черти! Откапывать придется.

Он подошел к карете.

— Заперта. В ней должны быть убитые. Ничего не трогать до прихода следователя, — отдал он приказ околоточному, сел в пролетку и отправился в участок протелефонировать о случившемся обер-полицмейстеру.

С этими известиями явился к нам на квартиру «Стефан» и немедленно же вернулся обратно. Освобожденные в это время уже все мчались в поездах к границе.

Только часам к девяти прибыли на место происшествия жандармы.

Тщательно осмотрев весь двор, руководивший осмотром жандармский полковник подошел к тюремной карете. Он рванул за ручку дверцы, но та не подалась.

— Слесаря!

Явился и слесарь. Открыли дверцы... и оттуда вытащили еле живого кучера со связанными назад руками. Его не развязали, вынули только запиханный ему в рот платок.

Он еле держался на ногах.

— Ты кто?

— Кучер.

— Кто?

— Кучер из подследственной тюрьмы.

— Кто это тебя так?

— Полицейские.

— Хороши полицейские! Ты был в сговоре с ними?

— С кем?

— Ну, там видно будет. Отправить его с конвоем в охранку.

Только и удалось установить жандармскому полковнику, что карета из подследственной тюрьмы и что, следовательно, там можно будет добраться до корней и нитей. Он отправился с докладом к обер-полицмейстеру Майеру.

На этот раз ему не пришлось дожидаться приема у обер-полицмейстера.

Обыкновенно кучер, отвозивший арестантов, возвращался медленно же обратно в тюрьму. На этот раз он не возвратился, в тюрьме обеспокоились. По мере того как время шло, беспокойство превращалось в панику. После долгих колебаний смотритель решился потревожить Майера и рано утром позвонил дежурному по полиции.

Это совпадало по времени с сообщением пристава.

Обер-полицмейстер только ждал доклада жандармского полковника.

Он рвал и метал.

— Я сам поеду с вами в тюрьму.

И он не только сам поехал, но сам допрашивал смотрителя.

— По чьему распоряжению вы отправили арестантов?—накинулся он на смотрителя.

— Вашего превосходительства.

— По моему?

— Да, вы изволили телефонировать.

— С ума вы сошли!

— А вот и бумага.

Обер-полицмейстер впился в бумагу.

— Подпись моя, но я не подписывал.

Арестовали и смотрителя. Из его показаний узнали о «фон-Будберге», о телефонном звонке. Кучер рассказал, как управлялись с ним.

— Вот они до какого нахальства дошли!—возмущался обер-полицмейстер.

Часа через три по всей Варшаве была расклеена наша прокламация с крупным заголовком:

## **НАША АМНИСТИЯ**

В ней сообщалось, что мы не ожидаем амнистии ни от кого, а берем ее сами, и перечислялись фамилии «амнистированных» нами лиц.

Доведенные до бешенства жандармы бросались во все стороны, производили обыски, аресты, но освобожденные были уже за пределами досягаемости, а из участников освобождения не пострадал никто.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

### IX СЪЕЗД И ПОСЛЕСЪЕЗДОВСКИЕ СОБРАНИЯ

Как это ни дико, когда теперь вспоминаешь об этом, но весь предсъездовский период был посвящен обоснованию того, что революция 1905 года самая подлинная, самая настоящая революция, а не «смута», «хаос», как характеризовали ее правые, что это столь же польская, как и русская революция и т. д. и т. п. В связи с этим мне приходилось на многих фабриках делать доклады о русском революционном движении, которые впоследствии, уже находясь в эмиграции в Галиции, я обработал и издал на польском языке под заглавием: «История революционного движения в России». Это было время, когда увеличивались с каждым днем репрессии, когда гремел на всю Польшу со сверкавшим в рвении с знаменитыми русскими охранниками охранник Грин, впоследствии убитый революционерами, когда казаки рыскали по улицам и солдаты, руководимые агентами охранки, вторгались на фабрики и проводили там аресты. Такой налет на фабрику произошел, если меня память не обманывает в предместьи Варшавы—«Воля», где я вместе с «Фельком» (Иосифом Цишевским) проводил собрание. Увлечшись докладом, я хватился только в тот момент, когда уже вся моя аудитория бросилась к дверям. «Солдаты!» — крикнул мне «Фелек». Я еле успевал за бежавшими через какие-то задние дворы рабочими. Очутились мы возле деревянного забора, вышиной в полтора этажа... Для рабочих эта преграда не представляла затруднений, мне же не легко было взобраться, но я все-таки вспомнил старину и вскарабкался на забор. Тут дернула меня нелегкая обернуться... Солдаты с ружьями наперевес гнались за нами по пятам. Недолго думая, я спрыгнул вниз и спрыгнул довольно неудачно. Я еле поднялся и, несмотря на боль в пояснице, помчался по направлению к трамваю и смылся... Но несколько дней пришлось мне отлеживаться после этого неудачного прыжка.

На другой фабрике во время доклада местный организатор шопотом сообщил мне, что фабрика окружена солдатами...

— Кончайте. Я вас проведу через парадный ход, ведущий в квартиру фабриканта.

Солдаты, руководимые охранниками, нагрянули с специальной целью схватить «агитатора», но благодаря находчивости рабочих партийцев я оказался вне окружавшего фабрику солдатского оцепления и покойно наблюдал за ходом поисков...

Таких случаев было много. Аресты множились. Приходилось быть все время начеку. Особенную опасность представляли квартиры, в которых ЦК, в состав которого я в то время входил, принимал являвшихся с докладами варшавских и приезжавших из провинции ответственных партийцев, в предсъездовское время особенно часто являвшихся за инструкциями. Каждый из них очень легко мог притащить за собой хвост в лице шпиона и вызвать провал.

— Не чисто возле дома...— зайдя в квартиру, сообщил кто-то из прибывших.

Члены ЦК наскоро отпускали людей. Оставалось всего пять человек. Мы торопили «Яна», поворачивавшегося медленнее других.

— Кончайте! Кончайте!

— Идите! Идите! Я сейчас вслед за вами приду.

Мы условились о месте встречи, и я выбежал из квартиры. Буквально минуту спустя нагрянула полиция и «Ян» (Закс) и «Альбин» (Ционглинский) были арестованы, а Кошутская («Вера») и Цишевский еле-еле спаслись от гнавшихся за ними шпииков.

Такие полицейские условия весьма мало способствовали подготовке съезда, да, собственно говоря, мы считали, что не к чему готовиться. Все вопросы были вытеснены в нашем сознании одним-единственным вопросом об окончательном разрыве с националистическими элементами, а этот вопрос был предрешен. Левых делегатов на съезде, происходившем в Вене, было больше шестидесяти, правых не больше пятнадцати. Весь вопрос сводился к форме, а не к сути. И в этом отношении мы вновь проявили какое-то непонятное стремление соблюсти все формы. В президиум съезда вновь был выбран Диамант. Он должен был символизировать беспристрастность и в результате, когда уже было принято решение об исключении из партии Пилсудского, и он со своими сторонниками: Модко, Цобелем и другими покинул собрание, а съезду важно было установить, кто ушел вместе с Пилсудским, председательствовавший в этот момент Диамант отказался это сделать, сославшись на то, что никакими парламентскими правилами это не предусмотрено. Лишь с большим трудом нам удалось уговорить его. Выслушали мы и приветствие явившегося на съезд Далшинского. Повидимому, правые все еще надеялись и на этот раз не допустить до разрыва, а мы продолжали донкихотски разыгрывать рыцарей.

Генеральным оратором с нашей стороны на этом съезде был Ковенский. В своей речи он отметил, что потеря Польшей государственной независимости, целый ряд безрезультатных восстаний, раздел Польши на три части и подчинение их России, Германии и Австрии, национальный гнет, руссификация и германизация соответственных частей Польши, — все это тормозило культурное развитие Польши, искажило ход развития польского общества и ослабило классовую борьбу пролетариата. Этого никто не отрицает. Но когда выделяется вопрос о независимости Польши, то нужно установить, насколько он осуществим при современном строе и, в частности, насколько он может рассматриваться как актуальный в данный исторический момент. Не в вопросе о том — отвечает ли независимость Польши классовым интересам пролетариата — корень наших разногласий, а в путях достижения независимости: национальное вооруженное восстание типа 1861 и 1863 годов или совместная борьба со всем рабочим классом России за демократизацию государства. Указав на то, что правые фактически отстаивают лозунг не независимости Польши, а кастрированный лозунг борьбы за независимость только русской части Польши, Ковенский подчеркнул, что вся партия еще на VIII съезде высказалась определенно по этому вопросу, но правые этому решению не подчиняются, и съезду предстоит сделать организационные выводы.

Все другие, в том числе тов. Валецкий, еще более заострили вопрос, резко подчеркивая значение последних действий боевой организации. Правые, вначале державшие себя довольно сдержанно, по мере того как выявлялось отношение к ним съезда, начали переходить от обороны к нападению, все еще уверенные, что их, основателей ППС и многолетних вождей, никто не посмеет выкинуть за борт партии. В их выступлениях, в особенности же в выступлениях Пилсудского и Иодко, явно чувствовалось надменное отношение «генералов» к «мелкой сошке», какой они считали тогдашних членов ЦК. Меня это взорвало, и я взял слово, чтобы их осадить назад и закончить излишне затягивающуюся дискуссию...

— Нам, товарищ Мечислав, — обратился я непосредственно к Пилсудскому, — с вами не по дороге. Вам нужен пролетариат для борьбы за независимость, нам — независимость для пролетариата...

— Это демагогия! — крикнул с места «Мечислав».

— Нет! Это факт! — раздалась возгласы с мест.

Резолюция об исключении Пилсудского из партии прошла 62 голосами против 15. Раскол совершился. Правые демонстративно покинули съезд и явились только на следующий день для прочтения декларации протеста... Напряженная атмосфера уже разрядилась, и эта декларация была встречена добродушными насмешками... Это их больше смутило, чем раздражение, вырывавшееся накануне у участников съезда...

— Встретимся на баррикадах! — пробормотал прочитавший декларацию Иодко-Вронский.

...Встретились... Двенадцать лет спустя... Но они были по другой стороне баррикады и расстреливали организовавшиеся в Польше Советы рабочих депутатов.

После их ухода я и другие товарищи, вполне оценивая организаторские таланты Пилсудского, настаивали на том, чтобы как можно скорее закончить съезд и вернуться в Польшу. Мы были уверены, что агенты Пилсудского уже помчались в Варшаву и ведут агитацию против нас.

— Без паники! Что они могут сделать?—осаживал нас Валецкий.

— Паника перед паникой хуже паники!—возражал я ему.

Но его мнение перевесило. Съезд затянулся еще на несколько дней и не мог не затянуться. Как только мы освободились от балласта, проявились подспудно существовавшие разногласия среди нас самих. Вопрос о них не только не обсуждался, даже не поднимался, и, тем не менее, сыграл решающую роль при избрании нового Центрального рабочего комитета. Ковенский и я отказались от участия в нем, каждый по своим соображениям. Он вообще не считал себя способным к этому, а я считал, что в этот момент ЦК должен быть особенно монолитен, а с Валецким, ирравшим руководящую роль вместе с Левиниюном-Лапинским и Кошутской—«Верой», у меня были кое-какие расхождения, проистекавшие из различной оценки политической ситуации. Я продолжал еще верить в новый подъем революции, они ориентировались на временный застой...

На съезде в это время уже председательствовал Валецкий. Диамант просил его освободить от дальнейшего председательствования, как только состоялся раскол. Никто его не удерживал.

Два дня спустя мы вернулись в Польшу и здесь оказалось, что мои опасения были вполне основательны. Правые успели захватить прекрасно оборудованную нашу типографию и, организовавшись в «революционную фракцию ППС», развили на всех фабриках и заводах бешеную агитацию против нас. На эту агитацию были брошены все их лучшие силы: Иодко-Вронский, Филиппович, Енджеевский («Бай») и другие. Я с Ковенским попытался уговорить технический отдел, в котором, по нашему собственному недомыслию, работало большинство правых. Мы сами их направляли на работу в технику, чтобы не допустить их к агитации и пропаганде, и благодаря этому в момент раскола вся техника оказалась в их руках. Эта попытка была заранее обречена на неудачу. Явились, по преимуществу, женщины-истерички, обиженные на нас за Польшу, за ППС и за Пилсудского. Мы только зря потеряли на них дорогое время...

Предстояло не больше, не меньше как по всей Польше про- извести организационное размежевание. Я и «Простер» поехали в

Лодзь. «Фраки» послали туда Ендржеевского и Филипповича. На общепартийном собрании в Лодзи они даже не пытались отстаивать свою линию и выдавали себя за борцов за единство партии, против нас, раскалывающих ее и этим ослабляющих силы пролетариата. Меньше всего мог пройти такой «номер» в Лодзи, где было много немецких рабочих и где убийство солдат в Рогове вызвало в свое время огромное негодование. Собрание могло кончиться в один день, но правые его сознательно затягивали, в расчете на то, что на следующий день они смогут до собрания кое-кого привлечь на свою сторону. Для этого они прибегли к довольно примитивному трюку... Один из них незаметно ушел из собрания, а некоторое время спустя вошел с криком: «Расходитесь! Полиция! Я еле-еле успел обогнать ее»... И в один момент все улетучились. Но этот трюк им не только не помог, но повредил. Никто из уходивших с собрания не встретил поблизости ни одного полицейского... На следующий день, при голосовании резолюции, за правых голосовало всего несколько человек, фамилии и клички которых Ендржеевский тут же записывал для сохранения с ними связи. То же происходило во всех промышленных центрах и в Варшаве на всех фабриках и заводах, где у нас были связи. Вся Польша была на военном положении. Шпикив, полиции, солдат, казаков было на улицах видимо-невидимо. Собрания были довольно многолюдные и сами по себе очень легко могли привлечь внимание полиции, если бы даже и не было провокации. Но и она в это время значительно усилилась.

Одно из таких собраний состоялось на фабрике жести на Пржемысловой улице в Варшаве. На нем присутствовало более шестидесяти человек: по несколько человек от каждого района, представители фракции, среди них Даниловский, и наши представители: я, «Проспер», Камилла Горвиц, Юрий Геринг, Рейхман и другие. Доклад о съезде был сделан мною. Но как только я кончил, кто-то крикнул: «Полиция!» На этот раз это не была ложная тревога... В один момент двери были заперты...

— Уничтожить документы!

По этой команде всеми было уничтожено все, что имело конспиративное значение. Весь пол был устлан ключьями бумаг.

— Должна была быть лекция о... Не помню уже о чем... Но лектор не пришел! Поняли?!

Минуту спустя в помещение, во главе с охранниками, ввалились солдаты...

— Руки вверх!

Начался обыск. Сначала обыскивали лично каждого в поисках оружия, а затем приступили к более тщательному обыску... Я прислонился к окну... Оно было открыто... Под ним видна была пологая крыша какого-то навеса. Солдаты особой ретивости не проявляли. Я решил, как только отвернется солдат, выскочить в окно. Кое-кто из товарищей понял мое намерение и подошел,

чтобы заслонить меня от солдат, но подошел доктор Рейхман и шопотом сказал:

— Там, во дворе, собрание эсдеков... Погонятся за вами и их накроют...

Пришлось отказаться от этой попытки.

По окончании обыска нас вывели, окружили солдатами и повели в участок.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

### СЛЕДСТВИЕ

Известие о нашем аресте мигом разнеслось по городу и часа два спустя в участок явился мой зять, Сигизмунд Геринг, сын которого был арестован вместе с нами. Обо мне он не справлялся. Он знал, что я проживал под чужой фамилией и был ошеломлен, когда я, в нарушение всех правил конспирации, подошел к нему. Ларчик моей неконспиративности открывался очень просто. На квартире, в которой я жил по подложному паспорту, у меня хранились некоторые партийные документы и написанная перед самым собранием статья о расколе в ППС. Ввиду этого при аресте я назвал свою настоящую фамилию, заявив, что приехал накануне из Николаева и остановился на квартире матери, которой якобы передал свой паспорт для прописки. Паспорт этот я получил совершенно неожиданно. Я числился мещанином из ссыльных г. Минусинска. Когда меня начала разыскивать полиция, в Минусинскую городскую управу была послана бумага с предписанием по истечении срока моего паспорта не выдавать мне нового. В этой управе нашелся до сих пор неизвестный мне добрый человек, который, получив бумагу, выслал мне паспорт, помеченный задним числом.

С матерью, большим конспиратором, у меня было условлено, что, если я попаду в руки полиции, я ей тем или другим путем дам знать, как поступить с этим паспортом. Таким образом, появление в участке Сигизмунда Геринга было мне весьма на руку. Через него я передал матери, чтобы она заявила паспорт в полиции.

В эту же ночь у матери был произведен обыск. На допросе мать показала, что в участке заявили, что вечером паспортов не заявляют и предложили явиться на следующий день утром. При этом она сказала, что я приехал в Варшаву только накануне. Этим мое «алиби» было как будто установлено. Но только «как будто». Впоследствии оказалось, что о собрании на

Пржемысловой улице полиция была предупреждена провокатором и шла, что называется, наверняка.

Из участка нас под усиленным конвоем повели в ратушу в охранку и всех мужчин разместили по разным камерам, женщин запихали в одну. Заведывал тюрьмой в ратуше некто Куракин, о котором говорили, что он раньше был палачом. Память на лица у этого Куракина была дьявольская. Если кто хотя бы только одни сутки провел в охранке, он узнавал его, хотя бы с того времени прошло несколько лет. И на этот раз он в арестованной под чужой фамилией сразу признал Камиллу Горвиц. Но этот вернейший слуга царя и отечества более чем царя и отечество любил... деньги. За взятку он готов был на все и уже на следующий день вечером, получив соответственную мзду, пустил без каких бы то ни было свидетелей ко мне в камеру трафию Лелыва, патронессу тюрем, и известного защитника по политическим делам Патека, впоследствии представителя Польши в СССР. Это было как нельзя более кстати. Как я уже упоминал, на квартире, в которой я жил под чужой фамилией, остались кое-какие документы и написанная мною статья. Хозяин, у которого я снимал квартиру, привык к моим отлучкам на день, на два. Но мое исчезновение на более длительный срок должно было его встревожить и он мог сообщить об исчезновении квартиранта в полицию. Это меня сильно беспокоило. Посещение меня адвокатом устранило и эту опасность. Я тут же написал письмо хозяину якобы из Вильны, извещавшее его о том, что мне неожиданно пришлось уехать, и, приложив к этому или, вернее, поручив приложить к этому деньги, следуемую ему за квартиру плату, уполномочивал «присяжного поверенного» Патека получить от него все вещи и бумаги, находившиеся в моей квартире. Патеку можно было доверить это щекотливое дело. На воле мне приходилось иметь дело с ним и по более рискованным делам. Патек блестяще выполнил это поручение и все бумаги и документы передал указанным мною товарищам.

В первую же ночь всех нас по очереди водили на допрос. При этом допросе, в котором активное участие принимал прогремевший впоследствии на весь мир Бакай, бросалось в глаза, что охранники не в ладах друг с другом. Они, не стесняясь присутствием допрашиваемых, раздраженно спорили из-за каждой мелочи, хотя спорить как будто было не о чем, так как все арестованные, как это было договорено, повторили, что явились на лекцию, но лектор запоздал, а возможно, что он позже и пришел, но фабрика была оцеплена, и он проникнуть в нее не мог. В этот день на фабрике действительно должна была быть какая-то лекция, но она была отменена именно потому, что помещение нужно было для нашего собрания. Уликой могли служить валявшиеся по всему полу ключья разорванных бумаг и документов, но на это все отвечали, что мы сами возмущались тем, что комната для лекции не была даже подметена. Охранники, знавшие

от провокатора о характере и цели собрания, не подавали виду, что знают об этом, и записывали наши показания. Мой ответ о прошлой судимости их оглушил. Этому я обязан, что меня не поместили в общую камеру, настолько заполненную, что люди спали стоя, так как лечь уже было нельзя, а отвели в камеру, в которой, кроме меня, было еще два человека. Один — совершенно незнакомый и как будто даже не политический, другой — Болеслав Эндржеевский, представитель правых, тоже привлекавшийся в свое время по делу партии «Пролетариат». То ли по этой причине, то ли по ходатайству графини Лелива, весьма сочувственно относящейся ко мне, как к «мученику», несколько дней спустя меня перевели не в форты Варшавской цитадели, куда массами переводили арестованных, а в тюрьму «Павиак». Туда же перевели и Эндржеевского.

В нижнем этаже «Павиака», куда меня поместили, сидели в то время представители всех социалистических партий: пепеэсовцы — левые: Закс, Ционглинский, Рейхман, я; правые: Эндржеевский, Прус, Малиновский; эсдеки: Дзержинский, Варский, Ганецкий-Фирстенберг, бундовец — Гуревич. На коридоре царила сравнительная свобода, и мы по целым дням вели программные дискуссии.

На допрос меня таскали всего три раза. Следствие вел следователь Курнатовский — субъект довольно ограниченный и, как, мне по крайней мере, казалось, не особенно ретивый. У меня был некоторый опыт, приобретенный на работе у мирового судьи в Минусинске, и я не раз сбивал с толку следователя.

На вопрос о принадлежности к ППС я нахально ответил:

— В Николаеве, где я постоянно проживаю, Польской социалистической партии нет и, как вы сами, должно быть, понимаете, быть не может.

Он допрашивал, не ознакомившись предварительно с делом.

— Да! Но в Варшаве?

— В Варшаве она, несомненно, есть, но я ведь только накануне ареста приехал в Варшаву...

— А как же вы попали на фабрику?

— Узнал, что там должна быть лекция... В Николаеве о лекциях на фабриках мне не приходилось слышать, я и заинтересовался...

— Но согласитесь, что это странно... Мы вас почти год разыскиваем.

— Как разыскиваете? Меня никто об этом не извещал, а то бы я явился...

— Конечно, объявлений о розыске вас мы не давали.

— Как же вы разыскивали?

— Как? Запретили вам выдавать паспорт.

— А, тем не менее, паспорт у меня есть!

— Есть?!

— Да! Есть! Загляните в дело!

Следователь вскрыл конверт, в котором находился мой паспорт, сверил дату выдачи и, пораженный, выпалил:

— Вот так охранка!..

Я перешел в наступление.

— «Вот так охранка!»! А по выдуманым данным этой охранки вы арестовываете людей и только компрометируете себя.

— Ну, что вы! Найденные на полу разорванные документы уличают вас.

— Нас?! Как раз наоборот!

— Что вы этим хотите сказать?!

— То, что ясно для каждого человека, видевшего хотя бы только один раз в жизни, как охранка врывается с обыском.

— Я вас не понимаю.

— А я вас не понимаю. Неужели вы думаете, что под наведенными на людей дулами револьверов и ружей можно уничтожить документы... А охранники будут стоять и смотреть, как вы это делаете?

— Да, но вы заперлись...

— Вот как?! А охранники смиренно ждали под дверьми, пока мы им откроем, и давали нам возможность уничтожить документы?!

— Что вы, что вы! Они взломали двери!

— Вот как! Это уже наконец первый приведенный вами «факт». Не откажитесь огласить протокол осмотра взломанной двери...

Я знал, что двери не ломали и такого протокола быть не могло.

— Протокол осмотра не составлен...

— Так составьте его теперь. Еще не поздно...

Сбитый с толку Курнатовский молча перелистывал дело в расчете найти хоть какую-нибудь зацепку. Но зацепиться было не за что.

— Ваше прошлое, знаете...

— Так вы меня вторично собираетесь привлекать за прошлое, да еще по истечении двадцати лет...

Во время этой милой беседы вошел товарищ прокурора.

Он слышал мою последнюю фразу.

— Знаете... Рецидивизм...

— Это очень остроумно, господин прокурор. Прошлое должно доказать содеянное в настоящем, а настоящее — наличие рецидива...

— Что вы?! Мы ведь только расследуем...

— Пожалуйста, пожалуйста! Но, может быть, вы это расследование будете проводить, не держа меня без всякого основания в тюрьме... Я требую немедленного освобождения.

— Не горячитесь. Мы сами спешим со следствием.

Прокурор явно принимал меры для установления другого тона...

— Вы ведь судились вместе с мировым судьей Бардовским?

— Да.

— Хорошо его знали?

— Об этом я готов поговорить после освобождения из тюрьмы...

— На этом на сегодня кончим, пожалуй,— обратился прокурор к следователю...

Я вернулся в свою камеру.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

### В «ПАВИАКЕ»

Годы, а быть может, и пережитое сказались. Я заболел цынгой. Опухли суставы, десны, начали выпадать зубы. Я с трудом шевелился, но, несмотря на это, сознавая, что отказ от прогулки только ухудшит состояние, не отказывался от нее. Тюрьма была переполнена и тюремщикам волей-неволей приходилось выводить на прогулку по шести—восемь человек. «Гуляли» мы по тому самому дворику, где лет за двадцать до этого мы отплясывали, бряцая цепями, мазурку кандальщиков...

В одну из этих пресловутых прогулок вызвали в канцелярию Закса. Вскоре он вернулся в сопровождении надзирателя, который «любезно» пригласил и меня тоже пойти в канцелярию.

— Не ходите!—посоветовал мне Закс.—Показывают шпикам и провокаторам... Там «Бискуп».

Этого «Бискупа», оказавшегося провокатором, я не раз встречал на собраниях. Он меня знал, и очная ставка с ним должна была оказаться роковой, но я все же решил идти, исходя из того, что, если я откажусь, «Бискупа» и других подведут к «глазку» в дверях камеры и они все равно меня опознают, а я даже не буду знать, кто из них опознал.

В канцелярии, куда меня ввели, находился товарищ прокурора, следователь и человек пять шпиков. Последние—то ли боясь, что опознаваемый на них набросится, то ли по другим причинам—все держали наганы наготове.

— Ну?!—обратился к ним следователь.

— Не знаю, — первый заявил «Бискуп».

«Не знаю!» «Не встречал»,—повторяли за ним другие...

Я был поражен. Кроме «Бискупа», меня знал еще один из опознававших. Не менее меня был поражен Закс и другие товарищи, которых «Бискуп» не только опознавал, но подробно докладывал о собраниях, на которых он слышал их выступления, передавал и содержание выступлений. Единственным, кроме меня,

кого «Бискуп» пощадил, был бывший «пролетариатец» и каторжанин — Мечислав Маньковский.

Я не преминул воспользоваться результатами этого своеобразного провокаторского благородства и, вызвавшись к прокурору, потребовал немедленного освобождения. На следственные власти эта очная ставка также произвела некоторое впечатление.

— Повремените еще немного. Даниловского мы уже освободили, учитывая, что он болен туберкулезом. Но без залога мы вас освободить не можем.

Дело налаживалось, это было ясно, тормозила только обычная бюрократическая волокита.

Прошла неделя, другая. Мои родные чуть ли не каждый день теребили прокурора, но дело не двигалось. Почти два месяца прошло с момента ареста, а я продолжал сидеть, рискуя, что в любой момент может найтись провокатор менее щепетильный, чем «Бискуп», и тогда вновь придется отправляться в Сибирь.

Кроме того, как опытный тюремный житель, я отдавал себе отчет в том, что в любой момент может разразиться одна из тюремных историй, которые на целые годы захлопывают перед заключенным ворота, ведущие к выходу на волю.

В конце 1906 и в начале 1907 годов эта опасность была вполне реальной. С одной стороны, заключенные, вырванные из среды борцов в самый разгар борьбы, входили в тюрьму с прежним боевым настроением; с другой, — все тюремное начальство: надзиратели, караульные офицеры и даже солдаты из-за пустяков затевали истории.

Это в особенности чувствовалось в годовщину январских дней.

«Начальство» предусмотрительно нагнало в тюрьму жандармов. Один их вид провоцировал заключенных. То из одного окна, то из другого раздавались возгласы: «Долой самодержавие!», «Да здравствует революция!» Гуляющие по двору откликались на эти возгласы, и тогда жандармы набрасывались на них с кулаками...

Я в этот день был на прогулке вместе с Дзержинским и другими. И я, и Дзержинский отдавали себе отчет в беспечности такого рода демонстрации, но вместе с тем отлично понимали чувства тех, которые в этот день хотели продемонстрировать свою непоколебимость и готовность к борьбе, и на возгласы мы ответили пением:

Вихри враждебные веют над нами...

В ту же минуту на нас набросились жандармы. Нас не били, но толкали к тюремным дверям. К жандармам присоединились и солдаты.

— Вы-то чего стараетесь? — крикнул я одному из них.

В ответ он направил на меня штык. Это было у самых дверей в коридор, рвение солдата оказалось безрезультатным, я остался невредим, но кое-кто из заключенных, видевших жест

солдата, всполошился. По всей тюрьме, не только нашей, но и соседней с «Павиаком» — женской тюрьме «Сербия», разнесся слух, что я ранен, и мне приходилось принимать энергичные меры, чтобы по этому поводу не начался протест.

Каждый день был чреват такими опасностями. Это еще более заставляло добиваться скорейшего освобождения, и я вновь потребовал от прокурора немедленно дать распоряжение о моем освобождении.

Он не отказывал, но тянул, а меня все более и более донимала цынга. Публика, сидевшая на одном со мной коридоре: Дзержинский, Ганецкий, Варский, Рейхман, Закс, Ционглинский стали требовать, чтобы меня перевели в лазарет. Но лазарет был переполнен больными, да и помощник смотрителя тюрьмы не прищек без особой мзды переводить туда. Товарищи по коридору пригрозили голодовкой. И только тогда я и Ганецкий были переведены.

Здесь я вновь столкнулся с уголовными. Это уже был не тот тип арестантов, в одной партии с которыми приходилось двадцать лет назад странствовать по этапам. Каждой эпохе был свойствен особый тип. «Мертвый дом» Достоевского резко отличается от «Мира отверженных» Мельшина-Якубовича, уголовные арестанты эпохи первой революции во многом отличались от «отверженных» конца девятнадцатого столетия.

Преобладали мелкие жулики и хулиганы, на воле поощряемые полицией и поэтому возомнившие о себе невесть что.

Изменилось и отношение к политикам, опять-таки не без наущения полиции. Да и сами хулиганы не забыли, что неизменно наталкивались на отпор со стороны революционных рабочих всякий раз, когда, поощряемые полицией, пытались грабежами осквернить революционное движение. В результате получилось отношение к политикам, прямо противоположное тому, какое было раньше. За двадцать лет до этого мы, пять политкаторжан, шли в одной партии с несколькимистами уголовных и не только не опасались с их стороны каких-нибудь выходов по отношению к нам, но, наоборот, были уверены, что эти уголовные дадут отпор офицеру, если тот попытается нас прижимать. В 1906—1907 годах — таково было, по крайней мере, мое глубокое убеждение — при малейшем поощрении со стороны начальства уголовные были готовы расправиться с нами.

Но жуликами они были отменными. Один из них при нас делал репетицию припадка падучей, для того чтобы воспользоваться указаниями окружающих, когда придется перейти от репетиции к спектаклю, долженствующему решить его судьбу. Все было разработано до мелочей. И бился он головой — не за страх, а за совесть, и густая пена шла изо рта, и даже глаза как будто помутнели. Но на «спектакле» он сорвался. Врач внимательно следил за каждым его движением и уловил момент, когда он в

самый разгар припадка вопросительно посмотрел в сторону державшего его приятеля: «Так ли, мол?» Но и врач признал, что «действие» сыграно было артистически.

Я пробыл в лазарете недолго. Вскоре меня освободили из тюрьмы под залог.

Я не был уверен в том, что прокуратура не испытывает меня, предлагая освободить под залог в три тысячи рублей, и подозревал, что если я сразу соглашусь внести требуемую сумму, то это будет доказательством того, что я тороплюсь вырваться, пока еще не собраны против меня улики.

Так оно и было.

— Я считаю такое предложение просто издевательством, — заявил я прокурору. — Таких денег у меня нет и быть не может. Откуда?! Родные мои не в состоянии внести такой суммы. Знакомых у меня нет: я только накануне ареста приехал в Варшаву. Вы все это знаете и, не имея никаких оснований, а следовательно, никакого права держать меня в заключении, пытаетесь найти выход в таком предложении...

Прокурор опешил...

— А сколько вы могли бы внести?

— Я почему знаю! Попрошу родных переговорить с кем-нибудь из издателей, и если он согласится дать какой-нибудь аванс под работу, то эту сумму я и могу внести.

— Я подумаю, — заявил прокурор.

И он действительно думал. Два дня спустя он предложил уже внести только тысячу. Я возмутился. Он продолжал думать. Сговорились на пятьсот рублей. Моя мать внесла эти деньги и представила квитанцию прокурору. От него последовало распоряжение перевести меня в ратушу, где помещалась охранка. Из ратуши я вышел на волю.

В «Павиаке», когда я ослаб до того, что не мог вставать с постели, товарищи уже принялись отпевать меня, но я и тогда им говорил, что я должен дожить до революции. Товарищи Варский и Ганецкий еще до сих пор вспоминают об этом моем заявлении. Я сдержал слово.

Очутившись на воле, я немедленно потребовал разрешить мне вернуться к семье, в Николаев. Оснований для отказа у властей не было. Разрешение я получил и в тот же день уехал в Николаев, так как мне казалось более безопасным на первое время исчезнуть из Варшавы.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

### В ЭМИГРАЦИИ

После Варшавы Николаев производил тягостное впечатление. Если в начале 1907 года в Варшаве все еще чувствовались «последние тучи рассеянной бури», то в Николаеве, по крайней мере внешне, небо было безоблачно. Несмотря на эту безоблачность, и в Николаеве, как и во многих городах, где были крупные заводы, был «свой» генерал-губернатор, и притом генерал-губернатор «с тоном».

— Николаев — не место ссылки! — заявил он мне, когда я явился к нему по проходному свидетельству. — Напрасно вас сюда прислали. Я вам здесь не позволю оставаться... Можете переехать в Херсон.

— А там могут тоже не разрешить?

— Это уж не мое дело... Я отвечаю за Николаев и «скопления» неблагонадежных не допущу...

— Тогда уж, чем мне мотаться с места на место, я предпочитаю уехать за границу...

— Для этого нужно разрешение департамента...

Это меня вполне устраивало. Я боялся, что он потребует разрешения варшавских следственных властей. Тогда об этом не могло бы быть и речи. А департамент имел обо мне сведения только как о бывшем ссыльном, если, конечно, варшавская «охранка» не сообщила обо мне до окончания дела. Спасла существовавшая тогда децентрализация. На посланную мною через генерал-губернатора телеграмму из департамента последовал ответ, что с его стороны препятствий к моему выезду за границу не встречается.

Я не был в особом восторге от этого разрешения. Эмиграцию я всегда считал хуже ссылки. В ссылке необходимость быть настороже по отношению к властям хоть сколько-нибудь способствовала сплочению ссыльных, в эмиграции не было и этого стимула... Но делать было нечего. Я утешал себя тем, что в Галиции;

куда я решил ехать, я все-таки смогу приобщиться к местному движению.

Несколько дней длилась процедура с выдачей мне заграничного паспорта, но как только я его получил, я немедленно двинулся в путь и несколько дней спустя был уже в Кракове.

Краков гораздо больше, чем все другие города, в которых мне приходилось бывать, как в России, так и за границей, отдавал стариной. «Вавель» — замок-крепость, когда-то резиденция польских королей, с собором, местом их погребения; старинные костелы, «Сукеннице» — торговый двор, трехконные, уцелевшие от средних веков дома, на каждом шагу встречавшиеся монахи самых различных орденов и оттесненные в специальный район «Казимерж» евреи, с длинными пейсами, в длинных халатах, собольих шапках и туфлях, — все это, при отсутствии оживленного уличного движения, создавало впечатление, что город спит и видит сон о средних веках.

Я бывал в Кракове и раньше, но приезжал на короткое время по делам. Тогда я на это не обращал внимания, но теперь, когда предстояло жить в Кракове, на меня пахнуло затхлостью. После Варшавы, оцетинившейся фабричными трубами, по вышине далеко переросшими за собой костельные башни Кракова, город ксендзов и графов казался сонным порой. Встречались, конечно, в нем рабочие, но средневековые, казалось, наложило и на них свой отпечаток. Проходя мимо многочисленных костелов, большинство рабочих благоговейно снимали шапки и крестились, а когда по улицам проезжал ксендз со «святыми дарами», о чем сидевший на козлах костельный служка оповещал верующих звоном колокольчика, все, в том числе и рабочие, тут же на улице становились на колени... В числе этих верующих были и социалисты.

Социал-демократическая партия Галиции и Силезии до такой степени боялась потерять рабочих из-за их привязанности к религии, что издавала специальные брошюры под заглавием: «Может ли католик быть социалистом», где доказывала, что религия это частное, личное дело каждого человека и хороший социалист может быть и хорошим католиком.

Вскоре после приезда мне пришлось быть на собрании, на котором один из лидеров партии — Клеменевич — инструктировал отправляемых по деревням на предвыборную кампанию рабочих, как им проводить эту кампанию...

— Перед каждым распятием обязательно снимать шапку и креститься.

Об этом Клеменевиче передавали, что в одной из деревень подученный ксендзами крестьянин задал ему вопрос:

— А правда ли, что социалисты едят колбасу в страстную пятницу?

— Был такой случай, — ответил он грустным голосом, — но этого социалиста уже на следующий день не было в партии.

Этот ответ был признан в партии на редкость удачным. Он обеспечил партии несколько крестьянских голосов, а все усилия партии и сводились к тому, чтобы провести своего кандидата и в парламент. Этому приносилось в жертву все решительно.

Другой из лидеров, редактор центрального органа партии «Narząd» («Вперед») Геккер, типичный «поляк моисеевого вероисповедания», обиженный на судьбу за то, что он родился евреем, был не менее Клеменевича изобретателен в ответах на выборных собраниях...

На упрек одного из рабочих, что глава партии, Игнатий Дашинский, ходит по кафе и распивает черный кофе, Геккер ответил:

— Видите, до чего он себя ограничивает. Даже сливок не берет к кофе...

Благодаря такой системе «ловли душ» Дашинский несколько раз проходил депутатом в венский парламент от Кракова еще до всеобщего избирательного права, введенного в Австро-Венгрии, к слову сказать, после революции 1905 года, как предохранительное средство от революции. За него подавала голос еврейская буржуазия, еврейская и отчасти польская мелкая буржуазия — лавочники и ремесленники — мастера, часть интеллигенции и небольшое количество имевшихся в Кракове рабочих. Блестящий оратор, громивший в парламенте «шляхту», творившую ужасы в Галиции, Дашинский во время выборов только на рабочих собраниях выступал как социалист. Это был радикал, не более, и поэтому-то пользовался сравнительной популярностью во внепролетарской среде. Это не мешало ему быть вождем «социал-демократии»... Не мешало потому, что в социальном составе этой вообще «социал-демократии» были непролетарские элементы. Кроме железнодорожников, рабочих на Соляных копях в Величке, в окрестностях Кракова, подлинных пролетариев здесь было очень немного. Ряды партии заполнялись ремесленниками, по преимуществу подмастерьями, приказчиками, студенческой молодежью и интеллигентами всевозможных профессий, мечтавшими о том, чтобы сделаться депутатами венского парламента.

Ближе знакомясь с составом партии по отчетам за прежние годы, я наткнулся на очень характерное явление. Несмотря на длительное существование партии, средний возраст членов не менялся. В партию вступали, проводили в ней несколько лет и уходили из нее, как бы очищая место для вновь вступающих, более молодых. Это объясняется социальным составом партии. Ремесленник, подмастерье оставался в партии только до того момента, когда ему удавалось самому стать мастером. Только на это время ему нужна была партия и связанный с ней профессиональный союз. Впоследствии, когда я работал в Дрогобыче, мне не раз на мой вопрос, почему такой-то вышел из партии, приходилось слышать ответ:

— Женился. Получил за женой приданое и открыл свою мастерскую.

Это считалось совершенно нормальным явлением.

Меня, только что прибывшего из Варшавы, это не могло не поразить.

В напечатанной мною за подписью Ст. Ожинский статье в выходившем в Варшаве под редакцией Рехневского журнале «Wiedza» («Знание») я осветил этот вопрос, за что, как и следовало ожидать, меня обругали в газете «Narząd», обвинив в недоброжелательстве.

Это меня не опечалило и не удивило. Краков был центральным очагом «социал-патриотизма». Дашинский и Пилсудский, тогда закадычные друзья, впоследствии «враги» из тех, что «бранятся — только тешатся», задавали тон, считались непогрешимыми и правили единодержавно: один — галицийской партией, другой — «революционной фракцией» ППС. Могли ли они иначе отнестись к критике «левицовца», осмелившегося вместе с другими выступать с обвинениями против Пилсудского и настаивать на исключении его из партии.

Повторяю, меня это не удивило, но окончательно убедило в том, что в Кракове немыслимо будет с пользой для дела работать в галицийской партии. Дополнительные доказательства я получил на одном собрании, в котором мне пришлось принять активное участие.

Разгром революции 1905 года повлек за собой довольно многочисленную эмиграцию рабочих именно в Галицию, где они рассчитывали найти заработок. Многие из них, разочарованные, ударялись в анархизм и попадали под влияние местных, немногочисленных, но активных анархистов.

Этим обеспокоились верхи партии, и созванное ими собрание имело целью расправу с этими «разлагавшими» партию элементами. Я сначала только прислушивался к происходившему, желая уяснить себе, что именно толкнуло этих рабочих на путь анархизма. В их выступлениях чувствовалась огромная горечь. Не уяснив себе причин разгрома революции, они искали виновников и находили их в интеллигенции... Каждое выступление было чистой махаевщиной. Но было совершенно явно, что этим настроениям в значительной степени способствовало поведение партийной интеллигенции, не сумевшей ни в тюрьме, ни в эмиграции установить такие отношения с рабочими, чтобы они не чувствовали себя заброшенными. Каждое выступление рабочего на этом собрании производило на меня тяжелое впечатление, так как во многих обвинениях они были правы. Неправильны были только сделанные ими выводы. Я наблюдал и за присутствовавшими на собраниях «вождями»... Они иронически улыбались, не теряя величественного спокойствия, а в их ответах, когда стали выступать сначала «вожди» помельче, а затем уже «крупные», было столько надменной самоуверенности, такое не-

понимание душевного состояния рабочих, такие чисто полицейского характера поиски «подстрекателей», что я, вопреки принятому мною до собрания решению не выступать и только знакомиться с делом, не выдержал и попросил слова...

— Левицовец, — пронеслось по рядам многочисленной свиты Дашинского.

Я перешел в нападение. Откровенно признав часть обвинений правильными, указав на абсолютную необоснованность сделанных выступавшими выводов, я обрушился на выступавших «вождей».

— С того момента, как началась эмиграция в Галицию, как чуть ли не с каждым поездом приезжали в Краков десятки эмигрантов, вы должны были заняться ими, организовать на работу, не допустить до того, чтобы эти душой и телом преданные революции рабочие, на деле доказавшие свою преданность революции, подпали под влияние демагогов. А теперь, когда обнаружили результаты такого непонимания вами своих обязанностей, вы обрушиваетесь на подпавших под это влияние. Я думаю, что надо воспользоваться полученным всеми нами уроком и здесь же, на этом собрании, создать специальный отдел, которому поручить и работать среди эмигрантов и помочь им найти работу...

— Левицовец — и тут мутит воду! — долетело до меня шипение окружавшей Дашинского свиты...

После меня выступил в первый раз виденный мною анархист, весьма ловко использовавший выступления «вожδικов», и, почтительно раскланиваясь предо мною, указал, что из этих выступлений я сам должен был убедиться, как интеллигенты (об исключениях, мол, нет необходимости говорить) относятся к рабочим...

Этого как будто только и ждал Дашинский.

Он не преминул подчеркнуть, что «часть вины» за провал революции действительно лежит на руководстве, применявшем в Польше «чужую тактику», заимствованную с востока, что, «несомненно», повлекло за собой много лишних, ненужных жертв. Затем перешел к ошибочности моей тактики на этом собрании, — тактики, сыгравшей в руку анархистам, и закончил заявлением, что, когда он «осмелился» в письме к ЦК указать на неправильность линии, ему ответили так, что он понял, что ему предлагают не лезть не в свои дела. Теперь он с большим правом может это сказать мне: предоставьте уж нам самим справиться с этим делом.

Справились...

Вслед за Дашинским выступил доктор Эмиль Бобровский, тогда один из лидеров — галицийских пепезовцев, в настоящее время — ярый сторонник Пилсудского, фашист. Он накинулся на выступавшего анархиста буквально с руганью. Мало того, этот анархист, как оказалось, жил в Галиции нелегально, Боб-

ровский позволил себе на весьма многочисленном собрании, где могли быть и агенты полиции, назвать его фамилию.

— Провокация! Провокатор!— раздались крики возмущенных рабочих.

Собрание было сорвано!..

Справились?.. Расправились.

После этого собрания для меня сделалось совершенно ясным, что я могу, конечно, остаться в Кракове, где была группа эмигрантов: Цишевский, Ционглинский, Пинкус, Стамировский (тогда — «левицовец», ныне полковник пана Пилсудского, прославившийся своими издевательствами над коммунистами), но работать в местной организации мне возможности не дадут. Я не остался. Я признавал за крупными людьми право руководить работой из эмиграции, но это относилось лишь к крупнейшим вождам, сохранившим постоянный контакт с рабочей массой в стране. Руководство других из-за границы я считал вредным для дела, вызывающим недовольство местных деятелей, ведущих борьбу не из прекрасного далека. Это побудило меня перебраться из Кракова во Львов, где, по рассказам живущих там эмигрантов, было легче примкнуть к работе.

В это время как раз происходили выборы в парламент, впервые происходившие на основании всеобщего избирательного права. В Кракове была выдвинута кандидатура Игнатия Дашинского, уже ранее бывшего депутатом. На нескольких выборных собраниях я присутствовал. Немцы такие собрания окрестили названием «Mandatenfängerei» — ловля мандатов. В то время я как новичок еще не разбирался в тех выборных махинациях, которые проводились за кулисами и прогремели на весь мир под названием «галицийские выборы», но и без этих махинаций «ловля мандатов» проводилась по всем правилам искусства, хотя и довольно упрощенно. Каждый кандидат и каждый ораторствующий в пользу какого-нибудь кандидата, независимо от партийной принадлежности, в своих выступлениях ориентировался на данный национальный и социальный состав аудитории, обещая именно этому составу удовлетворение всех его требований, если только он подаст голос за данного кандидата. Один и тот же кандидат давал обещания на одном собрании капиталистам, на другом — рабочим и ремесленникам, причем одни обещания прямо противоречили другим. Все кандидаты делали всевозможные усилия, чтобы переплюнуть друг друга в патриотизме, причем польский патриотизм органически сплетался с цезарско-королевским австрийским патриотизмом. Социал-демократы не составляли исключения. На одном из собраний Дашинский заявил, что Австрию надо всячески беречь, так как она для поляков является прекраснейшей гостиницей, которой они пользуются до тех пор, пока у них не будет своего дома, своей отчизны.

Краковская организация, несмотря на то, что была уверена в успехе, развила опромыную энергию. Но меньшую энергию раз-

вили и другие партии. А так как у них было и больше средств на «выборную колбасу» — на угощения и подкуп, и большая поддержка со стороны бюрократии «гостиничного отечества», то... Дашинский провалился. В первый момент это вызвало переполох в партийных рядах, но только в первый момент. В других избирательных округах: во Львове, Стрые, Бориславе и прочих были избраны социалисты и один из них — Клеменевич — отказался от мандата в пользу Дашинского.

Вскоре после описанных выборов я, по поручению партии, объехал целый ряд заграничных секций ППС, побывал в Париже, в Лондоне, в Цюрихе, а затем в качестве делегата партии принял участие в Штуттгартском конгрессе.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

### ШТУТТГАРТСКИЙ КОНГРЕСС

Объезд заграничных колоний произвел на меня весьма тяжелое впечатление. Большинство эмигрантов уже успело втянуться в эмигрантскую жизнь. Одни, получив работу на фабриках или в частных учреждениях, жили жизнью этих фабрик и учреждений и только, как бы отдавая дань прошлому, приходили от времени до времени на заседания секции. Другие жевали жвачку о расколе ППС. Еще иные в плехановском «не надо было браться за оружие» находили удобное для себя «идейное» обоснование своего отхода от революции. Странное впечатление произвели на меня и другие, лучшие, сохранившие живую душу люди, которых я знал только как борцов, а встретил в мирной домашней обстановке. «Анна» — Софья Познер, в оное время в Варшаве по пути на собрание узнавшая об аресте и избиении мужа и ни на секунду не запоздавшая на собрание, приняла меня в Париже, как домашняя хозяйка. Меня покорило, когда я увидел ее за плитой... Или «Ирена — Стружецкая, пламенный оратор на всех рабочих собраниях, превратившаяся в Париже в жену, мать и лично практикующего врача...

Из бесед с ними, из их планов на будущее было совершенно ясно, что по первому зову они вновь станут в ряды борцов, но в момент встречи они вызвали во мне тяжелое чувство, как бы еще раз всем своим образом жизни подтверждая, что пока что революция потерпела поражение.

В Париже, в Лондоне, в Цюрихе я сделал доклады, но и эти доклады оставили во мне очень неприятный осадок. Трудно говорить, когда тут же, во время доклада, продают апельсины и прохладительные напитки. Одно из собраний, на которых я делал доклад, «удостоил» своим посещением родоначальник социал-патриотизма в Польше Болеслав Лимановский. Он, в то время молившийся на Пилсудского, своим появлением отдавал дань этикету — как же не почтить жертву «москалей» — каторжанина! —

но само его присутствие на докладе «левицовца» придавало собранию особый характер, не имеющий ничего общего с борьбой... Он вел себя по всем правилам этикета. Сидел, слушал и молчал.

Не так вел себя на собрании в Лондоне товарищ по Каре — Арон Зунделевич. К тому времени он совершенно поблек и ничем не отличался от кадетов. Когда я заговорил о Милюкове и милюковщине, он обрушился на меня с большим азартом, а наряду с этим не нашел ни одного слова возражения против выступлений, тоже оказавшегося на собрании, сиониста.

В Лондоне я встретился и с бывшим колымчанином Шкловским — «Дионео» — лондонским корреспондентом «Русских ведомостей». В Якутске это был человек, над которым потешалась вся ссылка по поводу его прямо фантастических привираний, — в Лондоне это был почтенный буржуа, удачно женившийся на богатой девушке, владелец особняка, на фронтоне которого красовалась надпись «Колыма», известный публицист и очеркист. Я его раньше не знал... Если он вообще когда-либо был революционером, то к 1907 году даже следа от этой революционности не осталось...

Из моей поездки вышло мало толку. Эмигрантам, не всем, конечно, но все же очень многим, было не до тех вопросов, которые волновали революционный мир Польши. Вскоре я убедился, что не до революции было и большинству иностранных социал-демократов, не исключая, а, наоборот, особенно включая лидеров. Это весьма четко выявилось на Штуттгартском конгрессе, в котором мне пришлось участвовать в качестве делегата «левицы» ППС.

Это был первый конгресс, на котором мне пришлось быть... «Если бы Маркс был жив, — вспоминал я слова Энгельса, сказанные в момент открытия первого конгресса II Интернационала, — он бы принял в заседаниях конгресса деятельное участие...»

Понятно, что я ждал от конгресса многого. Он должен был, по моему, прежде всего дать анализ революционных событий в России, наметить дальнейшие пути...

Правда, Маркса уже давно не было в живых, умер и Энгельс и Вильгельм Либкнехт, но были живы Бебель, Зингер, Адлер, Жорес, имена которых гремели с парламентских трибун на весь мир...

С Виктором Адлером, тогдашним лидером австрийской социал-демократии, я познакомился еще до поездки в Штуттгарт, когда был проездом в Вене. Это был высококультурный, образованный человек, в беседе блиставший остроумием, но весьма сомнительного качества марксист. О расколе в ППС он знал, но это его мало интересовало. Из беседы с ним я вынес впечатление, что он относится к этому расколу, как к чему-то вполне естественному не потому, что есть идейные расхождения, неизбежно ведущие к расколу, а потому, что рус-

ские и польские социалисты чуть ли не жить не могут без раскола. Отечески-добродушно он иронизировал по этому поводу. Заметив, что я далеко не в восторге от такого отношения, он очень культурно перевел разговор на «Бунд», которого был ярым поклонником. Противников «Бунда» он считал марксистскими буквоедами.

Расстались мы с пожеланием: «До свидания в Штуттгарте». Для того чтобы к нему больше не возвращаться, перейду к третьему и последнему свиданию с ним. Это было в конце октября или в начале ноября 1914 года, в самый разгар империалистической войны, когда я из «Австрийской гостиницы» Дашинского с большими трудностями перебирался в Швейцарию.

Месяца за два до этого, получив известие об аресте Ленина, я писал и телеграфировал Адлеру с просьбой сделать все возможное для освобождения Ильича. Надо ему отдать справедливость, он немедленно принял меры. Я заехал к нему по пути в Швейцарию и от него узнал, что он получил десятки таких писем и телеграмм. В беседе Адлер передал мне, какой у него был разговор с инспектором полиции по поводу разрешения Ленину выехать в Швейцарию.

Этот инспектор, повидимому, учел то, что австрийские и германские вожди социал-демократии перебросились в момент объявления войны на сторону своих «кайзеров», и, как я понимаю, поэтому поставил перед Адлером вопрос: не помирится ли Ленин с царизмом.

На это последовал ответ:

— Ленин был врагом царизма, когда ваше превосходительство и все австрийское правительство были друзьями царизма, и будет врагом царизма, когда ваше превосходительство вместе со всем правительством вновь будут дружить с царизмом.

Виктор Адлер был единственным знакомым мне из числа тогдашних светил... Всех других я увидел впервые в Штуттгарте. Особый интерес к себе из всей «плеяды славных» вызвали лишь двое — Бебель и Жорес.

Бебель, тогда уже старик, не только окружающими считался непогрешимым папой, но в то время уже и сам так себя оценивал.

Как раз во время заседаний конгресса, кажется, в Швейцарии, каким-то анархистом был совершон террористический акт. Международное бюро II Интернационала было этим встревожено. В числе других представителей русских и польских социалистических партий на совещание бюро по этому вопросу был вызван и я.

— Только этого мне не доставало... — начал свое выступление по этому поводу Бебель.

Это «мне» меня тогда поразило.

Гораздо больше поразила меня сердитый тон Бебеля, когда на бюро обсуждался вопрос о распределении десяти признанных за

Польшей голосов между четырьмя партиями: 1) ПСД, 2) Польской социал-демократической партией Галиции и Силезии, 3) «левицей» ППС и 4) так называемой «революционной фракцией» ППС. На одно место претендовали и профсоюзы. Роза Люксембург предлагала распределить голоса не по числу партий, а по «течениям». ПСД она считала одним «течением» в польском рабочем движении, а все остальные партии, в том числе и «левицу» другим. Этот принцип был признан бюро. И лишь из жалости («Как они распределят пять голосов между столькими партиями?») ПСД дали вместо пяти — четыре мандата, а всем остальным партиям — шесть.

Тяжелое впечатление произвело на меня это заседание. В тоне вождей II Интернационала слышалось какое-то высокомерное отношение к вопросу:

— Вы там деретесь, ссоритесь, а нам приходится на эти ваши дразни тратить свое драгоценное время.

Тон на этом заседании задавали Бебель и Зингер. И не из симпатии к «фракам», а благодаря своему отрицательному отношению ко всякому расколу, чем бы он ни был вызван, они играли в руку «фракам», козырявшим тем, что они являются жертвами раскольников, что они за единство.

Это «единство» в те времена было для II Интернационала каким-то фетишем.

Одним из основных принципов, формально обуславливающих возможность принадлежности к II Интернационалу, было признание классовой борьбы. Лейбористская партия, возглавляемая Макдональдом, этого принципиального пункта не включала в свою программу. Но эта партия по числу своих членов превосходила многие партии на континенте Европы, не говоря уже о крохотных социалистических партиях в Англии. Казалось бы, что о принятии лейбористов во II Интернационал не могло быть и речи, а на деле, во имя единства рабочего класса, они были приняты.

На меня, до этого лишь из прекрасного далека следившего за II Интернационалом, это более близкое знакомство с ним не могло не произвести нерадостного впечатления. Раньше я его идеализировал. Штуттгартский конгресс открыл мне глаза на многое.

Я входил в состав польской делегации. К этой делегации принадлежали все польские партии. Тут была Роза Люксембург, был и Пилсудский, были Дашинский, и Диамант, и Витьк (от украинской с.-д.), и Мархлевский, был Валецкий и я... Мы должны были сесть за один стол и обсудить, как распределить мандаты...

Сели. От ПСД выступила Роза Люксембург и заявила, что разговаривать не о чем. ПСД должна получить пять мандатов. Беседовать и рассуждать при установившихся отношениях в прошлом и в настоящем не о чем. Сказав это, она ушла. Вслед за ней встал Валецкий и заявил, что без ПСД «левица» участ-

зовать в обсуждении не будет, и тоже ушел, а за ним и мы все... За столом остались только «фраки» и их галицийские и познанские единомышленники.

За день до этого, увидев на лестнице Розу Люксембург, я подошел и представился ей. Я был уже раньше знаком с Мархлевским и Тышко и решил познакомиться с Розой, с тем чтобы сдвинуть с мертвой точки вопрос об объединении. Но к моему шагу она отнеслась вежливо, но холодно. Мне это было неприятно. Но, услышав ее выступление на одной из комиссий, когда она заговорила о всеобщей стачке и об опытах нашей революции 1905 года, я понял, что вижу перед собой крупнейшего деятеля, значительно превосходившего многих признанных вождей.

Пленил меня и Жорес, несмотря на то, что к революционным марксистам я его не причислял. Но это был подлинный народный трибун, своими вдохновенными речами умеющий увлечь за собой массу. Блестящий оратор, находчивый, искусный полемист, он подкупал своей искренностью. Во время речи он метался по трибуне, бросаясь из одного конца в другой. Когда он выступал на Амстердамском конгрессе, на ступеньках, ведущих на трибуну, стоял, ожидая своей очереди, делегат Испании; Жорес, бегая во время речи по трибуне, споткнулся о лесенку и упал бы, если бы делегат Испании его не поддержал.

В зале раздался громкий хохот.

Для любого оратора такой казус кончился бы по меньшей мере ослаблением впечатления, но не для Жореса. Он пожал руку испанцу и, обернувшись к конгрессу, пожимая плечами, заметил:

— Гм... неожиданно для себя я перевалил через Пиренеи.

Гром аплодисментов был ответом на эту остроту, и Жорес продолжал без всякого смущения свою речь.

Я его впервые услышал в Штуттгарте на огромной поляне за городом, где было поставлено шесть трибун для лучших ораторов. Говорили: Адлер, Ферри, Дашинский, Жорес и еще двое.

Жорес начал говорить по-французски. Аудитория, состоявшая из немецких рабочих, которым знающие французский язык переводили его речь на немецкий, оставалась холодна. Жорес, владеющий очень плохо немецким, все же перешел на этот язык и, хотя произношение у него было ужасное и ударение он ставил на последнем слоге, он сразу овладел аудиторией и вызвал всеобщий энтузиазм.

Полную противоположность Жоресу представлял Вандервельде. У Жореса в каждом слове, жесте, движении чувствовалась искренность, глубокое убеждение, революционный темперамент. Вандервельде был демагогом, каждое движение которого было заранее рассчитано, взвешено, заучено.

Я остановился только на тех лицах, которые во время конгресса тем либо другим приковали к себе мое внимание. Но, конечно, меня гораздо более волновало содержание выступлений, чем ораторские приемы. Я был новичком в этой среде и реаги-

ровал на все гораздо сильнее, чем другие товарищи, свыкшиеся уже с выступлениями, ничего общего не имеющими с революционным марксизмом.

Были моменты, когда я был настолько ошарашен, что проверял у товарищей, правильно ли я понял выступавшего...

О Штуттгартском конгрессе писали много. Это один из тех конгрессов II Интернационала, который в связи с резолюцией о превращении империалистической войны в гражданскую числится в активе II Интернационала. На меня он не произвел положительного впечатления. Наоборот.

Одно дело резолюции, принимаемые на пленуме и в своем большинстве компромиссные, другое — прения в комиссиях.

Я остановлюсь только на двух вопросах, поразивших меня тогда. Первый — это вопрос об эмиграции и иммиграции.

В такие страны, как САСШ, Австралия и другие, происходила в огромных количествах иммиграция рабочих из Европы, в особенности же из Азии — японцев, китайцев. В этих странах рабочие уже в начале XX столетия благодаря увеличенному спросу на труд добились сравнительно хорошего материального положения. Приток иммигрантов, культурный уровень которых был значительно ниже культурного уровня американских и австралийских рабочих и потребности меньше, был использован капиталистами для понижения заработной платы рабочих. И вот североамериканские и австралийские социал-демократы подошли к этому вопросу весьма просто: запретить иммиграцию «низших рас...»

В семье не без урода... Но если эти уроды являются вождями и если эти вожди не понимают необходимости втянуть иммигрантов в организацию и этим противодействовать замыслам капиталистов, — то это уже плохо. Но дело обстояло еще хуже. С поддержкой предложения австралийского «урода» выступил делегат Германии Пеплов (Päprow), причем договорился до расовой теории.

В вопросе о запрете иммиграции были заинтересованы только некоторые страны, другие — а их бы было большинство — были заинтересованы в противоположном.

Совершенно иначе обстояло дело с колониальным вопросом, в котором были заинтересованы все великие державы. Мне еще до конгресса в Штуттгарте было известно, что глава ревизионистов Эдуард Бернштейн во время войны Англии с Трансваалем отстаивал принцип, что, поскольку англичане являются представителями высшей культуры, социалисты не должны противодействовать порабощению буров. Но мне было известно также, что на Парижском конгрессе в 1900 году и на Амстердамском в 1904 году решено было «решительно противодействовать всем империалистическим проектам, всем военным экспедициям с целью завоевания колоний и всем военным расходам на колониальные цели».

Однако Бернштейн гораздо лучше других ориентировался, насколько глубокие корни пустил ревизионизм во II Интернационале, и он возобновил этот вопрос на комиссии Штуттгартского конгресса. И большинство голосов в комиссии высказалось за то, что «нельзя принципиально отвергать всякую колониальную политику, так как при социализме она сможет играть культурную роль».

На пленуме представитель большинства Ван-Коль уже не постеснялся прямо ставить вопрос: нельзя отказываться от сырья, получаемого из колоний; нельзя отказываться от колониальных рынков; обогащение страны за счет колоний влияет на улучшения положения рабочих метрополий.

Заседание пленума по этому вопросу было весьма бурное. И на этот раз Бернштейн потерпел поражение. Большинство пленума отвергло проект большинства комиссии. Но это была Пиррова победа. Представители Германии, Англии, Австрии, Франции, Голландии, то есть всех стран, владеющих колониями, голосовали за резолюцию, отстаивающую колониальную политику. Цифровые данные голосования равным образом весьма характерны. За резолюцию, выработанную пленумом, голосовало 127 человек, против 108, воздержалось 10.

Другие вопросы, обсуждавшиеся на Штуттгартском конгрессе, в особенности вопрос об империалистической войне, освещены в литературе, и поэтому я на них не останавливаюсь и ограничиваюсь лишь одним эпизодом, относящимся к Ленину.

— Слышали? РСДРП отозвала Плеханова из Международного социалистического бюро и назначила вместо него Ленина!

Это известие, передававшееся из уст в уста, было мне сообщено, как только я приехал в Штуттгарт в 1907 году.

Лично я в то время мало знал Ленина, хотя впервые встретился с ним еще за десять лет до Штуттгарта, в ссылке. Но я знал Ленина по «Искре», знал по его выступлениям на II съезде партии, знал, какой популярностью он пользовался среди масс.

Отношение к большевикам на конгрессе, и в частности к Владимиру Ильичу, определялось установившейся за ними репутацией «сектантов-раскольников». Против раскольников Международное бюро II Интернационала всегда выступало сомкнутыми рядами независимо от существа раскола.

На конгрессах эти «вожди» торговали «распивочно» и «на вынос». На открытых заседаниях конгресса, в речах «на вынос» царил паразитический «единодушие», и, только присутствуя на комиссиях, можно было составить представление о том буквально вавилонском столпотворении, которое царил во II Интернационале.

В Штуттгарте Ленин не выступал ни на пленуме, ни в комиссиях. Он прорабатывал все вопросы с делегатами-единомышленниками, к числу которых принадлежали и польские социал-демократы: Роза Люксембург, Мархлевский-Карский и кое-кто из

иностранцев. Но он не пропускал ни одной комиссии и внимательно слушал всех выступавших.

На Штуттгартском конгрессе открытые оппортунисты типа Давида и Ван-Коля распоясались во-всю. На этот раз даже на пленуме эти господа отстаивали «право» цивилизованных народов угнетать и эксплуатировать нецивилизованные народы. Если бы не участие в этом голосовании русских и поляков, скрытые и явные бернштейнианцы получили бы большинство голосов. О качестве этого большинства можно составить себе представление по прениям по вопросу о милитаризме. Самым «левым» в этих прениях был пресловутый Эрве, одним прыжком перебросившийся в момент, когда вспыхнула империалистическая война, из стана ярых антимилитаристов в лагерь крайних шовинистов.

«Не все то золото, что блестит!» Ленин, всегда проводивший резкую грань между подлинными революционерами и жонглерами революционной фразы, выработывая проект своей резолюции, даже не стал разговаривать с Эрве. Ленин сразу раскусил фразера и не пригласил его на созванное по инициативе его и Розы Люксембург частное совещание подлинных революционных марксистов, которых, к слову сказать, оказалось очень немного. На Ленина и Розу Люксембург легла очень трудная задача — поправкой к резолюции парализовать торчащее в ней ядовитое оппортунистическое жало.

В резолюции, предложенной Бебелем, предлагалось: «Если будет угрожать война, рабочие и их представители в парламентах заинтересованных стран обязаны сделать все, чтобы при помощи средств, которые им покажутся самыми действительными, помешать взрыву войны; если бы она все же вспыхнула, — они обязаны добиваться скорейшего ее прекращения».

Ленин совместно с Розой Люксембург добились существенного изменения этой редакции.

Ленин ставил вопрос так: если начнется империалистическая война, — поднять революцию, другими словами, превратить империалистическую войну в гражданскую. Но это для оппортунистов II Интернационала было, разумеется, неприемлемо. Бебель настаивал на соблюдении большей осторожности в выражениях...

Пришлось принести форму в жертву, сохранив содержание. Но с этой существенной поправкой резолюция была принята единогласно.

Ее два последних абзаца гласили: «В случае угрозы взрыва войны рабочий класс соответствующих стран и его представители в парламенте обязаны, с помощью объединяющей деятельности Международного бюро, сделать все возможное, чтобы помешать взрыву войны, применив те средства, которые они сочтут наиболее действительными и которые естественно меняются в зависимости от обострения классовой борьбы и от общей политической ситуации. В случае, если война все же разразится,

долг рабочих—выступить за ее скорейшее окончание и всеми средствами стремиться к тому, чтобы использовать вызванный войной хозяйственный и политический кризис для возбуждения народа и тем самым ускорить устранение капиталистического классового господства».

Это «единогласие» не вызывало никаких иллюзий насчет действительного социального облика голосовавших. Год спустя Ленин по поводу оппортунистов писал: «Совершенно естественно, что мелкобуржуазное мировоззрение снова и снова прорывается в рядах широких рабочих партий. Совершенно естественно, что так должно быть и будет всегда, вплоть до победы пролетарской революции... То, что теперь мы переживаем, — пророчески предсказывал Ленин (в статье «Марксизм и ревизионизм»), — зачастую только идейно: споры с теоретическими поправками к Марксу, — то, что теперь прорывается на практике лишь по отдельным частным вопросам рабочего движения, как тактические разногласия с ревизионистами и расколы на этой почве,— это придется еще непременно пережить рабочему классу в несравненно более крупных размерах, когда пролетарская революция обострит все спорные вопросы, сконцентрирует все разногласия на пунктах, имеющих самое непосредственное значение для определения поведения масс, заставит в пылу борьбы отделять врагов от друзей, выбрасывать плохих союзников, для нанесения решительных ударов врагу»<sup>1</sup>. Это — пророческое предвидение того, что происходит с момента Октябрьской революции.

Но тогда — в Штуттгарте — эта ржавчина ревизионизма была очевидна для Ленина, но, кроме него, ее вряд ли кто-либо видел с такой ясностью.

Для того чтобы сгладить шероховатости, вытекавшие из идейного разброда, у лидеров II Интернационала были приемы, заимствованные у буржуазного мира. Велись частные «интимные» беседы, устраивались банкеты.

Такой банкет был в Штуттгарте устроен за городом. Пиво, вино, всевозможные яства пролагали путь к «сближению»... Центром внимания на этом конгрессе был Август Бебель.

Как самый авторитетный вождь II Интернационала и блюститель традиций Бебель на банкете совершал торжественный обход всех делегаций, обращался ко всем со словом «Kinder» («дети»), с одними отечески шутя, других журя, а иных наставляя на путь истины. Окружавшая Бебеля свита поклонников и поклонниц усиливала величественность этого обхода...

Куда бы Бебель ни направился, все стихало, преклоняясь перед маститым вождем. Я находился среди русских товарищей, когда Бебель приблизился к русской делегации.

Вино и пиво, которыми нас гостеприимно угошали, возымело свое действие... Бебелю преградил дорогу ныне известный всему

<sup>1</sup> Соч. т. XII. стр. 189

миру советский дипломат Максим Максимович Литвинов, уже в то время один из неугомоннейших большевиков, и огорошил его вопросом: «*Warum lieben sie uns nicht?*» («Почему вы нас не любите?») Великий Бебель опешил. Он был явно шокирован такой бесцеремонностью, таким несоблюдением установленных форм...

Присутствовавшие при этой сцене впились глазами — одни в вопрошавшего, другие в Бебеля... После минутного молчания он не без смущения заявил, что это неверно, что он любит всех и ко всем относится одинаково, но большевизм — это «*Kinderkrankheit*» («детская болезнь»).

Я оглянулся. У скамейки, вонзив глаза в Бебеля, стоял Ленин. Он улыбался лукавой, но вместе с тем иронической улыбкой, в глазах его горели знакомые искорки, которые всегда загорались в них, когда Ильич видел человека насквозь, обнаруживая то, что тот тщательно скрывал.

На меня эта сцена и тогда произвела большое впечатление и запечатлелась в памяти на всю жизнь, а теперь, когда я ее вновь воскрешаю, я вижу перед собой этих двух вождей рабочего класса: одного — мыслимого лишь на почве капиталистического строя и терявшего свою революционность по мере приближения рокового для капитализма, последнего решительного боя — и другого — великого организатора революционных масс, великого идеолога борьбы за пролетарскую социалистическую диктатуру, борьбы за социализм.

Сосредоточив свое внимание на поразившем меня тогда выражении лица Владимира Ильича, я не заметил, как и чем кончился этот маленький инцидент и как Бебель, попрежнему величественно, направил свои стопы к меньшевикам, почтительно приветствуемый Мартыновым... Но как бы ни закончил Бебель свое объяснение с Литвиновым, он, если бы даже пожелал быть откровенным, не смог бы ответить на его вопрос, не смог бы объяснить инстинктивной неприязни вождей II Интернационала к большевикам, так как все эти вожди, в том числе и самый выдающийся из них — Бебель, еще не осознали той пропасти, какая отделяла сознательных и несознательных ревизионистов от революционных марксистов.

### Читатель!

Издательство просит сообщить отзыв об этой книге, указав ваш точный адрес, профессию и возраст.

Просьба к библиотечным работникам организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов о ней.

Все отзывы и материалы направлять по адресу: Москва, 9. Большой Гнездииковский переулок, д. № 10, издательство «Советский писатель».

## СОДЕРЖАНИЕ

### КНИГА ТРЕТЬЯ

Глава первая. Последние дни в Минусинске. . . . .	7
Глава вторая. По льду реки Енисей. . . . .	10
Глава третья. Село Усинское и его жители. . . . .	12
Глава четвертая. Неожиданное препятствие. . . . .	16
Глава пятая. Взаимоотношения русских с уряхами. . . . .	18
Глава шестая. Приемы русских колонистов. . . . .	22
Глава седьмая. Первые встречи с сойотами. . . . .	27
Глава восьмая. Суд и наказание у сойотов. . . . .	30
Глава девятая. Верования сойотов. . . . .	34
Глава десятая. Шаманизм. . . . .	43
Глава одиннадцатая. Охота и рыболовство. . . . .	57
Глава двенадцатая. Скотоводство. . . . .	65
Глава тринадцатая. Земледелие. . . . .	68
Глава четырнадцатая. Ремесла. . . . .	71
Глава пятнадцатая. Игры и развлечения. . . . .	75
Глава шестнадцатая. Народные празднества. . . . .	79
Глава семнадцатая. Отношение к женщине, брак и семья. —	84
Глава восемнадцатая. Беременность, роды и уход за ребенком — . . . . .	93
Глава девятнадцатая. Род (клан). — . . . . .	96
Глава двадцатая. Административное управление. . . . .	100
Глава двадцать первая. Подати и поборы. . . . .	108
Глава двадцать вторая. Жилище и его принадлежности. . . . .	110
Глава двадцать третья. Одежда и наряды. — . . . . .	112
Глава двадцать четвертая. Пища и питье. . . . .	115
Глава двадцать пятая. Народное творчество. — . . . . .	117
Глава двадцать шестая. Характерные документы. . . . .	145
Глава двадцать седьмая. Дорожные встречи и впечат- ления . . . . .	154
Глава двадцать восьмая. В Иркутске. . . . .	195
Глава двадцать девятая. Последние месяцы в ссылке и возвращение на родину. . . . .	200

### КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Глава первая. ППС в 1904 году. . . . .	207
Глава вторая. Польская буржуазия в начале XX столетия. . . . .	212
Глава третья. Польские социалистические партии. . . . .	217
Глава четвертая. «Симпатки» ППС. . . . .	225
Глава пятая. Галоновские дни в Польше. . . . .	229
Глава шестая. Разногласия в ППС и между ППС и ПСД. . . . .	235
Глава седьмая. Смещение правого руководства. . . . .	246
Глава восьмая. Октябрьские дни 1905 года. . . . .	253

Глава девятая. На подступах к VIII съезду ППС. . . . .	260
Глава десятая. Московское восстание. . . . .	267
Глава одиннадцатая. VIII съезд ППС. . . . .	273
Глава двенадцатая. Отношение к первым двум Думам. . . . .	279
Глава тринадцатая. «Наша амнистия». . . . .	284
Глава четырнадцатая. IX съезд и послесъездовские со- брания . . . . .	310
Глава пятнадцатая. Следствие. . . . .	316
Глава шестнадцатая. В «Павиаке». . . . .	321
Глава семнадцатая. В эмиграции. . . . .	325
Глава восемнадцатая. Штуттгартский конгресс . . . . .	332

212563

Ответ. редактор М. Чечановский  
 Техредактор Н. Греймер  
 Уполн. Главлита Б—21531  
 Корректор А. Мискарьянц

Тираж 10.200 экз.  
 С. П. № 80.

Сдана в производство 10/III—36 г.  
 Подписана к печати 26/VI—36 г.

Количество листов 214,  
 Авторских листов 20 96  
 Учетно-авторских 24,7  
 Бумага 60×92 с/м.  
 Заказ № 209.

1-я тип. Гос. воен. изд-ва НКО СССР,  
 ул. Скворцова-Степанова, 3.

Цена 6 руб.  
 Переплет 1 р. 75 к.